СОДЕРЖАНИЕ

INDEX

От редакции

Работа над вторым томом альманаха снова заняла около двух лет. Этого цикла мы надеемся придерживаться и впредь: полтора года собирать материал и его редактировать, несколько месяцев издавать и несколько недель почивать на лаврах.

Лавры скудные, но были, притом не из любимого города, а из более подвижной российской столицы. Две московские рецензии оказались для нас приятной неожиданностью. Из них следовало, что книга нашла своего читателя и что представители нижнего среднего класса с классическим образованием или с живым интересом к основам европейской цивилизации не так уж исчезающе малочисленны. Мы признательны и тем, кто устно отзывался о тех или иных материалах первого тома: это дает работе смысл, а нам – нечто, что можно принять за вдохновение.

Готовя разделы, связанные как с древностью, так и с русской культурой (*Из истории науки об античности*; *Personalia*; *Античность и русская литература*), мы не страдали от недостатка материала – ощутимая потребность в публикациях такого рода усилена, надо полагать, переломным характером нынешнего момента нашей истории. Мы охотно, хотя и не без грусти, публикуем материалы о старых русских ученых – Е. М. Придике и Г. Ф. Церетели. К сожалению не только второй, но и первый из них может быть назван мучеником науки и жертвой «лихолетья», если воспользоваться выражением С. А. Жебелева; о том, что выпало пережить самому Сергею Александровичу (в частности, из-за упомянутого «крылатого слова»), повествует основанная на богатых архивных материалах статья.

Одна из примечательных работ этого номера – публикация исследования Н. Д. Численко об источниках «Тилемахиды» Тредиаковского. При подготовке ее к печати пришлось решать нелегкую и ответственную задачу: выбрать главное и наиболее убедительное из труднообозримого массива обработанных автором обширных многоязычных текстов, чтобы таким образом сохранить для науки одну из самых ярких работ Натальи Дмитриевны.

Последнее публичное выступление Ю. В. Андреева, посвященное теории дионисийства у Вячеслава Иванова, публикуется в соседстве с двумя заметками о жизни и творчестве Юрия Викторовича – масштабного и увлеченного живописца как эллинской культуры, так и эгейской цивилизации.

Уехавший из наших палестин в ненашу знаток греческих папирусных текстов И. Ф. Фихман (Иерусалим), как и историк древности Зви Явец (Тель-Авив) рассказывают об ученых, различным образом связанных с Петербургом. Ранний (росийский) период творчества Хавы Брохи (прежде – Екатерины) Корзаковой, выпускницы Ленинградского университета, а ныне – иерусалимского филолога и поэта, пишущего на иврите, представлен новеллой об убедительном использовании сократического метода применительно к самому Сократу. В этом свидетельство, что для нас живы не только Афины, но и Иерусалим.

Важная тема взаимодействия культур звучит в очерках об одном из «эрмитажных немцев» Г. К. Келере и о его знаменитом соотечественнике – гуманисте Родольфе Агриколе, много лет проведшем в Италии. А из заметки «Morere, Dionysi» выясняется, что импульсивная потемкинская похвала Денису Фонвизину предполагает знание ими обоими емкой античной апофтегмы.

Читатель не пройдет мимо *Выбранных мест* из переписки трех петербургских филологов, живших в послевоенном Ленинграде или в местах не столь отдаленных; не сомневаемся, что эти документы не оставят равнодушной и сегодняшнюю публику.

Раздел *Litterae elegantiores* кроме уже упомянутого апофеоза Ксантиппы включает литературные опыты классиков различных поколений – стихи Ф. Ф. Зелинского (в бытность его русским стипендиатом в Германии) и нашего гейдельбергского коллеги М. Г. Альбрехта. Латинские стихотворения Михаила Георгиевича свидетельствуют о том, что годы застоя, в которые он застал Россию, не поколебали его глубокой привязанности к русской культуре. Не удивительно! Его отец, крупный немецкий композитор, не только происходил из России (и едва не был расстрелян большевиками), но и прибегал к пестрым краскам родной Казани в своем музыкальном творчестве, которое нацисты объявили «большевистским».

Яркая личность Анри Волохонского хорошо запомнилась тем, кто знал его в Ленинграде начала 60-ых, где, по занимательному сходству, одно из его прозвищ было «Пушкин в гробу»; это его объективно-тусклый голос мы легко узнавали, слушая (тогда идейно близкие) ночные новости радиостанции «Свобода». Катуллианство Волохонского вылилось в нечто, что приходится определить как вольно-прихотливое подражание.

Нешуточным получился на этот раз шутливый раздел. Если впечатлительный Власий Цезиус решительно раздавлен и вместе вдохновлен основательностью ученых публикаций журнала *Hyperboreus* (близкой, надо сказать, родни нашего альманаха), то *Заповеди филолога(м)*, данные антиковедами XIX («филологического», по слову Шлейермахера) столетия, юмористичны скорее по форме. Редакция убедилась, что и лапидарные требования калининград-

ского профессора, и рекомендации юрьевского уроженца (автора 1611 публикаций, чье умение писать не нуждается в доказательствах) требуют некоторых усилий для постижения и передачи на наш язык. Напротив, другой пропедевтический материал – лекция А. Э. Хаусмена – будет полезен взыскательному филологу не столько как практическое руководство, сколько как автопортрет выдающегося мастера текстологии.

А что же собственно древний мир? Здесь читателю предлагаются сохранившаяся в архиве А. И. Доватура (законченная, хотя и не снабженная примечаниями) статья о Феогниде, которая не вошла в изданный в 1985 г. феогнидовский сборник Аристида Ивановича, но как будто нарочно сочинена для Альманаха. Сюда же попала и работа одного из участников феогнидовского семинара А. И. на тему, заданную когда-то его руководителем; этим и объясняются некоторые ее академические излишества.

Не обойдены у нас вниманием и монстры, о которых Георг Виссова, один из издателей *Real-Encyklopadie*, писал для утонченно ученой, а русский хронограф XVI в. – для менее избалованной публики. В обоих материалах основой служат античные рассказы о всяких диковинах.

Приятным сюрпризом для редакции была свежая заметка московского математика, занимающегося также вопросами теории языка и стиля. Не в пример иным своим коллегам, которые отрицают историчность античного мира, наш автор ведет речь о названиях, присвоенных в древности падежам, – раз были падежи, то была, надо думать, и сама древность.

В целом хочется надеяться, что предлагаемый сборник опять окажется кому-нибудь нужен – предугадать это, как известно, нам не дано.

А. И. Доватур

СОЛОН И ФЕОГНИД: ПОЭТ АГОРЫ И ПОЭТ СИМПОСИЕВ

Условия общественной жизни в греческих полисах IV–V веков до н. э. способствовали тесному общению между гражданами, а следовательно, образованию резко выраженного общественного мнения (с возможностью одновременного формирования разных его вариантов). Читая Аристофана, мы наглядно видим, как образуются элементы, из которых складывается общественное мнение об отдельных гражданах афинского государства. Изображения отдельных лиц у Аристофана – более или менее развернутые или только намеченные, а то и поданные как изолированные намеки – становятся понятны нам при одном предположении: автор комедии подхватывает то, что подмечено было многими, что ходило из уст в уста, что содержалось в общественном мнении о данном человеке.

Аристофану в «Облаках» не было надобности выдумывать Сократа: своеобразная, странная с точки зрения рядового афинского гражданина фигура философа уже породила о себе общественное мнение, так что Аристофану осталось лишь художественно обработать, конкретизировать, украсить деталями, пусть в значительной степени фантастическими, в сущности – окарикатурить то, что давала молва. Не только образы крупных политиков (Клеон, Гипербол) или деятелей культуры (Еврипид, Агафон), но и изображения простых граждан, попавших в поле зрения комедии, приводят нас к выводу о существовании уже сложившегося (по крайней мере, у части зрителей) мнения о них, к кото-

рому апеллирует поэт. Абсолютно лишены были бы эффекта намеки на мертвенную бледность Херефонта (*Облака* 104; 503–504), если бы мы отказались видеть в них замеченную всеми, ставшую чуть ли не провербиальной особенность этого спутника Сократа. В пределах той же комедии мы встречаем богача Леогора, замечательного тем, что завел себе фазанов (109); сына Ксенофанта (т. е. Гиеронима), отпустившего густую шевелюру (349); казнокрада Симона (351); бросившего в бою свой щит Клеонима (352); изнеженного Клисфена (355, он же – *Птицы* 831). Другие, взятые наугад, примеры: некий Белонопол (может быть, «торговец иглами»), связанный с неким Памфилом (*Богатство* 174–175); развратный Аристилл (там же, 314); бедняк и плохой художник Павсон (там же, 602; *Ахарняне* 854);[1] шут и парасит Лисистрат, «позор холаргийцев» (*Ахарняне* 855; *Всадники* 1266; *Осы* 787); бесталанные флейтисты Херис (*Птицы* 857) и Феоген (*Мир* 928); двое тщеславных молодых богачей, занятых только колесницами и конями – Проксенид и Феоген (*Птицы* 1126–1129). Допустим, что часть зрителей, являвшаяся на представления из сельских местностей, была недостаточно знакома или совсем не знакома с упоминавшимися в комедиях людьми, – все же слова поэта были обращены в большей степени к жителям города Афин, у которых упоминание о названных лицах вызывало определенные зрительные впечатления и память об определенных репутациях (независимо от того, присутствовали ли эти лица на представлении или нет). Для таких зрителей даже неясные силуэты, набросанные поэтом, сразу наполнялись конкретным содержанием.

Уже примеры этих аристофановских персонажей наводят на мысль, что афинские граждане как-то тесно соприкасались друг с другом в быту, что способствовало созданию репутаций. Ведь одно знакомство на официальной почве – в народном собрании, в суде – не дало бы того результата, который отложился в комедии.

В первую очередь здесь приходится думать о *городской площади* (ἀγορά), где происходили ежедневные встречи между гражданами с оживленными беседами, обменом новостями, свободным высказыванием мнений. Именно здесь, надо думать, создавались и укреплялись репутации граждан. Здесь же было готовое поле для политических дискуссий, для столкновения и борьбы разных течений, которые затем, уже в народном собрании, выкристаллизовывались и получали более отчетливый вид.

---

[1] См.: *Aristophanis* Acharnenses / Cum proleg. et comment. ed. J. Van Leeuwen. Lugduni Batavorum 1901, ad loc.

Не последнюю роль – в смысле облегчения обмена между гражданами – играло сравнительное малолюдство греческих полисов. По современным вычислениям,[2] мужское гражданское население Афинского государства около 480 г. до н. э. составляло в целом 25–30 тысяч человек, к началу Пелопонесской войны – 35–40 тысяч, к концу V в. – 20–25 тысяч. Разумеется, думая о встречах граждан на городской площади, мы должны исключить из общего числа тех, кто жил за пределами города и, занимаясь своим хозяйством, не имел времени для посещения агоры; число их, не поддающееся учету, не могло быть незначительным. Другие полисы в большей или меньшей степени уступали Афинам по количеству населения, так что в них условия для создания общественного мнения устным путем были еще более благоприятными.

Афинская агора, о которой мы осведомлены лучше, чем о других,[3] была не только центром городской торговли. После окончания жаркого времени дня и ухода главной массы торговцев граждане заполняли площадь уже не в качестве продавцов и покупателей. Наступало время встреч и бесед. Насажденные Кимоном платаны (*Plut. Cim.* 13, 7) доставляли гуляющим тень, а водоемы и колодцы – воду для утоления жажды. Упоминания о прогулках на агоре не раз встречаются у ораторов: Демосфен – κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχομαι (XVIII, 343), περιέρχεται κατὰ τὴν ἀγορὰν κύκλῳ (XIX, 225), κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχεται (XXV, 51); Эсхин – περιέρχονται κατὰ τὴν ἀγοράν (III, 213). Пусть все эти сочинения относятся к V и IV вв. – агора и без платанов Кимона могла быть местом, где не только для торговых целей собирались в большом количестве граждане Афин. Об этом свидетельствует и одно стихотворение Солона, о котором будет речь ниже.

По аналогии с Афинами мы вправе представлять себе функции городской площади в других полисах. Два ранних элегических поэта дают нам подтверждение правильности такого представления. Ксенофан (вторая половина VI в.) говорит о колофонских аристократах, которые, «научившись бесполезной роскоши у лидийцев», выходили на площадь (ᾔεισαν εἰς ἀγορήν) в количестве не менее тысячи человек, щеголяя пурпурными плащами, прекрасной шевелюрой, благоухая ароматами (fr. 3 Diehl). С другой стороны, Феогнид Мегарский, перечисляя горести бед-

---

[2] См.: *V. Ehrenberg.* Der Staat der Griechen. Bd I. Leipzig 1957, 24.

[3] См.: *E. Szanto.* Agora // RE I (1894), 877 ff.; *St. Parnicki-Pudelko.* Agora. Warszawa; Wrocław 1957, 76 nastt.: 86 nastt. (Biblioteka archeologiczna, 8); *К. М. Колобова.* Древний город Афины и его памятники. Л. 1961, 209 слл.: 257 слл.

ного человека, помещает среди них и то, что он избегает выходить на городскую площадь – οὔτε εἰς ἀγορὴν ἔρχεται (268). Роскошествующие богачи красуются там, где их могут видеть многие граждане; удрученный бедностью человек старается не показываться в том месте, где на него будут обращены взоры большого количества людей.

У Геродота есть рассказ о сыне лидийского царя Креза. Напуганный сновидением, предвещавшим гибель юноши от железного копья, отец не выпускал его на войну и удалил из мужского помещения висевшее там оружие. Когда мисийские поселяне пришли к царю с просьбой послать сына вместе с избранными юношами против огромного кабана, опустошавшего их поля, Крез решительно отказался отпустить сына, которого он только что женил. Молодой человек, услыхав слова отца, начал умолять его разрешить ему пойти на охоту. Иначе ему грозило обвинение в трусости: «С какими глазами мне придется появляться, идя на площадь и уходя с нее? Каким я буду казаться гражданам?» (I, 37: τεοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μὲν τις τοῖσι πολιήτῃσι δόξω εἶναι [...];) Сыну лидийского царя грек Геродот приписывает мысли и слова, какие при подобных обстоятельствах подобали бы гражданину греческого полиса. Агора – центр общественной жизни полиса, где ярче всего проявляется отношение общественности к опозорившему себя гражданину.

Другим местом, где собирались граждане, были *симпосии* (συμπόσια), которые лучше всего назвать по-русски пирушками. Домашняя жизнь в Греции, как известно, была развита мало, но симпосии не были редким явлением. По крайней мере, в Афинах должностные лица, носившие название астиномов, в числе своих обязанностей имели наблюдение за тем, чтобы наемные флейтистки, арфистки и кифаристки брали за свой труд не более двух драхм; и если несколько человек стремились нанять одну и ту же (для пирушки), то астиномы бросали между ними жребий (*Arist. Ath. Pol.* 50, 2).

Само собой разумеется, на симпосиях граждане собирались в очень незначительном количестве. Мы знаем, что «Пир» Платона, равно как и «Пир» Ксенофонта, дает нам совсем немного действующих лиц. К тому же размеры греческих жилищ отнюдь не допускали многолюдных собраний.

Вино и приятная беседа – вот в чем состояла прелесть симпосиев. Об этом Фокилид (fr. 14 Diehl):

χρη δ' ἐν συμποσίῳ κυλίκων περινισομενάων
ηδέα κωτίλλοντα καθήμενον οἰνοποτάζειν.

На пирушке следует, при круговом обращении чаш, / приятно болтая, возлежа пить вино.

Более развернутое описание симпосия дает Ксенофан (fr.1 Diehl) – венки, благовония, вино, холодная вода, желтые хлеба, сыр, мед, песня, гимны богам, возлияния и молитвы, хвала достойным мужам; при этом – умеренное потребление вина, так чтобы идти домой без сопровождающего слуги, если только человек не очень стар (v. 17–18).

Само собой разумеется, симпосии были разных уровней: интеллектуальный момент мог составлять все содержание симпосия («Пир» Платона), но мог быть и сведен к нулю (простая попойка).

Как бы то ни было, эти пиры в полной мере соответствовали требованиям, высказанным в трактате Плутарха *Quaestiones convivales* (V, 678 d):

И величина пиршественного собрания является достаточной до тех пор, пока оно остается пиршественным собранием; если же оно из-за множества людей перейдет за этот предел, так что исключены будут общая беседа, совместное веселье и знакомство, то это уже не пиршественное собрание.

Дальше следуют соображения одного из участников диалога о том, что для большого числа гостей не хватает места; здесь же – о богачах, необдуманно устраивающих (νεανιεύονται) себе огромные помещения, на тридцать – и более – застольных мест (речь идет, конечно, о временах Плутарха – I–II вв. н. э.).

Итак, всенародные собрания и встречи на городской площади с одной стороны – и узкие кружки в частных домах на пирушках, с другой.

В дальнейшем будет сделана попытка рассмотреть на этом фоне поэтическое творчество Солона и Феогнида.

Солона мы видим в обстановке городской площади три раза. Еще в начале своей политической карьеры он, фактически нарушая запрет поднимать под страхом смертной казни вопрос о Саламине, занятом мегарянами, начал, притворившись безумным, пропагандировать на агоре поход на остров. Сообщающий нам об этом Плутарх (*Sol.* 8, 1–2) говорит: «Он внезапно выскочил на городскую площадь (ἐξεπήδησεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἄφνω) и произнес свою элегию о Саламине в присутствии сбежавшегося большого количества народа (ὄχλου πολλοῦ συνδραμόντος)».

Закончив свою деятельность законодателя, Солон удалился на десять лет из Афин, чтобы избавить себя от надоевших ему похвал, по-

рицаний, советов, расспросов, как об этом сказано у Аристотеля (*Ath. Pol.* 11, 1) и Плутарха (*Sol.* 25, 6). Оба автора рассказывают, что люди *подходили* к Солону с непрошеными замечаниями – προσιόντες (Аристотель), προσῇεσαν (Плутарх). Это вполне соответствует встречам на городской площади. Наконец, когда уже на закате жизни Солона Писистрат, инсценируя бегство от будто бы напавших на него и ранивших его врагов, въехал на агору – ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος (*Herod.* 1, 59); καθῆκεν εἰς ἀγορὰν (*Plut. Sol.* 30, 1), – Солон здесь же начал его укорять. Только после этого была устроена экклесия. Важные моменты в жизни Солона прочно ассоциировались в историческом предании с городской площадью.

Если, минуя стихи Солона, носящие личный характер или содержащие общефилософские рассуждения, обратиться к его произведениям на социальные и политические темы, то нельзя не заметить одной их особенности. Солон адресует свои стихотворения некоему слушателю, с которым, по его убеждению, у него будет более или менее полное взаимопонимание. Поэма «Саламин» (fr. 2 Diehl) оканчивалась призывом идти в бой для завоевания желанного острова и снятия с себя тяжкого позора. В поэме «Благозаконие» (fr. 3) за описанием социальных бед при беззаконии следует восхваление благозакония, в сущности – призыв осуществить это последнее. Адресат поэмы – «афиняне», народ в целом, как это видно из стихов, представляющих собой переход от описания мрачной действительности к перечислению благ, которые принесет с собой благозаконие – ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει (v. 30). В другом стихотворении содержатся угрозы погрязшим в пресыщении богачам (fr. 4), причем им (ὑμεῖς, ὑμῖν) противопоставляются те, кто не намерен им больше повиноваться, и с последними отождествляет себя поэт (ἡμεῖς).

Показательны стихотворения, созданные после окончания реформаторской деятельности Солона, когда ему приходилось выступать в качестве апологета собственных деяний. В трохеических стихах (fr. 23) поэт-законодатель защищается против нападок со стороны своих политических противников. Их речь он воспроизводит, не отказывая себе в удовольствии придать ей карикатурный вид:

> οὐκ ἔφυ Σόλων βαθύφρων οὐδὲ βουλήεις ἀνήρ·
> ἐσθλὰ γὰρ θεοῦ διδόντος αὐτὸς οὐκ ἐδέξατο·
> περιβαλὼν δ' ἄγρην ἀγασθεὶς οὐκ ἐπέσπασεν μέγα
> δίκτυον...

Нет, не обладает глубоким умом Солон и не разумный он муж – / когда бог давал ему благо, он его не принял: / захватив улов, он зазевался и не вытащил большую / сеть...

Мы слышим здесь голос человека, упрекающего (с оттенком насмешки) Солона в том, что он не захватил власть, которая сама давалась ему в руки. Дальше (и это уже бесспорная карикатура) следует мечта или пожелание такого противника: «Я,– будто бы говорит он,– одержав верх, завладев несметным богатством и став тираном Афин только на один день – согласился бы, чтобы с меня содрали кожу и чтобы был истреблен мой род».

Проследить дальше мысль Солона позволяют фрагменты, ранее считавшиеся изолированными, а в настоящее время присоединяемые (хотя и не непосредственно) к только что рассмотренным стихам.[4] В своем ответе Солон заявляет, что он сознательно не воспользовался возможностью стать тираном, не посрамил своей славы и гордится этим; люди, которые шли на грабеж, надеясь найти большое богатство, думали, что он, произнося мягкие речи, проявит жесткие намерения – «пустое они тогда замыслили», а теперь, гневаясь на него, смотрят на него косо как на врага. Такое их отношение лишено основания (οὐ χρεών – v. 18) – ведь что он сказал, то и выполнил с помощью богов; понапрасну он не сделал ничего, и ему не угодно совершать что-либо силой тирании. В заключение – вполне конкретная подробность: ему не угодно, чтобы люди незнатные владели равной со знатными долей тучной отечественной земли.

К кому обращается Солон? Конечно, не к тем, кого он выставляет в смешном виде. Меняя насмешливый тон на серьезный и даже несколько торжественный, он оправдывает свою общую позицию и, стараясь бросить тень на своих антагонистов, прямо обвиняет их в грабительских намерениях и, в частности, намекает на их стремление добиться передела земли.

Своему другому апологетическому стихотворению Солон придал ямбический размер (fr. 24). Оно выдержано в высоком стиле. Апеллируя к «величайшей матери Олимпийских божеств, черной Земле», которая могла бы свидетельствовать в его пользу на суде времени – ἐν δίκῃ χρόνου (v. 3), Солон спрашивает: разве он не выполнил что-либо из того, ради чего объединил народ? Продолжая, он перечисляет бла-

[4] Здесь и в других местах статьи мы основываемся на издании: Anthologia Lyrica Graeca / Ed. E. Diehl. Editio stereotypa editionis tertiae. Fasc. I. Lipsiae 1954.

годетельные результаты своей государственной деятельности – освобождение земли от закладных столбов, возвращение в отечество тех, кто по разным причинам находился на чужбине, избавление от рабства тех, кто влачил рабское существование на родине, общие законы для людей (граждан) разного социального происхождения. На месте Солона кто-нибудь другой, злонамеренный и корыстолюбивый муж, не сдержал бы народа (οὐκ ἂν κατέσχε δῆμον) – это намек на радикально настроенных граждан. Дальше – о своем нежелании выполнить то, чего хотели обе противные стороны; в заключение – сравнение с волком, который, вертясь, защищается от обступивших его многочисленных собак. И в других случаях Солон напоминал о том, что он дал народу достаточные права, но не обидел могущественных и владевших деньгами граждан (fr. 5; 25).

Поэт-реформатор защищается на два фронта. Когда он говорит об освобождении земли и людей, о равных законах, то имеет в виду свои заслуги перед демосом; говоря о недопущении передела земли, напоминает о том, что мог нарушить интересы граждан высших социальных слоев, но не воспользовался этой возможностью.

Разумеется, стихи Солона предполагают слушателей из разных слоев афинского общества. Мало приходится думать о читателях, – ведь и в V в., и даже позднее, при широком распространении грамотности,[5] чтение (в нашем смысле) не принадлежало к числу обычных занятий.[6]

Обратим внимание на патриотическую настроенность Солона. Слово πόλις в «Благозаконии» повторяется четыре раза (vv. 1; 5; 17; 31) в контекстах, раскрывающих истинный смысл стихотворения – скорбь и заботу преданного родине гражданина. Теми же чувствами проникнут стих из другого произведения Солона: гражданские распри привели бы к тому, что «этот полис овдовел бы от многих мужей» (fr. 24, 25). Слово πατρίς тоже не раз встречается у Солона, всегда с эмоциональной окраской (fr. 2, 4; 7, 6; 23, 9 и 21; 24, 8).

Эти места, равно как и общий тон стихотворений Солона, могут служить указанием на адресата его поэзии. Полис, родина и конкретные представители их – те, кто и в настоящем, и в будущем (вспомним: суд времени!) могут оценить дело Солона, не хулители его действий, а те, кто был в выигрыше от его мероприятий и оценил его умение пре-

---

[5] *F. D. Harvey.* Literacy in the Athenian Democracy // Revue des études grecques 79 (1966), 585 suivv.

[6] *А. И. Доватур.* Платон об Аристотеле // Вопросы античной литературы и классической филологии. М.; Л. 1966, 137 слл.

дотвратить угрожавшие им опасности – вот к кому обращался Солон. Его политические стихи, игравшие роль публицистики, обращены к тому ядру афинского народа, о котором забывали античные историки более поздних времен. И Аристотель, и Плутарх описывают политическую обстановку в Афинах во времена Солона так, как будто кроме двух боровшихся сторон (богачи и угнетенная масса) ничего другого в государстве не было. Между тем сам Солон, как о том свидетельствует Аристотель, принадлежал по своему имущественному положению к «средним»: τῇ δ'οὐσίᾳ […] τῶν μέσων (*Ath. Pol.* 5, 3). Сплотившиеся вокруг реформатора «средние» (сюда относились представители торговых слоев, остававшиеся свободными земледельцы и др.), надо думать, поддерживали Солона в его начинаниях. После реформ широкие слои земледельцев Аттики, освобожденные от бремени долгов и в какой-то степени приобщенные к государственной жизни, едва ли могли быть враждебны тем порядкам, какие он установил. Все они и были для Солона теми слушателями, на понимание и сочувствие которых он рассчитывал.

Народные собрания, на которых не произносились стихи, и народ на агоре, где чтение стихов вместе с другими способами общения вполне представимо, были для Солона реальным воплощением того отечества, того полиса, которому он служил и о котором пекся.

К общественному мнению Солон внимательно прислушивался, что ясно отразилось в его поэтических произведениях. Последние, однако, были для поэта не только оборонительным оружием, которым он парировал удары, наносившиеся врагами. Стихи играли и другую роль; они служили оружием воздействия на общественное мнение, помогали идеологически сокрушать врагов и внушать гражданам правильный, с точки зрения Солона, образ мыслей.

Иную аудиторию и воздействие на нее в ином направлении предполагает поэзия Феогнида. Застольный ее характер, т. е. связь с симпосиями, в настоящее время не требует доказательств. Нам остается только несколько уточнить ее направленность, чтобы тем самым яснее представить себе ту среду, для которой она предназначалась. В знаменитом стихотворении, где поэт обещает бессмертие Кирну (237–254), сказано: «ты будешь присутствовать на всех пирушках и угощениях (θοίνης δὲ καὶ εἰλαπίνησι παρέσσῃ)», – причем это присутствие мыслится как упоминание в песнях, которые под звуки флейт будут петь молодые люди (239–243). Кто эти участники пиршественных собраний, занимающих в стихах Феогнида так много места (309–314; 467–496; 531–

536; 563–566; 627–628; 643–644; 757–768; 789–792; 837–840; 841–844; 885–886; 939–944; 983–988; 993–1002; 1207–1208; сюда же относятся и стихи о вине: 211–212; 413–414; 497–498; 499–502; 503–510; 873–876; 877–894; 971–972; 989–990; 1040–1041)? Только в печальные для государства времена поэт считает неуместным петь под звуки флейты и устраивать комос (825–830). В спокойное время, когда нет военной опасности, пирушки – желанное времяпрепровождение (531–534; 757–768; 773–782; 973–978; 983–986; 1045–1046; 1047–1048; 1055–1058; 1063–1068).

Феогнид – противник обильного потребления вина; для него прелесть пирушки – в соблюдении определенных правил: после пирушки следует быть сдержанным и не разбалтывать о том, что и как было (304–314), во время пирушки – быть умеренным в винопитии (475–492; 837–840 и др.); садиться рядом с мудрым человеком, чтобы от него чему-нибудь научиться (563–564); вести приятную беседу (763; ср. 789–792). Характер приятной пирушки изображен Феогнидом в заключительной части одного стихотворения (493–496):

ὑμεῖς δ᾽ εὖ μυθεῖσθε παρα κρητῆρι μενοντες,
 αλληλων εριδος δὴν ἀπερυκομενοι,
εἰς το μεσον φωνεῦντες ὁμως ενι καὶ συναπασιν
 χοὕτως συμπόσιον γινεται οὐκ αχαρι.

А вы хорошо беседуйте, оставаясь при чаше, / далеко отстраняясь от взаимной ссоры, / говоря на середину, одновременно одному и всем; / и таким именно образом пирушка бывает очень приятной.

Давно выясненное идейное содержание поэзии Феогнида, выражающее его социальные воззрения[7] – резкая грань, проводимая им между людьми знатного происхождения (αγαθοί, ἐσθλοί) и людьми из народа, хотя бы они стали богатыми и занимали видное положение в обществе (κακοί), – не могло не отразиться в стихотворениях, касающихся симпосиев. Действительно, обращаясь к Симониду с наставлениями, как следует вести себя за пиршественным столом, Феогнид, рекомендуя «прежде чем опьянеть, встать (из-за стола)», сюда

[7] Начало подлинному историко-филологическому истолкованию Феогнида положил Ф. Г. Велькер (Welcker) в своем издании его стихов (1826). Более поздние взгляды на творчество мегарского поэта см.: *W. Schmid, O. Stählin.* Geschichte der griechischen Literatur. Bd I. 3. München 1929. 585 ff.

же присоединяет предостережение – μὴ σε βιάσθω / γαστὴρ ὥστε κακὸν λάτριν ἐφημέριον (485–486): «и пусть над тобой не властвует насильно желудок, как над подлым поденщиком». Мудрый муж, речам которого следует внимать на симпосии, назван ἐσθλός (563). Вообще, общаться (пить, есть, сидеть) знатному юноше следует только с «порядочными, так как только от них можно научиться честному» (33–34).

Феогнид в своих стихах обращается к людям определенного круга, к тем, кого считает своими, к представителям мегарской знати, носителям определенной идеологии. В некоторых своих стихотворениях он сетует об утрате традиционных устоев, о смешанных браках, ведущих к ухудшению породы граждан (183–192); есть у него и косвенные намеки на то, что молодое поколение отходит от традиционных воззрений и вступает в тесное соприкосновение с «дурными» (31–38; ср. 429–438). Большое стихотворение, в котором изображается неприглядное состояние государства под видом терпящего бедствие корабля (667–682), непосредственно обращено к «добрым», «дурные» же упоминаются лишь попутно – те из них, кто разумен, могли бы понять смысл стихотворения (681–682). Феогнид стремится в своей поэзии вдохнуть новую жизнь в традиционную аристократическую мораль, обновляя ходившие и уже начавшие блекнуть термины (ср. насмешку Солона над выражением καλὸς κἀγαθός – fr. 1, 39–40) путем подчеркивания этического оттенка в их содержании. Пытаясь воздействовать на общественное мнение определенного социального круга, Феогнид преимущественное внимание обращает на молодое поколение.

Сравнение двух поэтов приводит к такому заключению: несколько схематизируя и с надлежащими оговорками, мы вправе назвать Солона поэтом агоры, а Феогнида – поэтом симпосиев.

Такими остаются они до конца. Обоих постигла неудача. Оба обманулись в своих надеждах – один оказался бессильным воздействовать на общественное мнение агоры, афинского народа, другой – на общественное мнение тех, с кем он встречался на симпосиях и кого считал цветом полиса.

Мы видели, с какой гордостью говорит Солон о своем нежелании воспользоваться обстоятельствами, благоприятствовавшими установлению в Афинах тираний. Приводилось выше и свидетельство о выходе Солона против Писистрата на агоре. В конце жизни поэту-законодателю пришлось убедиться, что его попытки воздействовать на общественное мнение широких слоев гражданского населения с целью внушить гражданам враждебное отношение к тирании оказались безре-

зультатными. О стараниях Солона предотвратить появление тирании в Афинах яснее всего сказано в одном шестистишии (fr. 10):

ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης,
  βροντὴ δ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίγνεται ἀστεροπῆς·
ἀνδρῶν δ᾽ ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, ἐς δὲ μονάρχου
  δῆμος ἀϊδρίηι δουλοσύνην ἔπεσεν.
λίην δ᾽ ἐξάραντ᾽ οὐ ῥάδιόν ἐστι κατασχεῖν
  ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη χρὴ περὶ πάντα νοεῖν.

Сила снега и града появляется из тучи, / гром рождается от яркой молнии, / государство же гибнет от могущественных людей; / народ по неведению попадает в рабство к единовластителю – / слишком возвысив, не легко затем сдержать (его), / но уже сейчас нужно подумать обо всем.

Композиция стихотворения проста: два стиха – явление природы, взятое для сравнения; следующие два – общее положение: имеется угроза тирании, порабощение народа со стороны могущественного человека, если народ неразумен (тирании еще нет, Солон говорит об опасности; ἔπεσεν, рядом с ὄλλυται и ввиду двух последних стихов,– несомненно, aoristus gnomicus). Наконец, еще два стиха – призыв опомниться, пока не поздно.

Бесспорно, после переворота обращается к согражданам Солон в другом стихотворении (fr. 8): горе уже пришло (πεπόνθατε λυγρα), виноваты в этом сами граждане, они возвеличили людей, от которых пришло рабство; граждане, уподобляющиеся хитрым лисицам в своих частных делах, в делах общественных проявили слабый ум, они поддались речам лукавого мужа вместо того, чтобы смотреть на его дела.

В этих стихах Солон прямо называет тех, кого он обвиняет в неразумии. Это – совокупность афинских граждан. На них думал воздействовать разумными доводами поэт, и вину за случившееся он возлагает на них же.[8]

Символический жест Солона, о котором говорят источники, – после напрасных попыток уговорить афинян не давать охраны Писистрату, Солон сложил оружие перед дверью своего дома, заявив, что он, насколько это было в его силах, помог отечеству; пусть то же сделают

[8] Ср. тему тирании в творчестве Феогнида (опасность тирании в его время в Мегарах, как и в других греческих полисах, продолжала существовать – см.: *М. В. Скржинская.* Тема тирании в поэзии Феогнида // ВДИ № 4 (1971). 150 слл.).

и другие (*Arist. Ath. Pol.* 14, 2; *Plut. Sol.* 30, 7) – был демонстрацией против наступившей перемены. Подобно словесным выступлениям Солона, это была демонстрация публичная; подобно разобранному выше стихотворению (fr. 8), она была открытым выражением порицания тому афинскому гражданству, к которому обращался во всех своих политических стихотворениях Солон.

Иной характер имела неудача Феогнида и его реакция на тщетность усилий воздействовать на общественное мнение. Непримиримый по отношению к врагам (869–872; 1023–1024), сознавая, что иногда он оказывается посмешищем в их глазах (1107–1108), Феогнид скорбит о том, что никак не может угодить согражданам (367–370), а друзей прямо обвиняет в предательстве (575–576; 857–860). «Многие, – говорит Феогнид, – меня порицают, одинаково дурные и порядочные» (κακοὶ ἠδὲ καὶ ἐσθλοί, 369). В этих словах – признание своей изолированности не только от политических противников, но и от людей своего круга.

Причину отсутствия понимания между поэтом и «добрыми», «порядочными» открывает нам он сам. На смену старому социальному делению пришло новое разделение людей по признаку богатства. Богатство играет решающую роль в обществе, оно смешало граждан (183–192; 1109–1112); богатого все уважают, бедного презирают (621–622; 683–686; 717–718; ср. 1115–1122).

В новом обществе Феогнид, утративший состояние, фактически потерял свой социальный ранг. Он – беден и вынужден под влиянием бедности делать то, чего сам стыдится (649–652). Бедность заставляет его молчать в собрании «добрых» (667–670; ср. 419–420).

Действительность не оправдывает надежд и пожеланий поэта. «Насилье, мерзкая корысть и наглость многих мужей ввергла (их), прежде добрых, в порочность» (835–836), т. е. многие «добрые» оказались не на высоте положения в новой обстановке. Прежние «добрые» сейчас стали «дурными», «дурные» – «добрыми», «добрые» лишились почета, «дурные» приобрели его (1109–1112).

Узкая аудитория, к которой обращался Феогнид, оказалась не менее глухой к его увещеваниям, чем широкая аудитория Солона – к его советам. Афинский законодатель кончает свою политическую и поэтическую деятельность гневными речами и театральным эффектным жестом, рассчитанными на определенное впечатление скорее у потомков, нежели у современников. Мегарский поэт в заключительном, или вернее – логически заключительном стихотворении, замыкаясь в самом себе, констатирует безрезультатность своих усилий и в то же время свое

одиночество: после трех сравнений – со львом, не выпившим крови молодого оленя, с воином, взошедшим на стену города, но не разрушившим город, с бойцом, впрягшим коней в (боевую) колесницу, но не поднявшимся на нее, – идут последние два стиха (953–954), проникнутые пессимизмом:

πρῆξας δ' οὐκ ἔπρηξα, καὶ οὐκ ἐτέλεσσα τελέσσας·
δρήσας οὐκ ἔδρησ', ἤνυσα δ' οὐκ ἀνύσας.

Сделав, я не сделал; не закончил, закончив; / совершив, не совершил; достиг, не достигнув.

А. Гаврилов

РЕМЕСЛО ПОЭТА, ИЛИ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ СИМПОСИАСТЫ (*Theogn.* 769–772)

769 Χρη Μουσῶν θεράποντα και ἄγγελον, εἴ τι περισσον
εἰδειη, σοφίης μη φθονερον τελέθειν,
ἀλλα τα μέν μῶσθαι, τα δε δεικνύεν, ἄλλα δε ποιεῖν·
772 τί σφιν χρησηται μοῦνος ἐπισταμενος;

Толкователь означенного в заглавии четверостишия из Феогнидова сборника встречается с тем нередким в истории науки феноменом, когда обобщающий усилия многих ученых основательнейший труд – в нашем случае это комментарий Б. А. Ван Гронингена к первой книге Феогнида,[1] – именно благодаря своему (в целом безусловно заслуженному) авторитету грозит в частных, особенно спорных, вопросах вытеснить более оправданное понимание вещей у некоторых его предшественников. Влиятельность мнений Ван Гронингена о стт. 769–772 тем ощутимее, что за десять лет до издания своего монументального

[1] *B. A. van Groningen.* Théognis. Le premier livre édité avec un commentaire. Amsterdam 1966, 296–299 (= Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, n. r., D. 72, n. 1). Отметим с сожалением, что несмотря на некоторые усилия нам не удалось ни в Петербурге, ни в Афинах и в Берлине разыскать более новую работу, которая специально посвящена разбору занимающих нас стихов: *M. Vetta.* La funzione del poeta nel simposio tardo-arcaico: *Thgn.* 769–772 // Studi in onore di C. Vona. Chieti 1987, 467–479.

труда голландский исследователь посвятил рассмотрению занимающего нас четверостишия отдельную статью,[2] в которой не только подробно изложил и взвесил мнения своих предшественников, но и дал новое толкование стихотворению. Толкование это наряду с некоторыми другими мы беремся оспорить в настоящей статье, а ряд старых мнений, напротив, постараемся развить в качестве очередной попытки понять стт. 769–772 Феогнидова сборника.

Текстологически стихотворение засвидетельствовано надежно. Форму δεικνύειν, предлагаемую рукописями **АО**, приходится поправлять по соображениям метра. Экономнее и предпочтительнее всего оказывается δεικνῦεν,[3] так как доризмы встречаются в элегиях мегарца, но не так часто, чтобы к ним привыкли византийские переписчики.[4] Что касается интерпункции в занимающих нас стихах, то в этом отношении после Т. Бергка[5] преобладает единодушие – так же расставляют знаки Д. Янг[6] и Ван Гронинген. Во втором стихе катрена (единственный пункт, где можно было бы спорить о месте постановки знака) запятая ставится обычно после третьего, а не после шестого слога. Это убедительное решение: ведь именно так выявляется равновесие между περισσόν τι с одной стороны и φθονερὸν σοφίης с другой, причем σοφίης в аподосисе, синтаксически не завися от εἰδείη, по смыслу ловко его подхватывает. В качестве дополнительного аргумента приведем и то обстоятельство, что для Феогнида как раз характерен enjambement длиной *в одно слово*.[7] В конце четверостишия издатели единодушно ставят вопросительный знак, и только Й. Кролль ставил здесь точку в связи с необычным пониманием конструкции, о чем будет сказано ниже.[8]

---

[2] *Idem.* Théognis 769 – 772 // Mnemosyne 10 (1957), 103–109.

[3] Старая поправка М. Шмидта δεικνύεν принята почти всеми издателями; ср. *Theogn.* 260, где Бергк за φεύγειν угадывал дорийское φεύγεν.

[4] То обстоятельство, что в предыдущем стихе употреблен инфинитив τελέθειν, не должно нас смущать: в искусственной ионийско-гомеровской дикции элегии родной поэту дорийский диалект (как об этом свидетельствует μῶσθαι в том же стихе) представлен в виде вкраплений (об этом см.: *O. Hoffmann.* Geschichte der griechischen Sprache. Bd I. Berlin – Leipzig [2]1916, 85). В. Али (*W. Aly.* Theognis // RE VA (1934), 1977) добавляет в подтверждение λῆ из ст. 299 и некоторые другие словоупотребления Феогнидова сборника.

[5] Poetae Lyrici Graeci / Rec. Th. Bergk. Vol. II. Lipsiae [4]1882, 187.

[6] Theognis / Post E. Diehl ed. D. Young. Lipsiae 1961, 48.

[7] Enjambement (если по-русски, изящно: заступ) характерен для Феогнидова корпуса, чему ярким примером могут служить стт. 237 слл., где эта метрическая фигура встречается пять раз на протяжении семи стихов. Иногда enjambement занимает два слога (ст. 327, 826, 1300, 1316, 1320 и др.), иногда четыре (ст. 198, 406); выражается он – как в занимающем нас случае – и с помощью слов трехсложных (ст. 58, 200, 1348); наконец, особенно интересен для нас ст. 942, где после трехсложного enjambement из глагольной формы 3-го л. ед. ч. в том же месте стиха, что и в ст. 770, находится та же словоформа σοφίης, относящаяся не к предшествующему, а к последующему слову.

[8] *J. Kroll.* Theognis-Interpretationen // Philologus. Suppl. Bd 29 (1936), 243 ff. Ср. ниже с. 41.

Ощутимой, более того, почти непреодолимой трудностью при истолковании стихотворения издавна считается третья его строка с тремя глаголами, которые некиим образом определяют *круг деятельности* поэта. Мнения ученых XX в. об этой триаде обобщены в названных трудах Ван Гронингена, а также у Гарсиа.[9] Имеющееся здесь разнообразие (опыты последних десятилетий, сколько нам известно, не дают чего-либо решительно нового), как в сходстве, так и в различии, можно подытожить в следующей таблице:

	μῶσθαι	δεικνύεν	ποιεῖν
Г. Харрисон (1902)[10]	(вольная) переработка чужого	прямые заимствования	оригинальные сочинения
Т. Хедсон-Уильямс (1910)[11]	изыскание новых истин	изложение общепринятого	a) некая практика b) версификация
Й. Кролль (1936)	творческое раздумье	истолкование перед публикой	соответствующая практика (напр., пиры)
Ж. Каррьер (1948)[12]	поиски	наставление	сочинение
Г. Френкель (1951)[13]	вымысел; замысел	сообщение	работа над произведением
Б. А. Ван Гронинген (1957, 1966)	дидактика	картины добродетели и порока (энкомий, сатира)	нарративное творчество, эпос
А. Гарсиа (1958)	медитативный аспект	возрождение старого в новом; традиция	вполне новое, оригинальное творчество
Ф. Адрадос (1959)[14]	поэтический замысел	рецитации?	артистическая форма

[9] *Teognide*. Elegie. Libri I–II / Testo critico, introduzione e note a cura di A. Garzya. Firenze 1958, 242 sgg.

[10] *E. Harrison*. Studies in Theognis, Together with the Text of the Poems. Cambridge 1902, 115.

[11] *T. Hudson-Williams*. The Elegies of Theognis and Other Elegies Included in the Theognidean Sylloge. London 1910, 224–225.

[12] *Théognis*. Poèmes élégiaques / Ed. par J. Carriére. Paris 1948, 62 (cf. [2] 1975, 101).

[13] *H. Fränkel*. Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. München 1962, 516; *Idem*. Theognis // Die griechische Elegie / Hrsg. von G. Pfohl. Darmstadt 1972, 355.

[14] *F. Adrados*. Líricos Griegos: Texto y traducción. Vol. II. Barcelona 1959, ad loc.

Имея перед собой этот доксографический обзор, постараемся взвесить, каким бывало и каким должно быть истолкование каждого из трех глаголов; не будем при этом упускать из виду того, что интерпретация отдельных членов триады и понимание ее как целого связаны между собой теснейшим образом. Роль третьей строки четверостишия – это еще один уровень предстоящего анализа.

Три глагола из ст. 771

1. *μῶσθαι*

В сущности, все исследователи, кроме Ван Гронингена, понимают μῶσθαι как verbum studii («устремляться, замышлять»); однако соображения, привнесенные из рассмотрения общего смысла триады, побудили некоторых ученых искать в этом слове такое смысловое богатство, какого ему не вместить. Ведь если μῶσθαι не может содержать все то, что хотел услышать в нем Харрисон («вольная переработка чужого»), то не фиксируется в этом понятии ни сосредоточенность исключительно на чужом, ни, напротив, творчество, отрицающее какие бы то ни было традиции, – как утверждал Хедсон-Уильямс с характерной для полемики неосознанной зависимостью от критикуемого предшественника. Разумеется, Харрисон дальше от истины, потому что странно «замышлять чужое», т. е. «затевать» то, что когда-то уже обрело воплощение. Лучше просто признать, что слово μῶσθαι не содержит отчетливого указания на то, в каких *пределах* поэту надлежит использовать литературную традицию.[15]

Между тем понятно, как Харрисон пришел к своей на первый взгляд неожиданной мысли, оказавшей влияние и на других. Дело в том, что перед филологами, мысль которых занята историей Феогнидова корпуса в целом, стоит мучительный вопрос: как соединить несомненно острую индивидуальность Феогнида и ряд почти дословных цитат из других поэтов в сборнике, носящем его имя? Неудивительно поэтому, что в стихотворении, которое в любом случае посвящено деятельности поэта, филологи стремились найти хоть что-нибудь, проливающее свет на проблему истории сборника. Стт. 769 слл. давали этим исследователям ответ на вопрос, который их прежде всего занимал: поэту

[15] Ниже будет показано, что μῶσθαι, выступая как аналог того, что теперь принято называть «вынашиванием» произведения, соприкасается, пожалуй, с идеей «оригинальности», но косвенно и не слишком определенно.

следует с той или иной степенью свободы использовать традицию (при этом у Гарсиа второе звено означает то, что у Харрисона приписывается первому), сочиняя, впрочем, и что-нибудь свое (третье звено). Забегая вперед, скажем, что для δεικνύεν истолкование в перспективе *консерватизм / новаторство* (особенно в варианте Харрисона) неестественно, а для ποιεῖν – необязательно.

С еще большей определенностью должно быть отвергнуто толкование μῶσθαι, предложенное Ван Гронингеном, потому что не видно, чтобы этот глагол мог обозначать действие, переходящее на лица, внешние субъекту действия. В этом, не говоря о значении, существенное отличие μῶσθαι от δεικνύναι, διδάσκειν или *exhortari*, на которые ориентируется Ван Гронинген под влиянием угадываемого им общего, именно *жанрового*, смысла триады. Очевидно, что последний открылся ему на основании сопоставления ποιεῖν и δεικνύεν, которые и навели его на мысль о различении в ст. 771 эпоса и драмы (resp.).

Тем примечательнее, что уже Й. Кролль высказал, а Адрадос подтвердил понимание μῶσθαι как verbum studii в смысле предварительной, часто подспудной творческой работы. То же представление на греческом языке обыкновенно выражалось словами ἐξευρίσκειν и ζητεῖν[16] – последнее находим, в прикровенном виде, у самого Феогнида (683–684). И действительно: за μῶσθαι естественно усматривается эта начальная, подготовительная и она же существеннейшая **стадия художнического труда** – *время поисков* и сомнений, счастливого, хоть и не всегда легкого пребывания в состоянии творческого «брожения».[17]

Подтверждение такому пониманию можно видеть в том, как Платон, воспроизводящий в «Кратиле» немало традиционных этимологий, разъясняет имя Муз (406 а): τὰς δὲ Μούσας τε καὶ ὅλως τὴν μουσικὴν ἀπὸ τοῦ μῶσθαι, ὡς ἔοικεν, καὶ τῆς ζητήσεως τε καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπωνόμασεν. Как видим, Μοῦσα объясняется у Платона через μῶσθαι, понимаемое в смысле влечения к мудрости и поисков

---

[16] Ср. лат. *quaero* в рассказе о поэте у Плавта (*Pseudol.* 402): quaerit quod nusquam gentiumst, reperit tamen.

[17] В культуре Нового времени нередко говорят об «утробной» стадии в рождении произведения, о «вынашивании» замысла и т. п. Метафорика *порождения* не чужда древним: у Пиндара (*Pyth.* 4, 177) поэт назван ἀοιδᾶν πατήρ, ср. *Ol.* 7, 8: καρπὸν φρενός; ср. также γόνιμος у Аристофана (*Ran.* 95–97) в разговоре о продуктивности поэтов или τίκτω в том же метафорическом ключе (*Ran.* 1058–1059), что перекликается с образом сократовской майевтики; *Suet. Nero* 52: cogitante et generante: *[Donat.] Vita Verg.* 22: carmen se ursae more parere dicens et lambendo demum effingere; и т. п.

(ζήτησις) ее.[18] Если у Феогнида сближение Μουσῶν и μῶσθαι выступает, кажется, всего лишь в качестве парономасии,[19] то в приведенном пассаже Платона verbum studii для вящей убедительности подобран так, чтобы близость художественного порыва к самому имени Муз казалась неоспоримой. Есть, таким образом, различие, но поскольку Платон охотно прибегал к высказываниям Феогнида при разъяснении своих идей (*Meno* 95 d–e: bis; *Leg.* I, 630 a), трудно удержаться от впечатления, что в процитированном пассаже «Кратила» Платон имеет в виду *между прочим и* занимающие нас строки из Феогнидова сборника, может быть даже намекая на них.[20]

Сопоставим: говоря о том, что есть самого творческого в поэтическом творчестве, Пиндар, с одной стороны, также употребляет verba inveniendi et studii – εὑρίσκω (*Pyth.* 4, 299: εὗρε παγάν… επεων; cf. *Ol.* 9, 80: εὑρησιεπής; *Nem.* 4, 6–8; *Encom.* fr. 122, 13–15 Snell – Maehler), ἐρευνᾶν (*Paean.* 7 b, 20 Sn. – M.: βαθεῖαν… ἐρευνᾷ σοφιας ὁδὸν; cf. *Aesch. Prom.* 1038),[21] причем употребление это уже не было ново.[22] С другой стороны, и у Пиндара встречается сближение Μοῦσα и μαίεσθαι (напр., *Nem.* 3, 1–5), однако оно и фонетически, и в смысловом отношении подано менее настойчиво, чем у Платона. Это соображение делает, нам кажется, аллюзию на Феогнида в Платоновом «Кратиле» не только более правдоподобной, но прямо-таки вероятной.

Что касается до вопроса об отношении Феогнида к предшествующей поэтической традиции, то в общем виде ясно, что поэт имел в виду ту степень оригинально-

---

[18] Представленное у Платона толкование дошло до поздних лексикографических сводов: (1) *Hesych.* ε 2578 Latte: εμωσατο· εὗρεν, ἐτεχνάσατο, ἐζήτησεν; ср. (2) *Suda* μ 1291 (vol. III, p. 414 Adler): Μοῦσα· ἡ γνῶσις. ἀπὸ τοῦ μῶ, τὸ ζητῶ. В аппарате Д. Янга к его изданию Феогнида (ad loc.) приводятся и другие свидетельства греческих лексикографов. Приходит на ум догадка: не знаменовало ли μῶ у Демокрита (B 19 Diels – Kranz = fr. 824 Luria) попытки приблизить название буквы μῦ к греческому языку, подобрав ему хоть какое-нибудь подобие смысловой ассоциации?

[19] Поскольку парономасия в Феогнидовом сборнике встречается нередко (ср. μωμεῦνται – μιμεῖσθαι в стт. 369–370, μηδὲν τὸν Μήδων δειδιότες πόλεμον в ст. 764, ἀ(ι)ει – ἀείσω в стт. 3–4, а может быть и χρη – χρήσηται прямо в нашем стихотворении), позволительно предполагать, что в разбираемом катрене созвучие слов Μουσῶν …μῶσθαι не случайно; необходимости предполагать более тесную смысловую связь между ними, как и в случае χρη – χρήσεται, мы, однако, не усматриваем.

[20] Ср. ниже раздел о диалоге «Гиппарх», с. 46 слл.

[21] Названные последними примеры подобраны у Ф. Феррари: *Teognide.* Elegie / Introd., trad. e note di F. Ferrari. Milano 1989, 200–201.

[22] Примерно столетием раньше то же сближение можно наблюдать у Стесихора (fr. 212, 2 Page = Lyrica graeca selecta / Ed. D. L. Page. Oxonii 1968, № 82).

сти, которая была свойственна ему самому, а следственно воспринималась им – кто не знает поэтов? – как норма для всех. Каким именно образом нужно увязать μῶσθαι из разбираемого стиха с идеей оригинальности и мыслится ли последняя в Феогнидовом сборнике как особенная, личная неповторимость, как воздействие на поэта Муз или как соединение того и другого, сказать трудно. Не будем забывать, что наряду с представлением о поэте как пассивном восприемнике божественных влияний (такова предпосылка учения о вдохновении свыше, ἐνθουσιασμός), уже с гомеровских времен живет идея оригинального, не сводимого ни к чему внешнему, «гениального» в серьезнейшем смысле слова, поэтического творчества.[23]

Впрочем, выделение *творчески-мечтательного момента* в цикле поэтического труда косвенно свидетельствует о сознании того, что эта часть работы поэта является решающей предпосылкой последующего успеха. Понятно, что придавать этому наименее социализированному аспекту творчества столь существенное значение можно лишь в случае, если от поэта ожидаются *оригинальные* идеи. Пожалуй, в том же самом направлении ведет и употребленное в нашем катрене выражение περισσόν, имеющее, конечно, не количественный, а качественный смысл. Как невыразимость, так и трудновыразимость, подразумеваемая стадией поисков, в разбираемом контексте ближе соседствует с представлением об оригинальности, чем с установкой на повторение старого.[24]

2. δεικνῦεν

Семантика этого слова затруднительна своей широтой, так что даже в трихотомии нелегко вычленить его смысл. Харрисон, за ним Хедсон-Уильямс и (значительно позже) Гарсиа идут, несмотря на некоторые различия, в одном направлении: δεικνῦεν они предлагают воспринимать как «показывать (и только); (просто) указывать». Дальнейшие квалификации этого слова как члена триады у всех троих только что названных ученых приходится признать еще более надуманными; δεικνῦεν обретает в этих построениях смысл «напоминания» (ἀναμιμνῄσκω) или «возобновления» (ἀνανεόομαι).

[23] Это качество особой мусической одаренности по-гречески выражается иногда довольно неожиданно – например, словами αὐτοδίδακτος (*Hom. Od.* XXII, 347) или αὐτοδαής (*Soph. Aiax* 700). Здесь, как и во многих других отношениях, полезна работа Ф. А. Петровского: Ingenium – Ars (Возникновение проблемы о природном даровании и мастерстве в античной литературе) // Eirene: Studia Graeca et Latina. Vol. II. Praha 1964, 57–69.

[24] В Феогнидовом сборнике περισσόν употреблено еще раз (ст. 1386) для характеристики некоей, так сказать, эксклюзивной прелести Афродиты.

2 Зак. 3004

Любопытно, что держась при толковании трех глаголов все той же линии различения традиционного и оригинального в поэтическом творчестве, Гарсиа приписывает второму члену тот самый смысл «обновления чужого», который у Харрисона – основателя этой концепции в отношении всей триады – приписан был первому ее члену. Особняком, как и в первом случае, стоит Ван Гронинген со своей жанровой версией. Исходя из представления о «картинности», которое, казалось бы, в первую очередь естественно связывать с δεικνύναι, Ван Гронинген и пришел к мысли об *энкомии* и *сатире* как жанрах, подразумеваемых этим глаголом в ст. 771: поэты, будто бы, *показывали* в этих жанрах картины добродетели и порока.

На это приходится возразить, что при таком решении в слово δεικνὺεν (так же, как бывало с μῶσθαι) вкладывается слишком много. Разве есть в нем, взятом в отдельности, сколько-нибудь отчетливый намек на людские нравы или на литературные формы, посвященные (полярному по духу) изображению первых? Сочетание жанров, предлагаемое Ван Гронингеном, и вообще выглядит нескладно и анахронистично. Наконец, первый и второй члены триады оказываются у Ван Гронингена слишком мало отличены один от другого: в сущности в обоих этих звеньях предполагается некая дидактическая идея, которая в отношении второго глагола обоснована едва ли много лучше, чем применительно к первому. Неотчетливо и различение обоих первых звеньев с третьим: разве эпос, усматриваемый Ван Гронингеном за ποιεῖν, не предлагает картин доблести и не использовался исстари в дидактических целях?

У δεικνύεν в корпусе Феогнида (кроме ст. 761, также ст. 500 и fr. dub. 7, 2 Young) заметен оттенок «обнаружения, выявления», напоминающий даже более суровую семантику ἐλέγχω. В частности и поэтому при толковании этого элемента триады может явиться мысль, что речь идет не о простом объявлении, а о «показывании» как *выявлении* силой искусства дотоле скрытых, хоть и существенных, истин. Так греческие боги, благодетельствуя людей, *показывают* им то, что способно сделать человеческую жизнь благополучнее (*Pind. Hyporch.* fr. 108, 1 Sn. – M.: θεοῦ δὲ δεῖξαντος ἀρχάν). Афина у Еврипида, обучая афинян основам цивилизации, *показывает* им оливковое дерево (*Eur. Tro.* 801 sq.): τᾶς ἐπικεκλιμένας ὄχθοις ἱεροῖς, ἵν' ἐλαίας / πρῶτον ἔδειξε κλάδον γλαυκᾶς 'Αθάνα; ср. процитированный выше *Pind.* fr. 108: θεοῦ δὲ δεῖξαντος ἀρχάν). Еще примечательнее то, что находим у Ксенофана (fr. 16 Diehl): οὖ τοι απ' ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖσ' ὑπέδειξαν / ἀλλὰ χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον: люди, оказывается, способны искать и самостоя-

тельно *находить* то, что не было *показано* им богами, причем подразумевается, что изобретатели *покажут* найденное другим. Через *показ* публике своих произведений также и художники (напр. *Pind. Isthm.* 8, 47 sq.) или ораторы (*Isocr.* 4, 18; ср. ἐπίδειξις у него же: 5, 17) могут «являть» другим открытую ими природу вещей и собственную мудрость; δεικνύεν в этой перспективе предполагает «(объ)явление, показ» не столько произведения, сколько того, что составляет самый предмет художнического постижения жизни (сходно с этим и τὸ λεγόμενον δεικνύναι в логике – *Arist. Rhet.* II, 25, 1403 a, 13).

Так у Лукиана ваятель *показывает*, кажется, не просто свою работу, изображающую Зевса, а самого Зевса (*Somn.* 8: ἔδειξε τὸν Δία), если, конечно, мы не имеем дело с брахилогией в духе скупой манеры выражаться, характерной для мастеров, где «Зевс» замещало бы слова: «выполненная художником статуя Зевса». Любопытно и трехчленное деление искусства танца в сопоставлении с поэтикой у Плутарха (*Quaest. conviv.* IX, 747 b sqq.). Или ранние примеры употребления verba monstrandi при обнародовании произведений искусства служили выражением – пусть еще не оформленных философски – идей, позже связываемых с учением о μιμησις? То, что четко выраженная Аристотелем концепция искусства, сочетающая идеи μίμησις и ἀπάτη, восходит к Платону (напр., *Leg.* II 668 a–b),[25] а далее к софистам, в особенности к Горгию, можно считать доказанным.[26]

Действительно, эта функция поэтов и по-гречески передавалась через verba monstrandi. Впрочем, эта семантика плавно переходит в другую, которая проще и не предполагает намеков на онтологию художественного творчества. У Пиндара, например, находим совет (*Hymn.* fr. 42, 3–5 Sn. – M.): καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν / ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ / δεικνύναι (показывать достижения творчества, а не творческие муки). Еще интереснее у Вакхилида (fr. 15, 4 Sn.–M.):[27] ἁβρὸν

---

[25] Обзор мнений Платона о роли μίμησις в изобразительных искусствах и о месте последних в познавательной иерархии дает Э. Целлер (*E. Zeller.* Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bd 2, 1. Leipzig ⁵1922, 940–942).

[26] *С. В. Меликова-Толстая.* Учение о подражании и об иллюзии в греческой теории искусства до Аристотеля // Известия АН СССР. 6 серия, 20 (1926), 1151–1158. Учитываемую и С. В. Меликовой-Толстой возможность влияния Эмпедокла и пифагорейцев на эстетические воззрения Горгия признает, как таковую, Р. Кассель (*R. Kassel.* Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur. München 1958, 7); он же (LAW, s. v. Mimesis) справедливо предлагает передавать μίμησις не столько через *Nachahmung*, сколько через *Darstellung*. Укажем также на важную работу, посвященную этому вопросу: *G. F. Else.* «Imitation» in the fifth century // Classical Philology 53 (1958) 73–90.

[27] Это место приведено в коллекции примеров Феррари: *Teognide.* Elegie… [см. прим. 21], loc. cit.

τι δεῖξαι (о себе как авторе), что очень близко по смыслу к (περισσόν τι) δεικνύεν из нашего четверостишия. Для описания тех же или похожих действий употреблялось и φαίνω, напр. у Гомера (*Od.* VIII, 499): φαῖνε δ' ἀοιδήν, у Ксенофана (fr. 1, 19 D.): ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνῃ[28] или, опять же, у Вакхилида (13, 224). Тот, кто удачно показал свое искусство, становится «всем виден» своей мудростью (*Pind. Ol.* 1, 116): πρόφαντον σοφίᾳ... ἐόντα (ср. προφαίνειν в только что упомянутом отрывке Пиндарова гимна: fr. 42, 1).

На основании именно этого значения сформировалось и употребление ἐπιδείκνυσθαι, напр., у Аристофана (*Nub.* 269),[29] Ксенофонта (*Symp.* 3, 3), Платона (*Resp.* III, 398 a; *Phaedr.* 235 a, 258 a; *Euthyd.* 174 a; *Leg.* II, 658 b; *Gorg.* 447 a–c: ter), Исократа (2, 7). Соответствующим образом в классическое время употреблялось слово ἐπίδειξις в смысле «выступление; изложение», где «показывание» и «доказывание» мыслились, кажется, вместе (*Thuc.* III, 42; *Plat. Phaed.* 99 a; *Gorg.* 447 c: bis); ἐπιδείγματα τῆς σοφίας из диалога «Гиппарх» мы еще встретим ниже.[30]

Наличие как синонимии, так и дериватов со всей определенностью подтверждает существование и актуальность концепта: «показывать» для элегиков и лириков очень часто означало «*выступать перед публикой*». Следует, таким образом, признать, что для δεικνύεν в разбираемом стихе Феогнидова сборника правдоподобнее всего то, что и всего естественнее: артисты – эти асоциальные работники социальной сферы – иногда по желанию, а иной раз и без такового должны представлять, или *показывать*, другим свои творческие достижения.

Неудивительно, что большинство толкователей Феогнида шли этим, кажется, наиболее естественным путем. Как легко увидеть из обзорной таблицы, некоторые из них давно связывали δεικνύεν с поэтом, который *показывает* публике свой труд. Как уже было при анализе μῶσθαι, мы вновь оказываемся в сфере представлений о триаде как о перечне главных **этапов в работе поэта**. При этом для архаического поэта δεικνύεν в любом случае сводится к публичной рецитации его произведений, так как «передача сочинений в письменной форме для

---

[28] Судя по следующим стихам того же Ксенофанова отрывка (стт. 21–23), под ἐσθλὰ ἀναφαίνειν поэт имел в виду превосходное как по содержанию, так и по форме поэтическое выступление на симпосии (πιών). Ср. ниже с. 51.

[29] К. Доувер (*Aristophanes*. Clouds / Ed. with Introd. and Comm. by K. J. Dover. Oxford, 1968, ad loc.) не сомневается в том, что рассматриваемое слово употреблено здесь, как и в ряде других Аристофановых пассажей, в качестве риторического term. techn.

[30] Этому исключительно интересному для нашего рассмотрения пассажу будет посвящен особый раздел работы.

ознакомления» не соответствовала бы уровню распространения книжности в занимающие нас времена.

3. *ποιεῖν*

Как можно убедиться из приведенной выше таблицы, некоторые угадывали в последнем представителе глагольной троицы из ст. 771 деятельность за пределами собственно поэзии, а именно некую «соответствующую *практику*» – для Феогнида, например, участие в симпосии. Начать с того, что постулируемый смысл требовал бы в таком случае скорее πράττειν или δρᾶν.[31] «Практика» певца на симпосии, как и выступление поэта эпического или драматического – рецитации эпоса или театральные постановки, – с помощью ποιεῖν не обозначаются. К тому же, если ποιεῖν подразумевало бы труды по представлению публике произведений, предназначенных для симпосиев, то различие ποιεῖν и δεικνύεν (в том значении, которое для последнего было признано выше наиболее правдоподобным) стиралось бы, а проблема толкования трех глаголов вставала бы снова.

Что касается Ван Гронингена, то он, как помним, угадывал в третьем звене указание на эпос, опираясь на то, что самого великого эпического автора называли ὁ ποιητής. Из этого, однако, не следует, что и ποιεῖν в литературной сфере ассоциируется всегда и прежде всего с эпосом; материал, приводимый ниже ради демонстрации отстаиваемого нами значения ποιεῖν в ст. 771, это подтвердит. Наконец, уже лексически неудачное (не говоря о требованиях контекста, о которых речь пойдет ниже) толкование обоих первых звеньев триады в концепции Ван Гронингена показывает, что от жанровой идеи в толковании трех обязанностей поэта следует отказаться и на этот раз. Были и другие толкования ποιεῖν, представляющиеся, надо признать, еще менее убедительными, чем разобранные выше.[32]

---

[31] В этом направлении идет сопоставление особенностей всех трех verba agendi у старого мастера контрастирующего рассмотрения синонимов: *J. H. H. Schmidt*. Handbuch der lateinischen und griechischen Synonymik. Leipzig 1889, 294–300 (ποιεῖν – «machen», δρᾶν – антоним к πάσχειν, πράσσειν – «tun, treiben, handeln»).

[32] Э. Форд (*A. L. Ford.* The Seal of Theognis: The Politics of Authorship in Archaic Greece // Theognis of Megara: Poetry and the Polis / Ed. by Th. J. Figueira and G. Nagy. Baltimore; London 1985, 93) связывает ποιεῖν с гермами, стелами и другими физическими носителями гномических текстов. Он опирается в своем толковании на Л. Эдмундза (*L. Edmunds*. The Genre of Theognidean Poetry // Ibidem, 96 ff.), считавшего третий член триады самым неясным из всех и предлагавшего нечто, что ему, на наш взгляд, не удалось сформулировать отчетливо (pp. 106–109; esp. 108): ποιεῖν «refers to epic poetry as fiction» и, по Эдмундзу, содержит ту же двойственность, что англ. 'fabricate':

Между тем некоторые филологи давно предлагали отнести третье звено триады к литературной *отделке* или *переделке* уже явившегося на свет произведения. Употребление ποιέω применительно к писательству, притом именно в его технических аспектах, находим у Платона, когда речь заходит о том, как Сократ в темнице занимался *версификацией*, перелагая стихами Эзоповы басни (*Phaed*. 60 d – 61 b). На замечание Кебета: περὶ γάρ τοι τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς Ἀπόλλω προοίμιον... ἐποίησας αὐτὰ πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας, Сократ отвечает: οὓς προχείρους εἶχον μύθους, καὶ ἠπιστάμην τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. Нетрудно было бы добавить яркие примеры такого же словоупотребления из Аристотеля,[33] однако лучше спросить себя, не являются ли и платоновские примеры слишком поздним свидетельством, дающим мало для толкования ποιεῖν в Феогнидовом сборнике?

Слово ποιητής, как и ποιέω в применении к литературному творчеству, с определенностью впервые засвидетельствовано у Геродота и уже не раз подвергалось изучению.[34] Действительно, ποιεῖν, кроме обычных своих значений, часто употребляется у Геродота в применении к литературному творчеству без фиксации на той или иной форме литературной работы – так по-русски «писать» может означать многое, начиная от «водить орудием письма по бумаге» до «считать себя и(ли) быть писателем». Именно в обобщенном смысле «писать», «сочинять» чаще всего и пользуется этим словом Геродот: II, 53 οὗτοι [scil. Homerus et Hesiodus] δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι; сходным образом употреблены формы от ποιέω и в I, 23; IV, 13; 14 (ter); 16; 32; 35.

При этом действие ποιεῖν (мы говорим о литературной сфере) естественным для семантики этого глагола образом соотносится с результатом, а именно готовым (у Геродота всегда метрическим) произведением словесности. Для обозначения менее осязаемых форм литературной работы Геродот использует εὑρίσκειν (напр., II, 23: εὑρόντα ἐς ποίησιν εἰσενείκασθαι) в духе того словоупотребления, какое мы наблюдали, разбирая смысл μῶσθαι. В некоторых случаях историк употребляет ποιεῖν и более узким образом, а именно в смысле, приближающемся к тому, который нас сейчас занимает. Таково *Hdt*. III, 116: Ἠριδανός... τὸ ὄνομα... ὑπὸ ποιητέω... τινός ποιηθέν. В пассажах V, 95; VI, 2; IX, 43 речь идет о сочинении таких текстов, где, как и в случае

(1) make artefacts; (2) use artifice. Как помыслить себе все это в одном слове, притом не в рамках ученого рассуждения, а в пределах одной гекзаметрической строки из эпиграммы, нам неясно. К статье Форда с более выгодной ее стороны мы еще вернемся в разделе о диалоге «Гиппарх».

[33] Особенно показательный случай: *Aristot. Rhet*. III, 1405 b, 24–28, где ποιεῖν употреблено трижды в анекдоте о вдохновенной самоцензуре Стесихора: по словоупотреблению современных языков на месте такого ποιεῖν требовалось бы выражение «(на)писать» в смысле «заниматься литературной работой» вообще.

[34] Poetica pre-platonica: Testimonianze e frammenti / Testo, trad. e comm. a cura di Giuliana Lanata. Firenze 1963, 229 sg.; 64–67 (о Феогниде).

с Эзоповыми стихами Сократа, не надо было искать сюжета, так что работа состояла в том, чтобы определенным образом перевыразить некое заранее известное содержание, иначе говоря – делать нечто близкое к тому, что теперь называется литературным упражнением или даже (само)редактированием.

Отсутствие отчетливых и надежных[35] свидетельств с занимающим нас техническим значением ποιεῖν даже у Геродота,[36] не говоря о более раннем времени, при бедности свидетельств для VI – нач. V вв. не должно отпугивать. На это выразительно указывает композит μεταποιῆσαι у Солона, который просил Мимнерма «переписать», или «пересочинить», кое-что в одном из его стихов (*Solo* fr. 22 Diehl): καὶ μεταποίησον, … ὧδε δ᾽ ἄειδε / 'ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου'. Это μεταποίησον показывает a fortiori, что применение ποιεῖν к работе над словом не было новостью даже и в конце VII в.,[37] хотя «поэта» в ту пору называли, по-видимому, именами, не связанными с ποιεῖν.

Нечто похожее на нужное нам употребление ποιέω находим, пожалуй, и в ст. 713 сл. Феогнидова сборника:[38] οὐδ᾽ εἰ ψεύδεα μὲν ποιοῖς ἐτύμοισι ὁμοῖα / γλῶσσαν ἔχων ἀγαθὴν Νέστορος ἀντιθέου. Здесь ποιοῖς лучше воспринимать не в сочетании ποιοῖς ὁμοῖα, что давало бы смысл «уподобляешь», а абсолютно, т. е. в значении «создаешь, *сочиняешь*», причем ὁμοῖα надо мыслить как простое определение к ψεύδεα. При таком понимании, за которое говорят и прообразы этого стиха (*Od.* XIX, 203; *Hes. Theog.* 27),[39] получается не намек на использование красноречия для победы худшего над лучшим, с чем как-то не вяжется упоминание почтенного Нестора, а об успешном занятии поэзией, существо которой эллины давно (так в обоих только что названных пассажах Гомера и Гесиода) определили как правдоподобную иллюзию. Упоминание Нестора в этом случае воспринимается как указание на великую одаренность, а не на виртуозную лживость.

Если наши выкладки в основном справедливы, то нет противопоказаний и есть, напротив, некоторые предпосылки, говорящие за то,

---

[35] Геродотово κατὰ παρεποίησε (II, 116) звучит убедительно; не приходится удивляться, что оно принято в изданиях Худе и Розена, предполагается в комментарии Ван Гронингена к соответствующему пассажу Геродота и тоже могло бы свидетельствовать о литературном term. techn. И все-таки поостережемся делать слишком желательные для нас выводы, поскольку это чтение является поправкой (Беккера) вместо рукописного κατὰ γὰρ ἐποίησε, – поправкой, популярной у издателей, но не единственной: таково, например, принятое в изд. Штайна чтение κατάπερ.

[36] И. Пауэлл (*E. Powell.* A Lexicon to Herodotus. Hildesheim ²1977) выделяет из насчитанных им 1215 случаев употребления этого глагола у Геродота 16 мест, где глагол применяется к поэтам и означает «compose», «сочинять».

[37] Естественность предлога μετα- в этом употреблении и актуальность соответствующего понятия отчасти подтверждается позднейшим употреблением μετατιθέναι в том же значении, что и ποιεῖν, дважды засвидетельствованным у Аристотеля (*Poet.* 1458 b, 19–24) в смысле работы над адекватным словесным выражением готовой уже мысли.

[38] Высказывалось мнение, что ст. 757 открывает вторую элегическую коллекцию, добавленную кем-то к «книге Кирна» (*A. R. Burn.* The Lyric Age of Greece. London 1960, 263). Ср. ниже с. 45 сл.

[39] См. об этом: *H. Maehler.* Die Auffassung des Dichterberufs im frühen Griechentum bis zur Zeit Pindars. Göttingen 1963 (= Hypomnemata 3), 40.

чтобы признать ποιεῖν в *Theogn.* 771 одним из ранних свидетельств глагола ποιέω в его поэтологическом значении («сочинять»),[40] притом в технической разновидности последнего («работать над словесной тканью своего произведения»). Речь, как видим, не о жанре и не о степени оригинальности поэта, о чем слово ποιεῖν не говорит, а о *литературной отделке* произведения, притязающего на звание искусства.

Стадии литературной работы в античной риторике

Итак, каждый из членов Феогнидовой триады служил, по всей видимости, обозначению некой **стадии литературного труда**, так что работа поэта оказывается кратко представлена триадой в целом.

Привязанность греков к трехчленному делению заметна повсюду. В мистериях говорили о δρώμενα, δεικνύμενα, λεγόμενα. На три части делилась, как известно, сама риторика. Ближе к нашему случаю трехчленное представление о **предпосылках художественного творчества**: φύσις / natura; τέχνη / ars; μελετη / exercitatio (как и разбираемая нами троица – тоже с вариациями в обозначении каждого из трех элементов). Существенный для античной эстетической мысли мотив вдохновения примыкает ближе всего к первому звену как Феогнидовой, так и последней из названных триад. Ср. *Hdt.* I, 23 с триадой, слегка напоминающей Феогнидову.

Тем любопытнее сопоставление трехчленного деления в *Theogn.* 761 с техническим языком позднейшей античной риторики,[41] которая (как это и вообще часто случалось при классификации) охотно выделяла три или четыре составных части, в частности, в работе оратора. Членение литературного труда на *четыре* части давали стоики (*Chrysipp.* fr. 295 SVF [vol. 2, p. 96] = *D. L.* VII, 42–43), у которых, как известно, выстраивался ряд: (1) εὕρεσις / inventio (ср. *Dion. Hal. Dem.* 51); (2) τάξις / dispositio; (3) φράσις (также λέξις или ἑρμηνεία) / elocutio; и, наконец, (4) ὑπόκρισις.[42] Для сравнения можно привлечь Аристоте-

---

[40] Так, уже Дж. Ланата (Op. cit. [см. прим. 34], 67) говорила применительно к *Theogn.* 771 о догеродотовом и вообще древнейшем ποιεῖν в смысле итал. «poetare».

[41] В том, что у старых поэтов можно наблюдать следы «дотехнической» риторики, нет ничего удивительного – это нормальный ход развития, издавна занимающий историков греческой литературы (см.: *H. Hommel.* Rhetorik // LAW, 2162: «vortechnische» Rhetorik).

[42] *F. Zucker.* Semantica, Rhetorica, Ethica. Berlin 1963, 3 ff., где автор опирается на свою же более раннюю работу (Philologus 82 (1927) 241 ff.) с экскурсом о (скорее софистическом) εὑρησιλογεῖν.

ля, который сперва противопоставляет διάνοια τοῦ λεγομένου и λέξις (*Rhet.* 1410 b, 27sqq.), а затем λέξις и τάξις (1414 a, 29 sqq.).

Деление это напоминает то, которое, как мы старались подтвердить, естественнее всего предполагать у Феогнида в разобранном выше стихе. В самом деле, μῶσθαι близко к тому, что на языке позднейшей риторики (то есть активной поэтики) обозначалось как εὕρεσις, что легко усмотреть как из контекста, так и благодаря сходству с употреблением εὑρίσκειν у старинных поэтов. Если δεικνύεν литературного произведения в эпоху создания Феогнидова корпуса чаще всего подразумевало рецитацию в кругу друзей, а затем в дружеских кружках, то в риторико-эстетической терминологии более позднего времени к этому виду публикации ближе всего стояла ораторская ὑπόκρισις (понятно, что μνημη не так актуальна для элегика, представляющего публике короткие сочинения).

В отношении Феогнидова ποιεῖν напрашивается, таким образом, сравнение с той частью дела, которую в риторике стали связывать с выражением λέξις, или φράσις, – т. е. с завершающей ступенью работы над произведением после того, как оно обрело свое начальное выражение. Работа над λέξις включает в себя между прочим заботу о ясности слога (σαφήνεια) и вообще вопросы стиля, будь то в новейшем (более емком), будь то в старинном (профессиональном) смысле слова (ср. lima, litura).[43] Труднее сказать, как мыслилась в трихотомии *Theogn.* 771 работа над композицией художественного произведения – то, что позже называли τάξις. У Аристотеля (*Rhet.* III, 1, 1403 b, 7 sqq.) композиция текста, обозначенная как πῶς χρὴ τάξαι τα μέρη τῶν λογων, разбирается смежно с λέξις; Гораций (*Ars poet.* 38 sqq.) выделяет *materies*, т. е. εὕρεσις, с одной стороны, и *elocutio* («facundia») / *dispositio* («lucidus ordo») – с другой.[44] Решить вопрос, отнес ли бы автор катрена композицию к μῶσθαι или к ποιεῖν, положительно невозможно, но думается, что автор небольших по объему произведений соединял в своем представлении эту часть работы скорее с творческой мечтой (μῶσθαι). Таким образом, в *Theogn.* 771 можно наблюдать *in nuce* позднейшее – популярное на протяжении всей античности – членение литературного труда. Мы, разумеется, не хотим сказать, что позднейшая риториче-

[43] Попытка выяснить соотношение между ποιεῖν и ἐργαζεσθαι, ποίημα и ποίησις предпринята в работе: *A. Ardizzoni.* Ποιημα: Ricerche sulla teoria del linguaggio poetico nell'antiquita. Bari 1953. 14–15; 20–23; 58–59; 106 sgg.

[44] Ср. *Hor. Sat.* I, 4, 39 sqq.: *res – verba*; выше (v. 22 sqq.) сказано об ознакомлении публики с произведением через рецитацию.

ская теория ориентировалась на разбираемую нами триаду из Феогнидова сборника. Такое членение естественно, а уж если говорить о влияниях, то скорее автор ст. 769 слл. следовал представлениям, получившим хождение уже до него, но не прошедшим еще стадию концептуализации.

Триада и последняя строка

Итак, мы рассмотрели все члены триады и по отдельности, и в соотношении каждого с двумя другими. Мы видели, что триаду толковали то в смысле (a) различий в степени **новизны** творчества (традиция и новаторство); то как (b) роды (виды) поэзии в духе **жанровых** различий; либо, наконец, как (c) **стадии поэтического труда** – толкование много естественнее прочих, и наш разбор его подкрепляет. Посмотрим теперь, что дает каждый подход для стихотворения в целом.

На наш взгляд, первые два решения, если додумать их следствия при объяснении Феогнидова четверостишия, создают эффект даже и комический. В самом деле, при (a) получается примерно следующее: «Не скупись – бери сколько хочешь чужого, слегка обработав, а то и так, как нашел; всегда полезно лишний раз напомнить то, что хорошо сказано. Чуточку своего – и ты отлично исполнишь долг служителя муз». Если применим к целому жанровую идею Ван Гронингена (b), то выходит приблизительно так: «Поэту не следует молчать, потому что можно много разного сочинять. Это же поучительно для публики! Ну, как же не писать после этого?» Впрочем, и третий подход (c) можно увидеть в невыигрышном свете: «Не скупись на мудрость, поэт, – ведь литературная работа многолика и трудна. Иначе что тебе проку в Музах?» Такой оборот мысли можно, однако, исключить. Чтобы сделать это надежнее, придется начать с экскурса, убирающего с дороги трудности, которые не становятся безопаснее от того, что их мало сознавали.

В самом деле, в отличие от троицы глаголов в третьей строке истолкование синтаксиса и смысла концовки представлялось чем-то побочным. Между тем ощущение герменевтического неблагополучия, связанного с четвертой строкой (в особенности вопрос о местоимении σφιν, зависящем от χρήσηται) способно, нам кажется, мешать как при истолковании третьей строки, так и миниатюрного произведения в целом. Обычно это понимается так: «Как же он воспользуется (χρήσηται) названными в предыдущей строке вещами (σφιν), если будет один все это знать?» Не совсем понятен при этом признается

конъюнктив (Г. Германн предлагал поправку χρησεῖται); тревожно и то обстоятельство, что σφιν, как признает Ван Гронинген, во всех местах Феогнидова сборника, где оно встречается, относится к лицам, а не к предметам, что и вообще характерно для этого местоимения.

По-видимому, первая из названных трудностей побудила Й. Кролля предположить в четвертой строке не прямой, а косвенный вопрос:[45] μοῦνος ἐπιστάμενος (scil. ἐστί), τί σφιν χρήσηται, то есть «(ведь) он один знает, как распорядиться всем тем, что перечислено в третьей строке». В этом случае четверостишие завершалось бы провозглашением независимости поэта, который «сам себе судья». Толкование это остроумно своей неожиданностью и, взятое само по себе, мыслимо (ср. по синтаксису и каденции *Solo* fr. 1, 52 D.: ἱμερτῆς σοφίης μέτρον ἐπιστάμενος; *Archil.* fr. 1 Snell); тем не менее оно справедливо отвергнуто последующими исследователями. В самом деле, с формальной стороны здесь пришлось бы либо постулировать в конце четверостишия *acc. sing.* ἐπιστάμενον, либо признать эллипс ἐστί в сочетании с причастием, что не подтверждается прямыми параллелями и вообще маловероятно, если учесть употребительность соответствующей *неэллиптической* конструкции в Феогнидовом сборнике.

Возвращаясь к обычному синтаксическому восприятию последней строки, следует обратить внимание на еще одно обстоятельство, подспудно смущавшее толкователей. Если взять σφίν в обычном для него применении к лицам (*Theogn.* 66; 422; 732), получается не в меру утилитарное: «Как же ты тогда *воспользуешься* Музами?» Создается, таким образом, впечатление, что служение Музам хорошо не потому, что ὅττι καλὸν φίλον ἐστί (*Theogn.* 17), а только если оно приносит какую-нибудь выгоду.[46] Между тем χράομαι с дат. падежом (лица) имеет в сборнике единственную, но зато весьма поучительную параллель (ст. 161), где идея *пользования* мыслится, как часто бывает у этого глагола, в объективном, или нейтральном, а не в субъективном, или утилитарном, смысле, то есть приближаясь к значению «располагать (чем); находиться в близости (от кого)».[47] Под σφιν надлежит, таким образом, понимать Муз, а под χρήσεσθαι Μούσαις *общение* с ними.

[45] *J. Kroll.* Loc. cit. [см. прим. 8].

[46] Это прямо высказал Ван Гронинген в своем комментарии ad loc.: «„employer" avec la nuance de „profit" pour soi-meme ou pour autrui».

[47] Ex. gr. *Pind. Nem.* 4, 58: δάμαρτος… δολίαις τεχναισι χρησάμενος («*ввиду* козней жены»). Сходным образом *Hdt.* I, 42; 117; IV, 50; *Soph. OT* 1242: ὀργῇ χρωμένη; *Eur. Med.* 347. Поучительно сравнить следующие два примера, отлично выявляющие специфику занимающего нас оборота: *Xen. Mem.* IV, 3, 12: φιλικώτερον χρῆσθαί τινι; *Andoc.* 4, 2: πλείστοις και δεινοτάτοις ἐχθροῖς χρῆσθαι.

Что касается χρήσηται, то конъюнктив имеет здесь делиберативное значение.[48] В целом получаем: «Ну что ему в том, что он вечно при них (scil. Музах), когда он один (все это) знает?»[49] Это дает перекличку последней строки с началом стихотворения. Традиционный образ служителя-вестника (θεράπων καὶ ἄγγελος представляют собой, разумеется, гендиадис) не нарушен. Беспокоивший оттенок утилитарного отношения к Музам формально представлен (τί), но по существу исчезает.

Триада и катрен

Но вернемся к истолкованию триады, за которой, по наиболее приемлемой версии, стоит разнообразие задач поэта. Впечатление это поддерживается между прочим и самым перечислением трех действий на пространстве одной строки – сама теснота расположения передает некую напряженность. Между тем представление о том, что задач у поэта много, и все они трудные, не очень хорошо, как мы вынуждены были признать выше, увязывается с началом и концовкой стихотворения, по которым можно ожидать, что, призывая к исполнению долга (χρή), ни к чему создавать ощущение, что долг этот неисполним. Это показывает, что то толкование третьей строки, которое мы признали наиболее естественным, сопряжено с какими-то еще не вполне, быть может, осознанными трудностями.

Такое восприятие глаголов из ст. 771 достаточно распространено (особенно в переводах). Озадачивает следующее: получается, что все три стоящие за тремя глаголами действия располагаются, как будто, по одной линии, подразумевающей простую и прямую последовательность. Это отчетливо видно, например, в стихотворном переводе

---

[48] Согласно Кюнеру – Герту (*R. Kühner, B. Gerth.* Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 2 Teil: Satzlehre. Bd I. Leverkusen [4]1955, 222 f., § 394), *conjunctivus deliberativus* преимущественно встречается в 1-м лице, что естественно; применительно к другим лицам признано более уместным говорить о футуральном конъюнктиве. Этой темы коснулся и С. Радт (Studia G. Holwerda oblata. Groningen 1985, 117); сравнив *Theogn.* 772 и *Hom. Il.* I, 150, он характеризует конъюнктив χρήσηται в занимающем нас стихе Феогнида как «проспективный».

[49] Если признавать существование так наз. Ringkomposition в архаической греческой поэзии (ср. для примера *Theogn.* 873 слл.: 393 слл.), то в структуре четверостишия наблюдается нечто похожее на «кольцевую композицию».

Г. Френкеля: «dieses und jenes muß man erdenken, mitteilen, gestalten»;[50] ср. у Ф. Феррари: «cercare, esibire, foggiare».[51]

Это тем более вызывает тревогу, что в отвергнутых нами по лексическим и общесмысловым соображениям версиях (a) и (b) налицо и координация, и субординация, когда первые два звена триады образуют некое единство, соотнесенное с третьим ее звеном. В версии (a) это две формы использования традиции против оригинальности; два вида дидактики противопоставлены эпическому натурализму в версии (b). Признаем, что рисунок этот не был привнесен исследователями – напротив, он как будто бы оказывается утерян в версии (c).[52]

В самом деле, отношение τὰ μὲν… τὰ δέ, ἄλλα δὲ создает определенную иерархию внутри всей группы. Пара τὰ μὲν… τὰ δέ в сборнике Феогнида встречается дважды (561 и 878), и в обоих случаях имеется отчетливое противопоставление, под конец находящее, впрочем, своего рода примирение.[53] Особенно поучительны в этом смысле стт. 873 слл. (о вине): τὰ μὲν αἰνῶ… τὰ δὲ μέμφομαι, οὐδὲ δύναμαι… οὔτε ἐχθαίρειν… οὔτε φιλεῖν – двойное противопоставление в хиастическом порядке, опять же в духе «кольцевой композиции». Многочисленнее примеры употребления ὁ μὲν… ὁ δέ в несходных падежах (1061–1062, 683–684, 197, 317–318, 393 слл. и др.), что свидетельствует о сохраняющей непосредственность, то есть мастерской, версификации. За неимением полной параллели к оформлению интересующей нас трихотомии в ст. 771 приведем ст. 841 (τὰ μεν ἄλλα… ἕν δε) и 205–207 (ὁ μέν… ἄλλον δε), которые показывают, что ἄλλα δὲ в интересующем нас стихе соединяется с предшествующей группой вполне в духе словоупотребления Феогнидова сборника.

Это обстоятельство, как и то, что рукописное ποιεῖν хорошо смотрится в триаде, показывает, между прочим, что М. Уэст, предлагая читать ποιῶν,[54] стал на ложный путь: деятельность поэта ограничивается у него противопоставлением μῶσθαι и δεικνύεν, а затем после сильной паузы следует заключение: «а *поступая иначе*, какую пользу и т. д.». Кроме названных уже соображений в духе текстологического консерватизма заметим и то, что для предполагаемого Уэстом смысла вместо ἄλλα следовало бы ожидать ἕτερα (ср. ст. 96), а вместо ποιῶν скорее что-нибудь наподобие τοῦδε ἀποτυχών или ἁμαρτών, οὐκ ἐφικνούμενος и т. п.

---

[50] *H. Frankel.* Loc. cit. [см. прим. 13].

[51] *Teognide.* Elegie… [см. прим. 21], loc. cit. Феррари схожим с Френкелем образом понимает значение каждого из членов триады; применительно к целому у обоих остаются некоторые различия.

[52] На это справедливо указывала Ланата (Op. cit. [см. прим. 34], 65–67), хотя исследовательнице не удалось, нам кажется, соотнести отмеченную ею особенность строения фразы с смыслом последней в целом.

[53] *R. Kühner, B. Gerth.* Ausführliche Grammatik… Bd 2, 264 f. (особенно Anm. 2, sub fin.): *einerseits… andererseits; sowohl… als auch.*

[54] Iambi et Elegi graeci ante Alexandrum cantati / Ed. *M. L. West.* Vol. I. Oxonii 1971, 210. Это решение представлено и в исследовании: *M. L. West.* Studies in Greek Elegy and Iambus. Berlin; New York 1974, ad vv. 769–772.

Завершая обзор того, как проведена трихотомия в занимающем нас стихе, добавим, что τὰ μέν… τα δέ, которые можно было бы понять в адвербиальном смысле, следует толковать в обоих случаях как дополнение внутреннего объекта, к чему склоняют наблюдения за узусом Феогнидова сборника, а главное, характер дополнения ἄλλα при ποιεῖν.

Таким образом, триада введена так, что в ней должно обнаружиться некое – оно не должно быть непримиримым – противопоставление между (двучленным) первым и (простым) вторым звеном, чем напрасно пренебрегло наиболее располагающее в прочих отношениях толкование триады в смысле этапов в труде поэта. Отсюда видно, что и ему необходима корректива, и это идет навстречу высказанному выше соображению: разнообразие действий, вменяемых поэту в обязанность, не должно быть пугающим; в стихотворении должно выявиться и нечто *поощряющее* поэта к их исполнению.

Если вглядимся в высказывание в поисках охарактеризованной выше смысловой структуры, увидим, что первое и второе действия третьей строки ненапрасно даны в противопоставлении: μῶσθαι подразумевает творческие замыслы, и естественно, что начало поэтического труда поставлено во главу строки; δεικνύεν, со своей стороны, подразумевает завершенность труда. Два первых звена – начало и конец – тесно объединены в первом противопоставлении (τὰ μέν… τὰ δέ). В третьем звене, формально противопоставленном как началу, так и окончанию труда, объединенным в одно целое, говорится о наиболее ощутимом этапе литературной работы – об *отделке* словесной ткани перед тем, как представить произведение публике.

Со- и противопоставление, выраженные в оригинальном тексте ст. 771, как видим, применимы к триаде, рассказывающей о стадиях работы поэта. Известная непоследовательность при перечислении этих стадий, когда обнародование своих произведений оказывается посередине, а срединный, центральный элемент перечисления – в конце, могла бы пробуждать сомнение в правильности развиваемого нами толкования. Однако античные писатели нередко уклоняются от рассудочной последовательности в перечислениях.[55] Расположение по схеме АСВ трех элементов, обыкновенно располагаемых в последовательности АВС, встречается уже у Гомера. Ряд «заря, полдень, сумерки» вводится у него так (*Il.* XXI, 111): ἔσσεται ἢ ἠώς, ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ. Сходным образом построено гомеровское описание Химеры (*Il.* VI, 181):

[55] *R. D. Keil.* Anfang, Ende und Mitte: Gedanken bei einer Übersetzung // Antike und Abendland 6 (1957), 145–147 (феномен зафиксирован, обрисовка и анализ эскизны).

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα.[56] Похожее пренебрежение смежностью в перечнях из трех представлений находим, например, в стихе Ксенофана (fr. 20 D): οὖλος ὁρᾷ, οὖλος δὲ νοεῖ, οὖλος δέ τ' ἀκούει.[57]

Минуя поздние[58] или непрямые параллели,[59] назовем параллель разительную и значимую для того, кто имеет дело с corpus Theognideum (стт. 3–4): ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν / ἀείσω· σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. Такой параллели – даже и для тех, кто считает, что каждое стихотворение в сборнике написано кем угодно, только не Феогнидом, – по силе нет и не может быть аналога в рассуждениях; она говорит сама за себя, объясняя, как δεικνύεν, означающее конечную обязанность поэта, оказалось в середине перечисления. Как и ряд других отмеченных нами черточек, эта параллель с началом Феогнидова сборника свидетельствует и о том, что в качестве автора разбираемого четверостишия так похож на Феогнида скорее всего был только Феогнид.

Отметим здесь же и любопытное, нам кажется, сходство разбираемого стихотворения – как по набору понятий, так и по синтаксису – с стт. 700 слл.: οὐδὲν ἄρ' ἦν ὄφελος, οὐδ' εἰ... πλείονα δ' εἰδείης Σισύφου..., οὐδ' εἰ ψεύδεα μὲν ποιοῖς ἐτύμοισι ὁμοῖα..., ἀλλὰ χρή... Разве в этих стихах не чувствуется та же рука, что и в катрене о долге поэта?

Разбираемое стихотворение как до известной степени программное и стоящее примерно в середине всего сборника, вторую часть которого иногда предполагают, начиная с ст. 757 слл. (новая серия инвокаций к божествам-покровителям), могло бы действительно стоять близко к началу второй книги. Не будучи инвокацией, упоминание Муз в катрене, являющемся как бы стихом 13 нового цикла, безусловно есть знак внимания к покровительницам поэта, как и в стт. 15 слл. первого цик-

---

[56] Стих этот был популярен, судя по тому, как его обыгрывал стоик Аристон, говоривший об Аркесилае, который в стенах основанной Платоном Академии проявлял сильный крен и к скепсису, и к мегарской диалектике (*D. L.* IV, 33): πρόσθε Πλάτων, ὄπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος.

[57] Cf. *D. L.* IX, 19: ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν... σύμπαντά τε εἶναι νοῦν.

[58] *Septuag. Sap. Salom.* 7: 17–21: ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων.

[59] Материал, прямо или косвенно подтверждающий готовность и едва ли не склонность прибегать в качестве стилистического приема к ordo enumerationis ACB, имеется в изобилии. Мы не решаемся отвлекать на это драгоценное внимание читателей. Выигрыш затронутого приема не только в уходе от наезженной колеи, но и в том, что каждый элемент получает максимум выразительности – и конец, и начало, и середина.

ла в начале всего сборника. Нынешняя 2-я книга (1231 – 1388) занимает непропорционально мало места, и это тем более обращает на себя внимание, что содержание этой части сборника наводит на мысль об издании in usum delphini: не выделены ли стихи 2-й книги, как мы ее знаем, нарочно (то ли из осуждения, то ли ради смакования их центрального мотива) из двух примерно равных по объему книг более раннего издания, стоявшего много ближе к времени и духу поэта?

Внешний довод: «Гиппарх»

Подтверждением вероятности именно разработанного в предыдущих разделах понимания тройственного поэтического зерцала от Феогнида может стать платоновский или, как часто считают, восходящий к кругу то ли сократиков, то ли ранней Академии диалог «Гиппарх».[60] В рассказе об оснащенных гномическими высказываниями гермах афинского тирана Гиппарха Форд заметил аналогию с разбираемым нами четверостишием: для Феогнида, как и для Гиппарха, по мнению американского исследователя, характерна «политически ориентированная форма поэтической публикации».[61] Приведем особенно интересные для нас строки о стихотворном просветительстве Гиппарха (*Ps.-Plat. Hipparch.* 228 c–d):

> Ταῦτα δ᾽ ἐποίει βουλόμενος παιδεύειν τοὺς πολίτας, ... οὐκ οἰόμενος δεῖν οὐδενὶ σοφίας φθονεῖν ... ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ οἱ περὶ τὸ ἄστυ τῶν πολιτῶν πεπαιδευμένοι ἦσαν καὶ ἐθαύμαζον αὐτὸν ἐπὶ σοφίᾳ, ἐπιβουλεύων αὖ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι ἔστησεν αὐτοῖς ῾Ερμᾶς κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν δήμων ἑκάστων, κἄπειτα τῆς σοφίας τῆς αὑτοῦ, ἥν τ᾽ ἔμαθεν καὶ ἣν αὐτὸς ἐξηῦρεν, ἐκλεξάμενος ἃ ἡγεῖτο σοφώτατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον αὑτοῦ ποιήματα καὶ ἐπιδείγματα τῆς σοφίας ἐπέγραψεν...[62]

[60] *H. Leisegang.* Platon // *RE* XX, 2 (1950), 2367 (вопрос о неподлинности «Гиппарха» в статье с уверенностью не решается). П. Фридлендер, приводя интересные (как идейные, так и формальные) аргументы, считал, что «Гиппарх», вместе с «Ионом», – одно из самых ранних сочинений Платона (*P. Friedländer.* Platon. Bd II: Die Platonischen Schriften. Erste Periode. Berlin ³1964, 220 ff.; Bd III. Berlin ³1975, 185; 419 ff.).

[61] *A. L. Ford.* Op. cit. (см. прим. 32), pp. 89–91 в особенности.

[62] В переводе С. Я. Шейнман-Топштейн (*Платон.* Диалоги. М. 1986, 347): «Делал он все это, желая образовать своих сограждан, …не считая, будто он должен завидовать чьей-либо мудрости. … Когда же сограждане столицы и ее окрестностей стали у него достаточно образованными и все восхищались его умом, он, задумав дать образование жителям сел, расставил по дорогам, на полпути между городом и каждым демом, гермы и, выбрав из своей собственной мудрости и из той, которой он был обучен, самое, по его мнению, мудрое, переложил это в элегии и начертал стихотворные произведения на колоннах…» (под «колоннами» переводчица имела в виду колонки герм).

В привлечении этого места к рассмотрению Феогнидова катрена нельзя не признать заслуги Форда; впрочем, соотношение обоих текстов дает, нам кажется, не столько (любопытную и нуждающуюся в дальнейшей разработке) аналогию между идеологической нагрузкой стихов приблизительно современных друг другу Гиппарха и Феогнида,[63] сколько указывает на прямую и почти бесспорную зависимость приведенного пассажа от *Theogn.* 769–772.

В самом деле, необходимость обнародования своей лучшей мудрости (у Феогнида περισσόν τι σοφίας, у автора «Гиппарха» – τῆς σοφίας τῆς αὑτοῦ... σοφωτατα) и причина этой необходимости – нельзя скупо таить перед другими достижения мудрости (μη φθονερὸν τελέθειν у Феогнида, οὐ... δειν οὐδενὶ σοφίας φθονεῖν в «Гиппархе»)[64] – выражены почти в тех же словах. Несмотря на более обстоятельное, чем в стихах Феогнидова сборника, изложение в «Гиппархе», в последнем примечательным образом выделяются те же, что и в Феогнидовой триаде, действия тиранического версификатора. Ничто не мешает нам сопоставить обе триады, на этот раз не в поэтическом, а бытовом порядке: (1) ἐξηῦρεν из рассказа о Гиппархе прямо соответствует тому, что у Феогнида было выражено через μῶσθαι; (2) слова ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον[65] характеризуют то, что мы связываем с ποιεῖν у Феогнида, тем более что результаты версификации в «Гиппархе» тут же названы ποιηματα; (3) ἐπιδειγματα τῆς σοφίας – в случае Гиппарха это монументально-эпиграфическая публикация; демонстрация мудрости выражена при этом через тот же корень, что и во втором члене Феогнидовой триады.

Естественно предположить, что Платон или кто-то из сократического круга, подобно Платону ценивший поэзию Феогнидова сборника[66] и привыкший использовать

---

[63] Этот аспект занимал Форда главным образом в связи с его анализом Феогнидовой σφρηγις в указанной выше работе; нас занимают прежде всего следствия этого сопоставления для толкования стт. 769–792.

[64] Отсюда видно, что в процитированном выше русском переводе толкование «будто он должен *завидовать* (курсив наш. – *А. Г.*) чьей-либо мудрости», навеянное, по всей видимости, последующим рассказом о соперничестве Гиппарха с дельфийской мудростью, неадекватно – речь, как и у Феогнида, идет о *нежелании делиться своими сокровищами* (ср. выражение «отдавать все людям»).

[65] Совершенно то же выражение, что и приведенное выше (с. 36) из «Федона» 60 d – 61 b. К сожалению, как аргумент для установления (Платонова) авторства «Гиппарха» это сходство не пригодно, поскольку его можно объяснять изощренностью подражателя или, наоборот, беспомощной зависимостью эпигона.

[66] Ср. выше с. 30, где приведены известные места, в которых Платон прямо ссылается на Феогнида, и выявлена связь *Cratyl.* 406 а с разбираемым стихотворением. Обратим внимание на то, что цитируя Феогнида в «Меноне» 95 d–e, Платон сообщает нам небезразличные вещи и о современном ему Феогнидовом сборнике. В самом деле слова ὀλίγον μεταβας, характеризующие у Платона расстояние между стт. 33–36 и 435–438 нашего сборника, не противоречат тому, что он держал в руках свиток с текстом, который (по крайней мере в первой своей половине) очень похож на дошедший до нас. Во-первых, расстояние в 400 строк и само по себе могло казаться хорошо знавшему сборник Платону небольшим; а во-вторых – и это главное – очевидна причина, по которой Платону естественно было *приуменьшить* дистанцию между приведенными им отрывками: это подкрепляло его утверждение, что нефилософски мыслящие *решительно* непоследовательны в любом разбираемом ими вопросе, в частности о том, можно ли обучать доблести.

ее для более эффективного воздействия философского анализа на читателя, рассуждая о государственном отношении Гиппарха к поэзии, ориентировался (вольно или невольно) на занимающее нас четверостишие о поэте, а потому косвенно засвидетельствовал и свое понимание феогнидовской триады. И если в основных чертах толкование Феогнидова поэтического кодекса в «Гиппархе» согласно с тем, какое предложено выше, то это, нам думается, еще один аргумент в пользу приведенных нами соображений. Ведь «Гиппарх» – в любом случае текст по времени и общности культуры достаточно еще близкий к автору разбираемого элегического четверостишия.

Sitz im Leben: соперничество на симпозии

Посмотрим еще раз на толкуемое стихотворение в целом, остерегаясь того, как бы громоздкость анализа не навела на него тот гелертерский тон, который никоим образом не мог быть присущ ни автору четверостишия, ни его публике. Это тем более важно, что предшествующие толкования погрешали в этом отношении: получалось так, будто поэт нарочно выступает со своими стихами, чтобы разъяснить аудитории, какие архаические жанры греческой поэзии ему известны, или как сложно в его сборнике отношение к национальной поэтической традиции, или – тут мы затрагиваем то толкование, которое сами отстаиваем, – каковы взгляды автора на основные этапы литературной работы. К тому же, как мы уже отмечали применительно к общему смыслу разбираемой эпиграммы, не совсем понятно, откуда вообще берется та «(недобрая) скупость» служителя Муз, отношение к которой выражено в словах поэта μὴ φθονερὸν τελέθειν и μοῦνος ἐπιστάμενος в конце обоих двустиший. Ведь мало кто станет без причины прятать свое дарование, а уж к сообщительным «вестникам Муз»[67] это относится по определению. И хотя ясно, что «скупость» поэта не надо понимать буквально,[68] однако и понятая как уклончивость характеристика эта озадачивает.

---

[67] Иногда приходит на ум мысль, что стихотворение содержит парадокс. Обычно от «служителя» требуется молчание относительно того, что происходит у хозяев, а в случае с поэтом на службе Муз дело, оказывается, обстоит наоборот – чем он развязнее, тем лучше. Не беремся судить, хотел ли поэт выстроить этот парадокс или последний наметился невольно; низкое состояние того, кого обычно называют ὀτρηροὶ θεράποντες (ср. *Hom. Il.* I, 321; *Hes. Theog.* 99 sq.; *Arsph. Av.* 908 sq.), хорошо мотивирует непреложность требования, выраженного начальным χρή. То же требование в более любезном тоне: *Verg. Aen.* IX, 774 sqq.

[68] Впоследствии μὴ φθονήσῃς в разговорном обороте вежливой речи приобрело значение, близкое к «не будете ли Вы так *любезны*», напр. у Лукиана (*Vit. auct.* 561): μὴ φθονήσῃς κἂν τοῦτο εἰπεῖν, τί...

Здесь пора нам вспомнить обстоятельство, давно отмечавшееся и старательно разработанное исследователями, – значительную роль симпосия в истории греческой элегии вообще[69] и в творчестве Феогнида в частности.[70] Что творчество мегарского поэта содержит множество стихов, так или иначе затрагивающих симпосии, очевидно: это прямо относится к стт. 27–38, 309 слл., 413–414, 467–497 и т. д., а косвенно, как кажется, к стт. 249–250, 295 слл. и проч. Более того, наш сборник не оставляет сомнений, что поэт участвует в дружеских собеседованиях за вином и как симпосиаст (261), и как поэт, состязающийся с другими поэтами. Как истинному служителю Муз (о величии поэзии – 237 слл.) ему трудно устоять перед соблазном поделиться своим искусством с его ценителями (531–534): Αἰεί μοι φίλον ἦτορ ἰαίνεται, ὁππότ' ἀκούσω / αὐλῶν φθεγγομένων ἱμερόεσσαν ὄπα. / χαίρω δ' εὖ πίνων καὶ ὑπ' αὐλητῆρος ἀκούων, / χαίρω δ' εὔφθογγον χερσὶ λύρην ὀχέων.[71] И если феогнидовская σφρηγίς (19–26) выражает пренебрежение поэта к людскому, часто несправедливому (369–370), суду,[72] то все-таки он горюет, когда соотечественники не признают его (783 слл.). Ведь случаются и такие люди, кто, сам борясь за признание, способен признавать мастерство (σοφίη) соперника (941–942) и не скрывает превосходства над теми, кто вообще не знает толка в поэзии (ἄσοφοι).

---

[69] *E. L. Bowie.* Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival // JHS 106 (1986), 34: «…in its shorter form it (scil. греческая элегия. – *А. Г.*) was so closely associated with the symposium that no clear evidence remains to attest any other context of performance»: *B. Gentili.* Poetry and Its Public in Ancient Greece: From Homer to the Fifth Century / Transl. with an Introd. by A. Th. Cole. Baltimore; London 1988 (в особенности pp. 89 – 99).

[70] Классическая работа о Феогнидовом сборнике как Kommersbuch: *F. Wenndorff.* Ex usu convivali Theognideam syllogen fluxisse demonstratur. Berlin 1902. Применительно (в частности) к Феогнидову корпусу см.: *W. Rosler.* Wine and Truth in the Greek Symposion // In vino veritas / Ed. by O. Murray and M. Tecuşan. London etc. 1995, 106–111. Феррари (Op. cit. [см. прим. 21], 201) прямо называет наш текст «un testo simposiale arcaico», что вполне справедливо, хотя он вряд ли прав, когда для объяснения порядка перечисления внутри триады прибегает к преувеличенным, на наш взгляд, противопоставлениям письменной и устной культуры и периодизации на этом основании. Last not least: публикуемая в нынешнем номере альманаха статья из архива А. И. Доватура «Солон и Феогнид: поэт агоры и поэт симпосиев».

[71] Здесь и ниже цитируется наш прозаический перевод, помещенный в изд.: *А. И. Доватур.* Феогнид и его время. Л. 1989, 147 слл.: «Всегда теплеет у меня нутро, чуть заслышу / зазвучавших флейт любимый голос, / радуюсь благу – пить и флейтиста слышать, / радуюсь, благозвучную лиру в руках приладив».

[72] *Theogn.* 369 sq.: «Да вот осуждать многие, дурные и достойные, горазды, / а подражать лишь искушенный сумеет».

Эти поэтические высказывания из Феогнидова сборника отчетливо показывают, что для выступления на симпозиях нужна была не только преданность Музам и мечтам. Поэту необходимы были и слух, и голос, и особая отчаянность, полезная для успешного выступления. Нужен определенный характер для того, чтобы испытывать артистическое настроение всякий раз, когда публика, а не Аполлон, требует от поэта священной жертвы; надобно пренебречь присутствием недоброжелателей, возможным успехом соперников в борьбе за непостоянный фавор публики и т. п. Пиндар прямо говорит об «отваге» (τόλμα), нужной поэту перед лицом публики (*Ol.* 9, 80 sqq.), еще выразительнее, пожалуй, следующее высказывание (*Nem.* 8, 20 sqq.): νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ / ἐς ἔλεγχον, ἅπας κίνδυνος. Феогнид, как и другие его знакомые-поэты, не раз изведал, как нелегко бывает собраться с духом перед исполнением своих творений. Иногда поэт уверен в успехе и бросает сопернику дерзкий вызов (993–996): Εἰ θείης, 'Ακάδημε, ἐφήμερον ὕμνον ἀείδειν / ἆθλον δ' ἐν μέσσῳ παῖς καλὸν ἄνθος ἔχων / σοί τ' εἴη καὶ ἐμοὶ σοφίης πέρι δηρισάντοιν, / γνοίης χ' ὅσσον ὄνων κρέσσονες ἡμίονοι.[73] А иной раз певцу-элегику доводилось узнать горечь поражения – тем отраднее видеть, что он умеет признать это (939–942): Οὐ δύναμαι φωνῇ λιγ' ἀειδέμεν ὥσπερ ἀηδών· / καὶ γὰρ τὴν προτέρην νύκτ' ἐπὶ κῶμον ἔβην. / Οὐδὲ τὸν αὐλητὴν προφασίζομαι· ἀλλά μ' ἑταῖρος / ἐκλείπει, σοφίης οὐκ ἐπιδευόμενος.[74] Лучше поэтому заручиться перед выступлением помощью Аполлона (759 слл.): αὐτὰρ 'Απόλλων / ὀρθῶσαι γλῶσσαν καὶ νόον ἡμέτερον[75] (ср. 237 слл., 91–92, 973 слл., 983–984, но главное – 1 слл., зачин первой книги). Нельзя забывать и Муз – мы уже отмечали примечательную перекличку со стт. 15 слл. нашего стихотворения, которое можно понять как поклон в их же сторону *на 13-м стихе* после угадываемого в Феогнидовом сборнике второго зачина.[76] В обобщенной форме мольба о неземной помощи перед выступлением слышна в стт. 943–944: ἐγγύθεν αὐλητῆρος ἀείσομαι ὧδε καταστάς / δεξιὸς ἀθανάτοις θεοῖσιν ἐπευχόμενος.[77]

---

[73] «Положи, Академ, песню завести на день целый / а наградой – мальчик прекрасно цветущий / тебе или мне, кто победит в бою за мудрость, / и узнаешь, насколько лучше ослов мулы».

[74] «Не могу голосом звонким петь, словно соловей, – / я ж и прошлую ночь разгуливал шумно, / на флейтиста кивать не стану – просто меня приятель / превосходит, наукой не обделенный».

[75] «… И пусть Аполлон / направит язык наш, как и разум».

[76] Ср. выше с. 45 сл.

[77] «Песнь заведу, поближе к флейтисту ставши / справа, да богам помолюсь бессмертным».

Как видим, для уклончивого («не в голосе, не в настроении») во времена Феогнида было и словечко – προφασίζεσθαι (ст. 941). Виниться в промедлении приходилось и Пиндару,[78] хотя «экспромтность» произведений последнего очевидным образом не так велика, как у элегика; так, оды *Ol.* 10, обещанной Пиндаром Агесидаму в *Ol.* 11, последнему пришлось два года ждать. Отговорки эти были древним хорошо известны. Отказ от выступления очень по-исократовски подан в «Жизнеописании Исократа» (*[Plut.] Vitae rhet.* 838 f): 'οἷς μὲν ἐγὼ δεινὸς οὐχ ὁ νῦν καιρός, οἷς δ' ὁ νῦν καιρὸς οὐκ ἐγὼ δεινός' (т. е. «Что у меня спорится, то сейчас не годится; а что сейчас годится, то у меня не спорится»).[79] Не о том же ли говорит и Ксенофан (fr. 1, 19–20 D.) в стихах, выше цитированных у нас лишь частично: ἀνδρῶν δ' αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαινη, / ὡς οι μνημοσύνη και τόνος ἀμφ' ἀρετῆς.[80] Так что уклончивость здесь не поможет (*Theogn.* 1055–1058): 'Αλλὰ λόγον μὲν τοῦτον ἐάσομεν, αὐτὰρ ἐμοὶ σὺ / αὔλει, καὶ Μουσῶν μνήσομεθ' ἀμφότεροι· / αὗται γὰρ τάδ' ἔδωκαν ἔχειν κεχαρισμένα δῶρα / σοὶ και ἐμοί, με<ταδοῦ>ν δ' ἀμφιπερικτίοσιν.[81]

Думается, что именно τὸ προφασίζεσθαι со стороны авторов, не способных в любой встрече за вином к литературному выступлению с новым произведением, стоит за той «скупостью» поэта, против которой направлено занимающее нас стихотворение. Очень может быть, что этот «служитель Муз» – сам автор, но нельзя исключать,

---

[78] Ср. *Pyth.* 8, 29 sqq.: εἰμὶ δ' ἄσχολος etc.

[79] Разумеется, это было известно и последующим поколениям: зарисовку, которая ярко изображает и своеобразно анализирует артистическое смятение перед выступлением (Lampenfieber), находим в «Беседах» Эпиктета (II, 15, 9–10). Ср. *Hor. Sat.* I, 3, 1–3; любопытна и ситуация у Марциала (II, 88): Nil recitas et vis, Mamerce, poeta videri… Марциал знает, что, прочтя первую строку, читатель подумает: без recitatio какое же признание? Это ложное ожидание подготавливает пуанту: «Будь чем угодно, Мамерк, только стихов не читай» (перевод Ф. А. Петровского).

[80] Об этом месте, особенно о спорном смысле μνημοσυνη, см. подробнее в работе: *W. Rosler.* Mnemosyne in the Symposion // Sympotika: A Symposium on the Symposion / Ed. by O. Murray. Oxford, 1990, 230–231. Cf. *Certamen Homeri et Hesiodi* 98: τῶν μὲν μηδὲν ἄειδε, σὺ δ' ἄλλης μνῆσαι ἀοιδῆς. На наш взгляд, в последней реплике речь идет о «памяти», во-первых, в характерном для древних емком смысле участия в «предании», а во-вторых, – вместе с τόνος – в плане общего присутствия духа и состязательного начала (ср. *Pind. Paean.* 6, 54 sqq.; 7 b, 15 sq.).

[81] «В сторону разговоры, давай бери / флейту – помыслим о Музах оба, / это же они нам дали возлюбленные дары, / тебе да мне, городам соседским <на утеху>». Ср. следующее прим. Похожую мысль высказывает Гете в «Фаусте» (Пролог в театре): «К чему такие затрудненья? / Что вдохновенья долго ждать? / Поэт – властитель вдохновенья: / Он должен им повелевать!» (пер. Н. А. Холодковского).

А. В. Гладкий

ПАДЕЖИ И БАБКИ

К вопросу о происхождении понятия падежа и каноническом порядке падежей

Среди всех традиционных грамматических категорий падеж обладает, по-видимому, наиболее сложной логической структурой. Споры о природе категории падежа начались уже в древности и не прекращаются до настоящего времени.

Чтобы понять, что такое падеж, полезно попытаться составить себе представление о том, как возникло это понятие и какого рода интуицией руководствовались древнегреческие ученые, впервые до него додумавшиеся. Согласно И. М. Тронскому, термин «падеж» (πτῶσις, буквально «падение») первоначально означал «отклонение от нормы» и применялся не только к имени, но и к глаголу. «Отождествляя имя с субъектом, – пишет И. М. Тронский, – Аристотель определяет те именные формы, которые не могут служить субъектом, как отклонения от нормали, „падения“ имени, „падежи“. Номинатив есть „имя“, прочие формы – „падения“: технических обозначений падежей еще нет. Глаголом является только настоящее время; остальные времена – падения глагола».[1] И только стоики «причислили номинатив к „падежам“ и ограничили употребление этого термина одними лишь именами».[2]

---

[1] *И. М. Троцкий [Тронский]*. Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг: СПб. [2]1996 (М., Л. [1]1936), 26.

[2] Там же, 30.

Такое представление о возникновении понятия падежа – основывающееся, видимо, на трактате Аристотеля «Об истолковании» (Περὶ ἑρμηνειας), в котором один раз говорится о «падежах имени» (πτώσεις ὀνόματος) и два раза о «падеже глагола» (πτῶσις ῥήματος), а также на комментарии к нему Аммония – представляется нам по меньшей мере не бесспорным, и мы попробуем обосновать другую точку зрения.

Для этого приведем сначала соответствующие места трактата «Об истолковании». Их всего три:

1. 16 a, 32 – b, 5: το δὲ Φίλωνος ἢ Φίλωνι και ὅσα τοιαῦτα οὐκ ονόματα ἀλλὰ πτώσεις ονόματος. λογος δέ ἐστιν αὐτοῦ τα μὲν ἄλλα κατα τα αὐτα, ὅτι δὲ μετα τοῦ εστιν ἢ ἠν ἢ ἔσται οὐκ αληθεύει ἢ ψεύδεται, το δ᾽ ὄνομα αεί, οἷον Φίλωνός ἐστιν ἢ οὐκ ἔστιν· οὐδὲν γαρ πω οὔτε ἀληθεύει οὔτε ψεύδεται.

«Филона» же или «Филону» и тому подобные выражения не суть имена, а падежи имени; понятие в этом случае остается тем же, только что падежи в соединении с глаголом «есть» или «было», или «будет» не содержат истины или лжи, имя же всегда содержит: например, выражение «Филона есть» или «Филона не есть» никогда не содержит ни истины, ни лжи.

2. 16 b, 16–18: ομοιως δὲ και το ὑγιανεν ἢ το ὑγιανεῖ οὐ ῥημα, αλλα πτῶσις ρηματος· διαφέρει δὲ τοῦ ρηματος, ὅτι το μὲν τον παροντα προσσημαινει χρονον, τα δὲ τον πέριξ.

Подобным же образом «он был здоров» и «он будет здоров» – не суть глаголы, а падежи глагола и отличаются от глаголов тем, что глагол обозначает собой нынешнее время, а падежи – время до и после нынешнего.

3. 17a, 9–10: ανάγκη δὲ πάντα λογον αποφαντικὸν ἐκ ρηματος εἶναι ἢ πτώσεως.

Необходимо, чтобы всякое суждение заключало в себе глагол или падеж глагола.[3]

[3] Переводы этих отрывков, а также приводимого ниже отрывка из «Поэтики» Аристотеля и комментария Аммония к Περὶ ερμηνείας взяты из хрестоматии «Античные теории...», лингвистическая часть которой составлена И. М. Тронским. В переводе трактата «Об истолковании», содержащемся во 2-м томе собрания сочинений Аристотеля (М. 1978. 96). выражение πτῶσις ρηματος передано словами «изменение глагола по времени». В переводе «Поэтики», в 4-м томе того же издания (М. 1984. 668), πτῶσις передано как «отклонение».

Оставляя пока в стороне вопрос о «падежах глагола», мы можем заметить, что первый из приведенных отрывков не содержит утверждения о том, что имя (т. е. именительный падеж) не входит в число падежей имени; говорится только, что косвенные падежи – не имена, а это далеко не то же самое. Различие между этими утверждениями не могло не быть ясным Аристотелю, улавливавшему тончайшие оттенки смысла суждений. Правда, с «падежами глагола» дело обстоит иначе: во втором отрывке прямо говорится о различии между глаголом и «падежом глагола», а в третьем на первый взгляд речь идет о ситуации, где того и другого одновременно быть не может. Но такое толкование третьего отрывка является единственно возможным лишь при условии, что глагол *заранее исключен* из объема понятия «падеж глагола»: можно ведь сказать «Дай мне карандаш или что-нибудь, чем можно писать». Кроме того, слово πτῶσις употреблено в первом отрывке во множественном числе, а во втором – в единственном, хотя в них идет речь о совершенно аналогичных ситуациях, и это наводит на мысль, что «падеж глагола» Аристотель понимает как-то иначе, чем «падеж имени».

Можно предположить, в чем тут дело: у Аристотеля – как отмечает и И. М. Тронский – не было еще четкого различия между глаголом и сказуемым, и поэтому «падеж глагола», в отличие от «падежа имени», не мог быть для него *морфологической* категорией. Таким образом, второй и третий отрывки также не дают оснований для категорического вывода, что Аристотель не причислял номинатив к падежам.

Однако термин πτῶσις встречается у Аристотеля также в «Поэтике». Приведем соответствующее место (1457 а, 18–21):

> πτωσις δ᾽ ἐστὶν ὀνόματος η ῥήματος ἡ μὲν κατα <τό> τούτου ἢ τούτῳ σημαῖνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, η δε κατα το ἑνὶ η πολλοις, οἷον ἄνθρωποι ἢ ανθρωπος, η δε κατα τα ὑποκριτικα, οἷον κατ᾽ ἐρώτησιν ἐπιταξιν· το γαρ <ἆρ᾽> ἐβαδισεν; ἢ βαδιζε πτῶσις ῥήματος κατα ταῦτα τα εἴδη ἐστιν.
>
> Падеж имени и глагола – это обозначение отношений по вопросам «кого», «кому» и т. п., или – обозначение единства или множества, например, «люди» или «человек», или отношений выразительности, например, вопрос, приказание: «пришел ли?», «иди». Это глагольные падежи, соответствующие этим отношениям.

Здесь, как мы видим, понятие падежа расширяется еще больше: термин πτῶσις применяется к таким грамматическим категориям, как число имени и наклонение глагола, причем они ставятся в один ряд

с категорией падежа имени. Характер этого отрывка – в частности, единственное число слова πτῶσις – позволяет с большой степенью уверенности предположить, что здесь это слово обозначает, выражаясь современным языком, не какое-либо конкретное значение словоизменительной грамматической категории, а саму категорию. Следовательно, и этот отрывок не дает подтверждения гипотезы об исключении Аристотелем номинатива из числа падежей. Более того, поскольку о единственном числе имени говорится здесь как об одном из значений категории числа, кажется маловероятным, чтобы одновременно с этим именительный падеж не считался одним из значений категории падежа.

Остается комментарий Аммония, прямо утверждавшего, что Аристотель не признавал имя падежом. Приведем соответствующее место (*In Aristotelis librum De interpretatione commentarius*, 42, 30 – 43, 20):[4]

> Περὶ τῆς κατ᾽ εὐθεῖαν γινομένης τῶν ὀνομάτων προφορᾶς εἴωθε παρὰ τοῖς παλαιοῖς ζητεῖσθαι πότερον πτῶσιν αὐτὴν προσήκει καλεῖν ἢ οὐδαμῶς, ἀλλὰ ταύτην μὲν ὄνομα ὡς κατ᾽ αὐτὴν ἑκάστου τῶν πραγμάτων ὀνομαζομένου, τὰς δὲ ἄλλας πτώσεις ὀνόματος ἀπὸ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς εὐθείας γινομένας. τῆς μὲν οὖν δευτέρας προΐσταται δόξης ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ ἕπονταί γε αὐτῷ πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, τῆς δὲ προτέρας οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ ὡς τούτοις ἀκολουθοῦντες οἱ τὴν γραμματικὴν μετιόντες τέχνην. λεγόντων δὲ πρὸς αὐτοὺς τῶν Περιπατητικῶν ὡς τὰς μὲν ἄλλας εἰκότως λέγομεν πτώσεις διὰ τὸ πεπτωκέναι ἀπὸ τῆς εὐθείας, τὴν δὲ εὐθεῖαν κατὰ τίνα λόγον πτῶσιν ὀνομάζειν δίκαιον ὡς ἀπὸ τίνος πεσοῦσαν; (δῆλον γὰρ ὅτι πᾶσαν πτῶσιν ἀπό τινος ἀνωτέρω τεταγμένου γίνεσθαι προσήκει), ἀποκρίνονται οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὡς ἀπὸ τοῦ νοήματος τοῦ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ αὕτη πέπτωκεν· ὃ γὰρ ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν τὸ Σωκράτους νόημα δηλῶσαι βουλόμενοι, τὸ Σωκράτης ὄνομα προφερόμεθα· καθάπερ οὖν τὸ ἄνωθεν ἀφεθὲν γραφεῖον καὶ ὀρθὸν παγὲν πεπτωκέναι τε λέγεται καὶ τὴν πτῶσιν ὀρθὴν ἐσχηκέναι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὴν εὐθεῖαν πεπτωκέναι μὲν ἀξιοῦμεν ἀπὸ τῆς ἐννοίας, ὀρθὴν δὲ εἶναι διὰ τὸ ἀρχέτυπον τῆς κατὰ τὴν ἐκφώνησιν προφορᾶς. ἀλλ᾽ εἰ διὰ τοῦτο, φασὶν οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, τὴν εὐθεῖαν πτῶσιν ἀξιοῦτε λέγειν, συμβήσεται καὶ τὰ ῥήματα πτώσεις ἔχειν καὶ τὰ ἐπιρρήματα τὰ μηδὲ κλίσεων ἀνέχεσθαι πεφυκότα· ταῦτα δὲ ἐναργῶς ἄτοπα καὶ ταῖς ὑμῶν αὐτῶν παραδόσεσι μαχόμενα. διὰ ταῦτα μὲν οὖν τὴν Περιπατητικὴν περὶ τούτων διάταξιν προτιμητέον.

О произнесении имен, происходящем согласно прямому [падежу], обычно ищут у древних ответа на вопрос, следует ли его называть падежом или

[4] В хрестоматии «Античные теории...» координаты этого места указаны неверно.

же никоим образом [не следует], но он есть как бы имя само по себе, каким называют каждую вещь, а другие падежи имени возникают от изменения прямого. Второго мнения придерживается Аристотель, и ему следуют все перипатетики, первого – стоики и как бы подражающие им грамматики. Перипатетики говорят им, что прочие мы справедливо называем падежами, так как они упали с прямого; но прямой на каком основании можно называть падежом? Откуда он упал? (Ясно ведь, что всякое падение должно происходить с чего-то, расположенного выше.) Стоики отвечают, что и он упал с мысли, [имеющейся] в душе: желая выразить имеющуюся у нас мысль о Сократе, мы произносим имя «Сократ». И как о пущенном сверху и вертикально вонзившемся в землю грифеле говорят, что он упал и имел прямое падение, таким же образом, считаем мы, прямой [падеж] упал с понятия и является прямым, как прообраз звукового выражения. Но если из-за этого, возражают перипатетики, вы считаете возможным говорить о прямом падеже, то придется иметь падежи и глаголам, и наречиям, которым вообще несвойственно изменение; а это явно нелепо и противоречит вашим же собственным учениям. Поэтому мнение перипатетиков об этом следует предпочесть.[5]

К утверждению Аммония относительно позиции Аристотеля позволительно, как нам представляется, отнестись с осторожностью уже потому, что два эти автора отделены друг от друга семью столетиями. Кроме того, позиция перипатетиков в вопросе о падеже имени изложена у Аммония не вполне ясно. Почему, отказываясь называть прямой падеж падежом, они не дают ему никакого другого названия? Может, быть Аммоний (или какой-то его источник) понял их не совсем верно? Нельзя, видимо, исключить и такое предположение: непосредственные ученики Аристотеля не интересовались или мало интересовались грамматикой, а позднейшие перипатетики, располагавшие лишь конспективными текстами, истолковали их неправильно. В то же время стоит обратить внимание на то, что, согласно Аммонию, не только стоики, но и перипатетики считали невозможным говорить о падежах глагола, находя это «нелепым» – в то время как Аристотель эти падежи признавал.

Между тем существует другая гипотеза о происхождении интересующего нас термина, предложенная Э. Зиттигом.[6] Согласно его предположению, термин πτῶσις, равно как и сочетания πτῶσις ὀρθή («пря-

[5] Перевод части этого отрывка, выполненный Я. М. Боровским, имеется в хрестоматии «Античные теории...» (с. 75–76 2-го изд.). Мы воспроизводим здесь этот перевод с небольшими изменениями и добавлением недостающих мест.

[6] *E. Sittig.* Das Alter der Anordnung unserer Kasus und der Ursprung ihrer Bezeichnung als «Fälle». Stuttgart 1931 (Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft, 13).

мой падеж») и πτῶσις πλαγία («косвенный падеж») заимствованы из терминологии игры в кости. До того как вошли в употребление шестигранные кости (κῦβοι), для этой игры пользовались бабками – ἀστράγαλοι. Для бабки возможны четыре разных «падения» («способа упасть»), причем одно из них более вероятно, чем каждое из остальных. Такое падение называлось πτῶσις ὀρθή («прямое падение»), остальные три – πτώσεις πλάγιαι («боковые падения»).

Поэтому игра в ἀστράγαλοι давала очень хороший образ для греческого склонения с его четырьмя падежами,[7] один из которых интуитивно ощущался как «главный».[8] Образ «вонзившегося в землю грифеля» Зиттиг считает позднейшей реконструкцией, и притом неудачной: во-первых, наклонных положений грифеля может быть сколько угодно, тогда как косвенных падежей всего три; во-вторых, слово πλάγιος, как доказывает автор на многочисленных примерах, перечень которых занимает 7 страниц (причем он замечает, что приводит лишь «самые показательные»), означало «в хорошем греческом языке» не «косой, наклонный», а «боковой, поперечный».

Еще одна гипотеза, выдвинутая Зиттигом, состоит в том, что не только представление о четырех падежах, но и их каноническое упорядочение, сохраняющееся до настоящего времени, существовало уже за несколько столетий до Аристотеля. Основанием для такого предположения послужило ему стихотворение Анакреонта (fr. 14 PMG), подлинность которого, как он замечает, никогда не оспаривалась:

> Κλεοβούλου μὲν ἔγωγ' ἐρέω,
> Κλεοβούλῳ δ' ἐπιμαίνομαι,
> Κλεόβουλον δὲ διοσκέω.
> [Первая строка, вероятно, утрачена.][9]

Пишущий эти строки случайно натолкнулся на стихотворение Архилоха (fr. 70 Diehl), которое может служить еще одним подтверждением гипотезы Зиттига. Это сатирическое двустишие, в котором поэт в самом буквальном смысле склоняет по всем падежам некоего Леофила («Народолюбца» или «Любимого народом»):

---

[7] Вокатив, по всеобщему признанию, был причислен к падежам значительно позже.

[8] О заимствовании термина «падеж» из терминологии игры в кости говорит, между прочим, В. В. Виноградов в книге «Русский язык» (М. ³1986, 143), однако без каких бы то ни было пояснений и без ссылки на Зиттига.

[9] «Клеобула я домогаюсь, / к Клеобулу пылаю страстью, / Клеобула ищу глазами».

νῦν δὲ Λεώφιλος μὲν ἄρχει, Λεωφίλου δ' ἐπικρατεῖν,
Λεωφίλῳ δὲ πάντα κεῖται, Λεώφιλον δ' ἀκούετε.[10]

Стоит еще заметить, что когда Аристотель хочет привести один пример косвенного падежа, он берет родительный: Φίλωνος, а когда хочет привести два – родительный и дательный, причем именно в этом порядке: Φίλωνος ἢ Φίλωνι, τούτου ἢ τούτῳ. Это тоже говорит в пользу предположения, что к его времени нынешний порядок падежей был уже общепринятым.

Подытожим теперь все сказанное.

1) Нет оснований категорически утверждать, что Аристотель не причислял номинатив к падежам.

2) Весьма правдоподобно, что представление о склонении имени существовало у греков задолго до Аристотеля, причем порядок падежей был тот же, что и сейчас.

3) Можно предположить, что Аристотель опирался на какую-то неизвестную нам грамматическую традицию,[11] в которой термин πτῶσις применялся только к именному склонению (и притом, скорее всего, ко всем четырем падежам), и по аналогии распространил его на другие словоизменительные грамматические категории (число имени, время и наклонение глагола), но это нововведение не было принято авторами, писавшими после него.[12]

---

[10] Перевод, в котором сохранены все падежи: «Леофил теперь здесь правит, Леофила нынче власть, / Леофилу все покорно, Леофила слушайтесь».

[11] И. М. Тронский в цитированной выше статье (с. 26) замечает, что «степень оригинальности грамматических построений Аристотеля неясна».

[12] Автор благодарит В. А. Янкова за помощь, без которой эта статья не могла бы быть написана.

Г. Виссова

ВЫСТАВКИ РЕДКОСТЕЙ В РИМЕ*

Перевод с немецкого С. А. Гавриловой

Заморские диковины, природные или рукотворные, в республиканском Риме становились достоянием общего внимания чаще всего во время триумфов и игр. По примеру Помпея, который украсил триумф над Митридатом (61 г. до Р. Х.) демонстрацией эбенового дерева (*Plin. NH* XII, 20), на триумфах стали показывать и деревья – например, бальзамовый кустарник во время иудейского триумфа Веспасиана и Тита. «Инсигнии» (*Cic. Orat.* 134; ср. *Brut.* 275; *De orat.* III, 96), служившие убранству форума и комиция или других мест во время игр, в основном были искусными изделиями человеческих рук. Использовались, однако, и природные диковинки. Так, Скавр в свое эдильство (58 г. до Р. Х.) показал в числе прочих достопримечательностей (*miracula*) кости чудища из Иоппе (Яффы) – того самого, которому отдали на растерзание Андромеду; костяк был мощнее ребер индийского слона (*Plin. NH* IX, 11). Для оживления форума использовали также попугаев и других иноземных птиц (*Varr. De re rust.* III, 9, 17).

Во времена Империи все удивительное и редкостное регулярно высылалось из провинций императорам, которые обыкновенно выставляли

---

* Перевод выполнен по изданию: *G. Wissowa.* Ausstellung von Naturmerkwürdigkeiten zu Rom // Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms / Von L. Friedländer. 4 Bd, hrsg. von G. Wissowa. Leipzig 1921, 1–6. – *Здесь и ниже примеч. ред.*

эти диковины для общего обозрения, после чего их хранили там, где всякий мог их увидеть: в храмах, часто служивших древним в качестве музеев разного рода (ср., напр., *Plin. NH* IX, 116; XII, 94), или в специально отведенных для этого местах. Как и другие достопримечательности, эти редкости назывались *miracula* (*Plin. NH* XXXVI, 196: dicavitque ipse *pro miraculo* – obsianos IIII elephantes), θαύματα (*Paus.* IX, 21, 1), а приставленные к ним смотрители – οἱ ἐπὶ τοῖς θαύμασιν (*Paus.* VIII, 46, 5); ср. «Риторику» Филодема p. 59, 22 sqq. Sudhaus (об этом: *Th. Gomperz.* Hellenika. Bd I. Leipzig 1912, 293): η συνήθεια τῶν Ἑλλήνων [...] [ε]νίοτε καὶ τοὺς ἐν [το]ῖς θα[ύ]μασιν συντ[ό]νους τεχνίτας καλεῖ.[1] О подобных выставках писали, вероятно, и римские газеты, acta diurna (*Plin. NH* X, 5; ср.: *F. Münzer.* Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius. Berlin 1897, 378), которые использовались впоследствии авторами городских хроник и другими писателями, что не значит, впрочем, будто все наблюдения, касающиеся нашего предмета, исходили – непосредственно или косвенно – из этого источника (*F. Münzer.* Op. cit., 398). Плиний, к примеру, сообщает, что многое видел собственными глазами.

Особенный интерес вызывало, судя по всему, физическое уродство. Филодем в сочинении *Περὶ σημείων καὶ σημειώσεων*[2] (col. 2, 3; См.: *Th. Gomperz.* Herculanische Studien. Heft I. Leipzig 1865, 4) сообщает: καὶ σπάνια δ' ἔστιν παρ' ἡμῖν ἔνια, καθάπερ ὁ γενόμενος ἡμίπηχυς ἄνθρωπο[ς] ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, κεφαλὴν δὲ κολοσσι[κ]ὴν ἔχων, ἐφ' ἧς ἐσφυροκόπουν, ὅ[ν ἐ]πεδείκνυον οἱ ταρειχευταί, [κ]αὶ ὁ γαμηθεὶς ὡς παρθένος [ἐν Ἐ]πιδαύρῳ κἄπειτα γενό[μενο]ς ἀνήρ, καὶ ὁ γενόμενος ἐ[ν Κρή]τῃ πηχῶν ὀκτὼ καὶ τεττ[αράκ]οντα τοῖς ἐκ τῶν εὑρεθέ[ντων] ὀστῶν σημειουμένοις, ἔτ[ι δ' οὓ]ς ἐν Ἀκώρει πυγμαίους δ[εικνύ]ουσιν, ἀμέλει δ' ἀνα[λ]όγο[υς τοῖς οὓς] Ἀντώνιος νῦν ἐξ Ὑρία[ς (Συρίας?) ἐκο]μίσ[ατο...][3] (ср. предисловие издателя, S. XIX: пигмеи в Акоре в Среднем Египте на правом берегу Нила напоминают их изображения

[1] Приведенный пассаж (= *Philod. Rhet.* II. col. 30, p. 107 Sbordone) следует, кажется, переводить так: «Эллинский обычай иногда и тех, кто опытен в показе диковин, называет технитами».

[2] «О знамениях и знаках».

[3] «... есть у нас и некоторые редкости, как, например, человек, уродившийся в пол-локтя, с огромной головой, по которой били молотом – его показывали изготовители мумий; а еще существо, которое в Эпидавре вышло замуж как девушка, а потом стало мужчиной; а еще уродившийся на Крите в 48 локтей, судя по найденным его костям; а еще пигмеи, которых показывают в Акоре, совершенно похожие на тех, кого Антоний только что привез из Гирии (Сирии?)...»

на египетских пейзажах). Нигде подобное уродство не могло снискать большего успеха, чем в Риме, в ту эпоху, когда в благородных домах охотно содержали карликов и люди наносили себе увечья искусственно, с помощью определенных приспособлений (*Ps.-Longin. De sublim.* 44, 5: τὰ γλωττόκομα, ἐν οἷς οἱ πυγμαῖοι, καλούμενοι δὲ νᾶνοι, τρέφονται,[4] – ср.: *O. Jahn.* Archäologische Beiträge. Berlin 1847, 430 f.; *J. Marquardt.* Das Privatleben der Römer / 2 Aufl., besorgt von A. Mau. Bd I. Leipzig 1886, 152). Заводили себе также великанов и великанш (*Mart.* VII, 38). Кретины (*Mart.* VIII, 13) и гермафродиты были в большой моде (in deliciis habiti – *Plin. NH* VII, 34). В Риме был рынок, где продавались различные уроды и где любители отыскивали экземпляры без икр, без рук, трехглазых или остроголовых (*Plut. De curios.* 10, 520 c: ὥσπερ οὖν ἐν Ῥώμῃ τινὲς τὰς γραφὰς καὶ τοὺς ἀνδριάντας καὶ νὴ Δία τὰ κάλλη τῶν ὠνίων παίδων καὶ γυναικῶν ἐν μηδενὶ λόγῳ τιθέμενοι, περὶ τὴν τῶν τεράτων ἀγορὰν ἀναστρέφονται, τοὺς ἀκνήμους καὶ τοὺς γαλεάγκωνας καὶ τοὺς τριοφθάλμους καὶ τοὺς στρουθοκεφάλους[5] καταμανθάνοντες καὶ ζητοῦντες, εἴ τι γεγέννηται σύμμικτον εἶδος κἀποφώλιον τέρας κτλ.:[6] cf. *Advers. Coloten* 3, 1108 d: ὥσπερ ἀγορὰν ἢ πίνακα τεράτων συντίθησι τὸ βιβλίον[7]).

Август показал публике мальчика из Ликии, который был менее двух футов росту и весил 17 фунтов, обладая при этом необыкновенно зычным голосом (*Suet. August.* 43, 3). Тогда же в Риме жил мальчик, который, напротив, согласно Папирию Фабиану, достиг роста высокого мужчины, но вскоре умер, как ему и предсказывали (*Senec. Ad Marc.* 23, 5). В правление Клавдия показывали великана ростом в 9¾ фута. Привезли его из Аравии, а звали его Габарра (по-арабски «великан»; *Plin. NH* VII, 74). Возможно, это его Колумелла (*De re rust.* III 8, 2) называет иудеем и сообщает, что недавно его показывали во время Pompa circensis, и что он выше самых рослых германцев. Так и Тиберий получил от Артабана, среди прочих подарков, иудея

---

[4] «…сундучки, в которых вырастают пигмеи, называемые также карликами».

[5] Примечателен перевод слова в LSJ: «with a head of a στρουθός». Составитель, хоть и приводит кроме пассажа из Плиния еще *Gall.* XIX, 454, очевидно, не хочет выбирать между воробьем и страусом. Мы решили последовать этому примеру.

[6] «… подобно тому как в Риме иные ни во что не ставят картины, статуи, более того, стати купленных юношей и женщин, зато день-деньской разыскивают на агоре всякие диковины, расспрашивая про людей без лодыжек, без рук, трехглазых, струфоголовых, и отыскивая, не народилась ли какая-нибудь помесь и какое-нибудь нелепое чудовище и т. д.»

[7] «… он составляет книгу, словно это толкучка или чудища на картине».

ростом в семь локтей по имени Элеазар, который διὰ τὸ μέγεθος Γίγας ἐπεκαλεῖτο[8] (*Ios. Ant. Iud.* XVIII, 103). В Риме такого рода ошибки природы после смерти сохранялись как достопримечательность. Плиний видел тела карликов в небольших сосудах; в пещере в садах Саллюстия можно было посмотреть на великана и великаншу (Позиона и Секундиллу), хранившихся там со времен Августа (*NH* VII, 75). Клавдию привезено было из Антиохии на Меандре существо, которое до 13-летнего возраста было девицей, а в 45 году по Р. Х., незадолго до свадьбы, превратилось в мужчину. Нерону в 61 г. подарили ребенка о четырех головах, чему соответствовали и остальные части тела (*Phleg. Mirab.* 6; 20).

Когда в Рим попадали удивительные и редкие животные, Август, который особенно любил их рассматривать (*Aur. Vict. Epit.* 1, 25), выставлял их в разных местах и помимо игр: змею длиной 50 локтей на комиции, носорога – в септе, тигра – на сцене (*Suet. August.* 43, 4). Кроме того, были индийские подарки (предположительно от царя Пора) – безрукий человек, огромные ужи, змея длиной в 10 локтей, речная черепаха в 3 локтя, куропатка крупнее коршуна (возможно, «the jungle fowl which Forbes describes as having something of the plumage of the partridge» [*O. de Beauvoir Priaulx.* On the Indian Embassy to Augustus // Journal of the Royal Asiatic Society 17 (1860), 317, n. 27]); он также, как будто бы, выставлял перед публикой τὸν (τε) ἑρμᾶν, ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφῃρημένον ἐκ νηπίου τοὺς βραχίονας, ὅν καὶ ἡμεῖς εἴδομεν[9] (*Strab.* XV, 719). В 47 году Клавдий показал на комиции птицу Феникс; никто, впрочем, не сомневался в том, что она ненастоящая (*Plin. NH* X, 5; ср. *Tac. Ann.* VI, 28; *Cass. Dio* LVIII, 27, 1). Представлены вниманию публики были и белые олени, которыми восхищался Павсаний (VIII, 17, 4); зато упомянутых в IX 21, 1 sqq. животных он, вероятно, видел в амфитеатре или в клетках. Скелет кита, нечаянно заплывшего в Средиземное море, император Север показал в амфитеатре, кажется, во время игр; внутри экспоната могло разместиться 50 медведей (*Cass. Dio* LXXV, 16, 5).

Ствол длиннейшего на то время дерева, которое оставалось таковым и до Плиния, выставил Тиберий. Эта лиственница, срубленная в Реции, при объеме два фута (= 0,59 м) имела 120 футов (= 35,5 м) длины. Ствол пустили в ход при строительстве Неронова амфитеатра. Агриппа велел установить в портике построенной им Септы балку, которая

[8] «из-за величины звался гигантом».

[9] «… и *герму*, сызмальства лишенного рук по самые плечи, которого мы и сами видели…»

была на 20 футов короче, зато в полтора раза толще упомянутой выше; Плиний еще видел ее (*Plin. NH* XVI, 200 sq.).

Чудеса растительного мира императоры получали из провинций постоянно. Прокуратор области Бизациум в Африке послал Августу около четырехсот ростков, происшедших из единого пшеничного зерна; из одного зерна выросли и те 360 стеблей, что были присланы из этой же области Нерону (*Plin. NH* XVIII, 94 sq.). Из Киренаики прислали экземпляр растения сильфион – это была большая редкость, поскольку к тому времени этот злак совершенно там перевелся (там же, XIX, 39). При Нероне в Каппадокии был обнаружен прозрачный и твердый, как мрамор, камень, который хорошо узнали в Риме после того, как Нерон построил из него храм Фортуны в Золотом доме: даже при закрытых дверях днем там было светло (там же, XXXVI, 163). Гален (*De antidot.* I, vol. XIV, p. 25 Kühn) говорит: κομιζομένων γὰρ τοῖς βασιλεῦσι τῶν ἀρίστων ἁπανταχόθεν,[10] а ниже (p. 64) сообщает, что на императорских складах (ἀποθῆκαι) хранились драгоценнейшие медикаменты из дальних стран.

Интерес всего Рима не раз возбуждали обжоры. «Во времена Нерона, – сообщает хроникер 354 года (Chronica minora saec. IV–VII / Ed. Th. Mommsen. Bd I. Berolini 1892 (MGH, IX), 146), – был обжора, александриец по рождению, по имени Гарпократ, который как-то пообедал следующими мелочами (manducavit pauca): вареным вепрем, живой неощипанной курицей (cum suis sibi pinnis), сотней яиц, сотней сосновых орешков, обувными гвоздями, осколками стекла, прутьями пальмового веника, четырьмя салфетками, молочным поросенком, копной сена, – и после этого все еще казался голодным». Поговаривали, что Нерон приказал разорвать на куски живых людей и предложить их Гарпократу на съедение (*Suet. Nero* 37, 2). Другой обжора получил известность при Александре Севере; о нем тот же хроникер сообщает похожие сведения. Был и третий, по имени Фагон, при Аврелиане – император не мог нарадоваться на этого обжору (*Hist. Aug. Aurel.* 50, 4.; ср.: *Th. Mommsen.* Gesammelte Schriften. Bd VII. Berlin 1909, 572, Anm. 4).

Также и случаи неслыханной плодовитости или примечательные роды охотно доводились до сведения публики и привлекали ее внимание. Помпей выставил в своем театре портреты знаменитостей; среди них была и женщина по имени Евтихида из Тралл, родившая 30 детей;

---

[10] «… ибо царям свозили все лучшее со всех концов (света)».

20 из них со временем проводили ее в последний путь (*Plin. NH* VII, 34). Acta от 11 апреля 5 г. до Р. Х. сообщают, что гражданин Фезулы вместе с 8 детьми, 27 внуками, 8 внучками, 18 правнуками совершал жертвоприношение на Капитолии (там же, VII, 60); последнее сообщение было тем поучительнее, что подавало достойный пример в обстановке все более частых безбрачия и бездетности. При Диоклетиане и Максимиане, сообщает городская хроника за 354 год (Chronica minora saec. IV–VII, Bd I, 148), женщина по имени Ирена родила четверню, трех мальчиков и одну девочку. Одна из рабынь Августа родила сразу пятерых, и, после ее скорой смерти, по приказу принцепса об этом было написано на ее надгробии (*Gell.* X, 2, 2). В Дигестах неоднократно рассказывается, что при Адриане в Рим была привезена из Александрии женщина по имени Серапиада, которая родила четверых детей за одни роды, а через 40 дней еще одного; *Paul. Dig*. V, 4, 3: Sed et Laelius scribit se vidisse in Palatio mulierem liberam, quae ab Alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa dicebatur, quintum post diem quadragesimum);[11] по Гаю (XXXIV, 5, 7 (8) pr.), это случилось все-таки за один раз; то же сообщение приводит и Юлиан (XLVI, 3, 36), добавляя: et hoc et in Aegypto affirmatum est mihi. Возможно, это та самая женщина, о которой Флегонт из Тралл говорит, что дети ее воспитывались за счет императора Траяна (*Mirab*. 29): καὶ ετερα τις γυνὴ κατὰ την αὐτὴν πολιν πέντε ἐν ἑνὶ τοκετῷ ἀπεκύησε παῖδας, τρεῖς μὲν ἄρρενας, δύο δὲ θηλείας· οὓς ὁ αὐτοκράτωρ Τραϊανὸς ἐκέλευσεν ἐκ τῶν ἰδίων χρημάτων τρέφεσθαι· πάλιν δὲ μετ᾽ ἐνιαυτὸν ἄλλα τρία ἡ αὐτὴ γυνὴ ἔτεκεν.[12] Тот же Флегонт рассказывает, что видел человека ста тридцати шести лет отроду, которого привезли показать императору Адриану (*Περὶ μακροβίων* 4)· Φαῦστος Καίσαρος δοῦλος ἐκ Σαβίνων ἀπὸ πραιτωρίου Παλλαντιανοῦ ἔτη ρλς᾽, ὅν καὶ αὐτὸς ἐθεασάμην, Ἀδριανῷ τῷ Καίσαρι ἐπιδειχθέντα.[13] (Этот же долгожитель, по-видимому, упоминается и в Талмуде, – см.: Jüdische Zentralblatt 9 (1890), 20). Друг неоплатоника Порфирия имел

[11] «… да и Лелий пишет, что видел на Палатине свободнорожденную женщину, которую привезли из Александрии, чтобы показать Адриану, с пятью детьми, четверых из которых она, как говорили, родила в одни роды, а пятого сорок дней спустя».

[12] «… и еще одна женщина в том же городе в одни роды родила пятерых, троих мужского пола, а двух женского. Император Траян дал приказ воспитывать их за его счет, а еще через год та же женщина снова родила троих».

[13] «… сабинянин Фавст, императорский раб из палатинской резиденции, ста тридцати шести лет от роду – которого я и сам лицезрел, – был приведен на показ императору Адриану».

раба, который когда-то понимал язык птиц, но потом потерял этот дар из-за своей матери: опасаясь, что ее сына пошлют в подарок цезарю, она осквернила уши спящего (*Porphyr. De abstin.* III, 3).

Время от времени с просторов империи в столицу доставлялись предполагаемые сказочные существа. Таковых, надо полагать, наблюдал живший во времена Тиберия Манилий, который упоминает о том, что «часто видел тела животных, сросшиеся с человеческими» (*Astron.* IV, 101 sqq.). Из африканской пустыни, где будто бы водились дикие мужчины и женщины – причем последние, как считалось, дали повод сказаниям о Медузах, – однажды привезен был в Рим дикий мужчина. Когда именно это случилось – не выяснить, поскольку повествующий об этом Павсаний ссылается на неизвестного писателя, Проклета Карфагенского, сына Евкрата (*Paus.* II, 21, 6). При Клавдии на одной из гор в Аравии был живьем пойман гиппокентавр. Его отослали префекту Египта вместе с другими подарками для цезаря; там он и умер, был забальзамирован (in melle, как сообщает *Plin. NH* VII, 35, коротко упоминая об этом случае), привезен в Рим и выставлен в императорском дворце. Флегонт описывает его в подробностях (*Mirabil.* 34) и говорит (*Ibid.*, 35), что тот, кто не верит этому, может убедиться воочию: ἀπόκειται γὰρ ἐν τοῖς ὁρίοις (ὅρτοις Xylander, ὁρρείοις Meursius, θησαυροῖς Bochart) τοῦ αὐτοκράτορος τεταριχευμένος ὡς προεῖπον.[14]

Императору Константину в Антиохию был прислан сатир (sale infuso, ut ab imperatore videretur: *Hieronym. Vit. Paul. Erem.* 8, PL XXIII, col. 23). Рассказы о тритонах и нереидах передавали вплоть до времен Плиния. К Тиберию приехало посольство из Олисиппо (Лиссабона) с сообщением, что там в одном из гротов видели, как на раковине сидит тритон – совсем такой, каким его себе представляют, – и играет себе на флейте. На том же берегу видели нереиду, опять же совершенно такую, как думалось, разве что и человеческая часть тела была у нее покрыта чешуей; жалобные стоны умирающей русалки слышали жители всей округи. Эти и тому подобные вещи излагает Плиний (*NH* IX, 9). Зато Павсаний видел тритона в Риме (IX, 21, 1: ἐν τοῖς Ῥωμαίων θαύμασι),[15] – зеленые волосы, чешуя, длинные зубы, руки в ракушках, а хвост рыбий. Даже Поджо сообщает о явлении Тритона, деревянное изображение которого он видел в Ферраре (*J. Burckhardt.* Die Kultur der Renaissance in Italien. Bd 2. Leipzig [7]1899, 251 f. [= *Я. Буркгардт.* Куль-

---

[14] «... потому что выставлен в императорском имении (садах? хранилище? сокровищнице?) в виде мумии, как я говорил выше».

[15] «среди римских диковин».

тура Италии в эпоху Возрождения / Пер. С. Брилианта. Т. 2. СПб. 1906, 274]).

Предполагаемую реликвию героического времени Тиберию прислали в 17 году по Р. Х., когда в Малой Азии и в некоторых других областях случилось землетрясение. В местах, где земля разверзлась, нашли останки тел чудовищной величины. Для пробы зуб одного из великанов – длиной больше фута – послали в Рим с вопросом, стоит ли присылать героические останки целиком. Тиберий не пожелал тревожить могильный покой героя, однако, дабы получить представление о росте покойника, велел геометру по имени Пульхр изготовить модель головы, опираясь на длину зуба; затем он отослал зуб обратно (*Phleg. Mirabil.* 14).

Эти чудеса природы привлекли к себе обновленный интерес в христианское время. Дело в том, что они доказывали мыслимость правдоподобия кое-каких необычных вещей, о которых рассказывает Библия. То, что смертные женщины рожали великанов от ангелов, было, как заметил Августин, вполне правдоподобно, поскольку незадолго до разрушения Рима готами в 410 г. при общем стечении народа там показывали великаншу, чьи родители, кстати говоря, были обычного роста. Августин также видел на берегу в Утике коренной зуб великана (*Aug. De civ. Dei* XV, 9, 23). Впоследствии природные чудеса, а также мифологические существа, вроде пигмеев, скиаподов et cetera hominum vel quasi hominum genera, quae in maritima platea Carthaginis musivo picta sunt, ex libris deprompta velut curiosioris historiae (*De civ. Dei* XVI, 8),[16] использовались неверующими для того, чтобы оспаривать происхождение всех людей от Адама. Хотя Августин многие из подобных вещей признавал выдумками, он все же замечает, что существуют люди, имеющие диковинный облик, которые как раз поэтому и являются людьми, а соответственно, происходят от Адама. Близ Гиппона Диаррита[17] был же найден человек с почти лунообразными ногами, и на каждой из них только по два пальца. Такими же были и руки. Гермафродиты точно бывают, хотя и редко. Наконец, уже много лет назад, но все-таки во времена самого Августина, на востоке жил человек с двумя головами, с двойной грудью и четырьмя руками, а с середины тела – обычного строения; жил он так долго, что многие успели совершить дальнее путешествие только для того, чтобы повидать его.

[16] «...и прочих видов людей или подобных людям, чьи изображения, которые выложены мозаикой на Морской улице в Карфагене, почерпнуты из книг, содержащих описание диковин».

[17] Гиппон Диаррит – город в Африке неподалеку от Утики.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ ОБ АНТИЧНОСТИ



М. М. Позднев

РОДОЛЬФ АГРИКОЛА, ЭРУДИТ И ТЕКСТОЛОГ

Clarum inde inter Germanos Frisium nomen…

Tac. Ann. IV, 74

История Восточной Фрисландии до XVII в. подробно описана Уббо Эммием, ректором Гронингенского университета в 80-х гг. XVI в. О Родольфе Агриколе читаем: «Жизнь его лучше обойти молчанием, нежели сказать о ней кратко. Но удивительно одно: как это он успел сделать так много и оставить такую память о себе, не прожив и сорока трех лет и проведя большую часть жизни в застольных компаниях, наслаждаясь путешествиями, любя светские развлечения и к тому же профессионально занимаясь музыкой».[1]

Эта характеристика, данная через столетие после смерти ученого и гораздо более похожая на правду, чем любые попытки приписать Агриколе квазистоическое благообразие,[2] вызывает недоумение, которое мы разделяем со многими исследователями Кватрочен-

[1] Нам был доступен только немецкий перевод, сделанный Эриком фон Реекеном: *U. Emmius.* Friesische Geschichte. Bd III. Frankfurt/Main 1982, 457.

[2] Ср. в письме Меланхтона Аларду: «…propter morum gravitatem <…> et moderationem omnium actionum consuetudo eius a praestantissimis viris expeteretur» (*R. Agricola.* Opuscula. Ovationes. Epistolae. Frankfurt/Main 1975, 8). Однако жизнерадостное и оптимистическое мироощущение Агриколы лучше всего иллюстрирует его собственная прекрасная эпиграмма:

то.[3] Память об Агриколе, естественно отождествляемая с его авторитетом у последующих поколений ученых, как будто не совсем соответствует ценности, и уж во всяком случае, объему его наследия. В сравнении с Рейхлином, Эразмом, Меланхтоном Агрикола выглядит второстепенной фигурой.[4] Объясняя высокую оценку, данную историком фризов научной продукции знаменитого соотечественника, хотелось бы сослаться на то, что безоговорочная почтительность по отношению к предшественникам – топос в научной поэтике позднего Ренессанса – была в данном случае усилена национальным контекстом всего труда Эммия. Однако в поисках объективного мнения мы можем обратиться к чуждому предвзятости, не склонному легко уступать традиции и поэтому, как правило, скупому на похвалы современнику Агриколы – Эразму Роттердамскому. Один из персонажей диалога *Ciceronianus* перечисляет известных гуманистов и находит у каждого из них те или иные недостатки. Лишь достоинства Агриколы бесспорны. «In Italia summus esse poterat, nisi Germaniam praetulisset», – заключает Эразм: иначе говоря, в «каталоге гуманистов» Агриколе дано место «первого среди равных».[5] На чем основываются эта и подобные[6] оценки, в чем главная заслуга Агриколы?

Труды Агриколы, включенные в единственное издание его сочинений, были подготовлены для печати Алардом Амстердамским и увидели свет в 1539 г.[7] Перечисление их не займет много места. Самая значительная работа – трактат *De inventione dialectica* в трех книгах. Первая книга трактата посвящена топике, вторая – предмету речи, в третьей говорится

Postera quid portet dubium lux, accipe praesens
    Quod datur et celeri prospera carpe manu
Quodque feret tempus, fer laetus et aspera forti
    Mente doma, vitae si tibi grata quies.

[3] Ср., напр.: *L. Geiger.* Renaissance und Humanismus. Leipzig 1878, 334; *F. von Bezold.* Rudolf Agricola: Ein deutscher Vertreter der italienischen Renaissance. München 1884, 3; 15–16.

[4] Между тем традиция сравнивает Агриколу именно с гуманистами «первого ряда», каковы Лоренцо Валла и Анджело Полициано, а не с более скромными фигурами, такими, как братья фон Пленинген, Дальберг, доктор Окко и др.

[5] *Des. Erasmi Roterodami* Dialogus, cui titulus Ciceronianus sive de optime dicendi genere. Coloniae 1528, 377.

[6] Ср. характеристики Меланхтона в письме к Аларду: *R. Agricola.* Opuscula..., 9–10. Меланхтон считает Агриколу самым выдающимся ученым среди немцев.

[7] *Rodolphi Agricolae Phrisii* opera omnia cum notis et cura Alardi Amsteledami. Coloniae 1539. Т. 1–2. Первый том содержит только философский опус Агриколы *De inventione dialectica*: он более не переиздавался. Второй том фототипически переиздан (см. прим. 2).

о роли логики при построении речей. Агрикола рассуждает о связи диалектики и риторики, советует привлекать в качестве примера античных авторов, отмечая и то обстоятельство, что диалектика и риторика помогают правильно понимать и глубже анализировать этих последних. Источники Агриколы традиционны – «Топика», «Вторая Аналитика» и «Категории» Аристотеля, *De oratore* Цицерона и *Rhetorica ad Herennium*. Вопросы признаются основным предметом диалектики, целью ее Агрикола считает обучение, успех и удовольствие.

Хотя о философских занятиях Агриколы продолжают писать,[8] никто не решится поставить его в один ряд с Меланхтоном или Эразмом ни по реформаторской силе, ни по богатству мысли. Упоминания о нем в общих работах по истории логики редки и немногословны.[9] Даже П. Мак, посвятивший трактату Агриколы отдельное исследование, признает, что «Агрикола не создал логической школы в том смысле, как это позднее сделали Меланхтон и Пьер де ля Раме». И далее: «Агрикола не оказал значительного влияния на преподавание риторики».[10] Второстепенность, зависимость от Аристотеля и Цицерона и нелегко узнаваемые расхождения со схоластикой – таковы оценки занятий Агриколы в области теории логики и риторики, занятий, бывших не более чем стимулом для дальнейших исследований других гуманистов.

Это же относится и к его речи *In laudem Philosophiae*, произнесенной зимой 1476 г. в Ферраре перед студентами университета. Агрикола определяет традиционно-схоластический путь познания человеческой душой истины, выстраивает иерархию научного знания: на нижней ступени стоят естественные науки, затем математика, к которой через геометрию, арифметику, астрономию и музыку последовательно ведет путь от физики, затем философия и, наконец, – теология. В философии постулируется первенство этики над логикой и признается необходимость поиска высшего божественного смысла.[11]

---

[8] *E. G. Ashworth.* Language and Logic in the Postmedieval Period. Dordrecht; Boston 1974, 5. Эшворт замечает, что после того, как в 1515 году, т. е. через 30 лет после смерти Агриколы, трактат стал известен философской публике, в популярных логических силлабах, а также в некоторых университетах Петр Испанец на какое-то время заменяется Агриколой.

[9] Ср., напр.: *G. Nuchelmans.* Dilemmatic Arguments. New York 1991, 102. Современная Агриколе *Repastinatio dialectica* Лоренцо Валлы признается более авторитетной работой в вопросах логики.

[10] *P. Mack.* Renaissance Argument: Valla and Agricola. Leiden 1993, 359; 362.

[11] См: *H. Rupprich.* Humanismus und Renaissance in den deutschen Städten und an den Universitäten. Leipzig 1935, 171 ff.; *А. Н. Немилов.* Родольф Агрикола в Ферраре // Проблемы культуры итальянского Возрождения. Л. 1979, 39.

Помимо этого есть еще три речи Агриколы: *De nativitate* – восторженное, но бессодержательное произведение;[12] речь на восшествие папы Иннокентия VIII на святой престол[13] – более вдумчивый, но не менее типичный образец религиозно-политического красноречия эпохи[14] (это – последнее и едва ли не лучшее из написанного Агриколой); наконец, похвальное слово в адрес ректора Феррарского университета Маттео Ричили, в котором дидактика обильно уснащена лестью.[15] Главным, если не единственным достоинством этих речей является, конечно, их изысканный латинский язык.

Существует также небольшое количество писем Агриколы, часть которых вошла в издание Аларда, часть издана К. Хартфельдером уже в новое время.[16] Среди адресатов Агриколы – братья Дитрих и Иоганн фон Пленингены (Plinius), Иоганн Дальберг (Camerarius), Адольф Руш (Ruscus), доктор Окко, Иоганн Вредевольт… Широкий круг друзей, преподающих в университетах и занимающихся научной, политической и религиозной деятельностью по обе стороны Альп,[17] и самые разно-

---

[12] Ex. gr.: «Non equidem invenio, doctissimi viri, quibus verbis laetissimum hoc tempus animis vestris commendem, aut quibus vocibus illud, quibus laudibus celebrandum putem: non licet tacere nobis, et laudare pro dignitate nisi solus ille, qui fecit, posset» (*R. Agricola* Opuscula…, 125).

[13] Впоследствии этот папа учредил грабительские сборы денег, которые тратил на своих незаконных детей, получил от турецкого султана Баязета плату за то, что держал под стражей его брата, и осудил как ересь 900 тезисов из сочинений Пико делла Мирандолы.

[14] Ex. gr.: «Germanos item nostros proditum est priscos illos, priusquam sacrae Christianae fidei mysteriis essent initiati, quidquid id erat quod Dei colerent loco, nullis sustinuisse simulacris effingere, quod crederent falsa Deo non convenire, vera se reperire non posse: adeo visum est his rectius esse prudenter quenque secum reputare, quod possit, quam imprudenter conari, quod nequeat» (Ibid., 166). Насколько мы можем судить, помимо этого краткого теолого-исторического экскурса труды Агриколы никак не отражают великих событий религиозной жизни конца XV в. Агрикола, впрочем, оставался всю свою жизнь убежденным католиком.

[15] Ex. gr.: «Te vero, Matthia praestantissime, supererat ut admonerem, atque ad colendam iustitiam resque amplificandas tui ordinis hortarer; sed totum hoc supervacuum tua mihi integritas fecit. Audeo te tibi monitorem dare, tuis consiliis, diligentiae, industriae committere» (Ibid., 143).

[16] *K. Hartfelder.* Unedierte Briefe von Rudolf Agricola: Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus. Karlsruhe 1886.

[17] Дитрих фон Пленинген – юрист в Павии и переводчик классических авторов на немецкий язык; брат его – каноник в Вормсе; Иоганн Дальберг – канцлер Палатинского (Пфальцского) курфюршества, епископ в Вормсе, ректор университета Павии, а впоследствии – Гейдельбергского университета; Адольф Окко – врач в Аугсбурге; Адольф Руш – страсбургский библиотекарь; Вредевольт – настоятель церкви святого Мартина в Гронингене.

образные темы – от политических событий[18] до новых находок текстов античных авторов.[19] Известны два хвалебных письма, адресованных Рейхлину, написанные частью по-гречески. Стиль писем Агриколы отличается прекрасной отделкой,[20] но содержание их в основном касается жизненных обстоятельств самого Агриколы и его друзей, не являясь источником в области истории идей.[21]

Несколько написанных по случаю латинских стихотворений, среди которых выделяются эпиграммы, и краткая биография Петрарки дополняют список сочинений Агриколы. Остальное – латинские переводы из греческих авторов: *Progymnasmata* (*Προγυμνάσματα*) Афтония. *Gallus* (*Ὄνειρος ἤ ἀλεκτρυών*) и *De non facile credendis deditionibus* (*Περὶ τοῦ μὴ ῥαδίως πιστεύειν διαβολῇ*) Лукиана, а также диалог Псевдо-Платона «Аксиох» (с комментариями пояснительного характера). Эти переводы, как и несколько риторических упражнений, составленных в виде хрестоматии по Присциану и Сенеке-ритору, сделаны Агриколой на заказ или для собственного пользования. Ясно, что не Агриколе-переводчику следует относить упомянутые в начале нашего очерка хвалебные отзывы; не это было источником его славы.[22]

«В его работах нет ничего, что казалось бы оригинальным, значительным или необычным, – пишет историк немецкого гуманизма Фридрих фон Бецольд. – Однако очевидное противоречие давно[23] раз-

---

[18] «Glorienses de pace agunt cum Maximiliano (*Romanorum rege*), de qua convenerit eis necne haud scio. Rex itidem Galliae pacem cum Maximiliano fecisse dicebatur, alii inducias quadrimestres dicunt, plerique bona fide nihil, sed regem ludificari imparatum tentare Maximilianum, parato abstinere et inanibus impensis vires eius atterere» (*K. Hartfelder*. Op. cit., 22).

[19] «Audio illic (*sc. Romae*) inveniri librum partitionum Senecae (id enim illi nomen indidit, qui id mihi narrabat), unde ait deprompta esse fragmenta illa declamationum, quae in libro orationum Ciceronis Romae impresso *(1471, J. Aleriens)* praescripta sunt» (Ibid., 26).

[20] Даже в коротких записках: «Alias plura, nunc pro tempore…» – так начинается одно из небольших посланий, отправленных Агриколой Дитриху фон Пленингену из Феррары в Павию. Агрикола тоскует по Павии и по соотечественникам, с которыми там сдружился: «Non tam laetum nunc caelum, non tam benignae aurae, quas spiro <…>. Video et ablata mihi omnia et me omnibus ablatum, et perdidi necdum alia, sed et me ipsum» (*K. Hartfelder.* Op. cit., 16).

[21] О педагогическом письме Агриколы Жаку Барбиро см. ниже.

[22] За исключением *Progymnastata*, бывших одним из бестселлеров XVI века (имя переводчика, впрочем, часто забывали), Аларду было необычайно трудно собрать переводы Агриколы. История этого собирания отчасти отражена в переписке самого Аларда, которую он также опубликовал, и в схолиях Аларда к малым произведениям Агриколы.

[23] На самом деле именно Бецольд, как признано впоследствии, первым выдвинул такое объяснение. Ср.: *K. Hartfelder.* Op. cit., 3, Anm. 1. В статье Гайгера в *Allgemeine*

решено. Восхищение Агриколой относится не к его трудам, а к его личности».[24] Итак, авторитет Агриколы, непонятный тем, кто возьмет на себя труд прочесть его сочинения, объясняется влиянием его на младших современников в Италии и на студентов Гейдельбергского университета, где он преподавал в последние годы жизни. «Einfluß der Persönlichkeit» – причина тем более весомая, что XVIII и первая половина XIX в. оставили Агриколу как бы в тени, а то немногое, что было написано о нем, сводилось к пустым похвалам, в которых заметен лишь отголосок предыдущей славы.[25]

Итак, на поверхность выступают причины биографического свойства, оценить которые поможет краткое жизнеописание гуманиста. Релоф Гюйсман[26] родился в местечке Бафло, неподалеку от Гронингена, в августе 1443 года.[27] Пройдя начальное обучение в Эрфурте, который был тогда одним из центров гуманистических штудий, научившись изящно говорить и писать по-латыни и прочитав всех доступных ему «школьных» авторов, он перебирается в Лувен в бельгийском Брабанте, чтобы изучать в университете схоластическое богословие и поправить знание французского, которого не хватало его землякам. В возрасте 18–19 лет Агрикола едет в Париж с целью довести до конца теологические штудии и начать изучение греческого. Единственным местом, где можно было по-настоящему серьезно заняться греческим, была, однако, Италия. Именно там герцоги-меценаты принимали у себя бежавших из Константинополя греческих ученых.[28] Неудивительно, что 25-летний парижский богослов отправляется в Павию, где было в то время много немцев.

Deutsche Biographie (I (1875), 151) высокий авторитет Агриколы мотивируеся сходным образом: «Agricola gehort zu den Männern, die <…> mehr durch die Gewalt und den Zauber ihrer Persönlichkeit, als durch ihre Leistunghen auf ihre Zeit gewirkt haben».

[24] *F. von Bezold.* Op. cit., 4.

[25] Ср. брошюру А. Треслинга «Rudolf Agricola: Vita et merita» (Groningae 1830), хотя и дающую полезные сведения о жизни Агриколы, но никак не разрешающую наши сомнения относительно природы его значительности как культурного деятеля.

[26] Сам псевдоним его гуманистически выразителен. Имя Hujsman (нем. Hausmann) передано по латыни не совсем точно, но благозвучно и с античным подтекстом – мы знаем нескольких консулов с этим именем, не говоря уже о знаменитом тацитовском Агриколе. Точно так же известный немецкий переводчик классических текстов Иоганн Вакер (Wacker) называет себя Vigilius.

[27] Эта дата согласуется с надгробной надписью Агриколы, сделанной Адольфом Окко.

[28] Среди них престарелый Теодор Газа, родом из Фессалоник, взятых турками уже в 1430 г. Газа приехал из Неаполя во Флоренцию и очень сдружился там с Агриколой.

Жизнь в Павии, где Агрикола провел несколько лет, изучая право, а затем – в Ферраре,[29] в качестве органиста при дворе герцога Эрколе Д'Эсте, сделала из студента ученого, а ученому сообщила качества придворного светского человека. В 1479 году наступает переломный момент:[30] Агрикола решает посвятить себя Германии. Но только через три года Дальбергу, которого иногда называют вторым основателем Гейдельбергского университета, удается заполучить его к себе в Гейдельберг. До этого Агрикола побывал в Антверпене и Гронингене (на должности государственного секретаря), жил и при бургундском дворе, но нигде не смог или не захотел остаться. В Гейдельберге преподавание чередуется с изучением древнееврейского – Агрикола внял призывам Рейхлина, бывшего вдохновителем немецкой гебраистики. Но и в Гейдельберге Агрикола не жил постоянно, выезжая (иногда на несколько месяцев) в Голландию, Саксонию и Пфальц. В 1485 году Агрикола вместе с Дальбергом отправился в Рим, чтобы по поручению Баварского и Пфальцского курфюрста Филиппа поздравить нового папу Иннокентия VIII. Его речь по этому случаю мы упоминали выше. На обратном пути в Гейдельберг он внезапно заболел и 28 октября умер.

Конечно, за этим cursus honorum видна огромная работа Агриколы. Немецким ученым XV века стоило большого труда преодолеть стойкое убеждение итальянцев в невежестве северян. Немецкая диаспора в Павии жила своими интересами, и исконные обитатели древнего Тицина не могли не относиться к немцам с оттенком пренебрежения. Агрикола, отважившийся покинуть провинцию Милана ради великолепной Феррары – первый, кому удалось заставить уважать себя. Этот человек мог поразить своей глубочайшей осведомленностью в любой области науки. По образованию богослов, он выучил классические языки так, как их не знали итальянцы, был великолепным музыкантом[31] и способным живописцем, знал толк в юриспруденции. Проторив дорогу в Италию, он с триумфом был принят в Гейдельберге, и три года,

---

[29] Возможность жить в Ферраре появилась у Агриколы благодаря тому, что герцог Эсте, зная о его музыкальных дарованиях, предложил ему скромное жалование – пять золотых, добавив впоследствии шестой за игру на органе в герцогской капелле (*K. Hartfelder.* Op. cit., 17).

[30] Возможно, в связи со смертью Газы. Ср.: *А. Н. Немилов.* Указ. соч., 38.

[31] «Alit me vetus nostra canendi in organis *ineptia*». Несмотря на это последнее словечко, люди, имеющие отношение к музыке, возможно, сочтут самым ценным из творений Агриколы превосходный орган, построенный им для церкви св. Мартина в Гронингене, который функционирует и по сей день. Видимо, Агрикола был причастен и к созданию полифонии.

проведенные в университете, подтвердили его право на то, чтобы считаться первым ученым Германии.

Но Эразм, скорее всего, не знал, а Меланхтон и Алард просто не могли знать Агриколу лично. Между тем память об этой личности ненамного пережила саму личность. От увлечений гуманиста уже через полстолетия после его смерти не осталось ничего, что обогащало бы наш духовный опыт. Нет картин его пера; не отыскиваются и его следы в истории права. «Cantica eius etiam nunc circumferuntur», – пишет Алард, но какие именно – не может сказать, очевидно, зная об этом из ненадежных источников. Агрикола-богослов, как считается, оказал влияние на Меланхтона. Любопытно, что пишет об этом сам Меланхтон в письме Аларду: «Ostendebat *(Agricola)* et in Canonibus germanum sensum saepe ex historiis et Ecclesiae moribus petendum esse. Nam cum ortum esset certamen de hoc dicto: *Frustra servat Evangelium, qui non servat Canones,* et imperiti quidam disputarent, quam dura vox esset, si ad omnes ritus Ecclesiasticos transferatur, admonuit Rodolfus Canones initio vocatos esse sententias Synodorum de dogmatibus, ut in Synodo Nicaena damnati sunt errores Samosateni, Catharorum et Arii». Защита католической догматики вряд ли была тем, на что опирался Меланхтон, когда создавал свое сочинение «Loci communes rerum theologicarum», где закладывается фундамент догматики протестантской. Думается, что Praeceptor Germaniae просто отдал должное эрудиции Агриколы, который мог изобретательно отстаивать свои взгляды на любом богословском диспуте.

В Италии об Агриколе помнили недолго; неудивительно, что тот, кто стремился быть первым во всем, оставил по себе мало истинно ценного. Переписка свидетельствует о какой-то мятежности духа этого человека. Агрикола любил переезды, тосковал по любезной его сердцу Италии (а в Италии – по родному северу) и даже в Гейдельберге не находил себе места. Трудно говорить о «влиянии личности» человека, ни с кем, кроме нескольких друзей, не общавшегося, нигде не задерживавшегося надолго.

Летописцы Гейдельберга могут сообщить о научной деятельности Агриколы лишь немногое.[32] Известно, например, что он первый

[32] Здесь мы чаще встречаем описания его внешности и привычек: длинный нос, борода (которой, правда, нет на сохранившимся портрете, сделанном, очевидно, с более раннего оригинала во второй половине XVI в.), длинные тонкие пальцы, живые глаза. Он был долговяз, нетерпелив, имел привычку грызть ногти. Сообщают и о «страсти к вину, обличавшей в нем северянина». Ср.: *K. Hartfelder.* Heidelberg und Humanismus // Zeitschrift für allgemeine Geschichte 2 (1885), 177 ff.; 671 ff.

ввел в университетскую практику *Historia animalium* Аристотеля (видимо, в латинском переводе Газы) – книгу, которую до него никто не видел по северную сторону Альп. Признано, что Агрикола стоял у истоков той melior ratio discendi, благодаря которой эта школа дала так много замечательных ученых.[33] Очевидно, это связано с теми в высшей степени заслуженными похвалами, которые снискала Latinitas Агриколы. «Cum Germania corruptissimo genere sermonis uteretur tantaque litterarum inscitia esset, ut, quid esset recte loqui, ne quidem suspicari nostri homines possent <…>, unus Rodolphus primum animo atque auribus sentire illa vitia et desiderare meliorem orationis formam coepit», – так пишет Меланхтон, чьи сведения получены от тех, кто слушал Агриколу в Гейдельберге.

И все же этих данных явно недостаточно для объяснения славы Агриколы «влиянием личности». По-латыни прекрасно говорили и писали в то время многие немцы, о чем свидетельствуют хотя бы ответы адресатов Агриколы на его письма или корреспонденция Эразма. Для Гейдельбергского университета, где Агрикола в общей сложности пробыл чуть больше года и мало занимался преподаванием,[34] Дальберг сделал несравнимо больше. Что же касается melior ratio discendi (кстати, студентов Гейдельбергского университета Агрикола, несмотря на их энтузиазм, совсем не любил и считал очень плохо подготовленными для гуманистических занятий), то стоит привести один «педагогический» текст Агриколы, написанный им в связи с отказом принять место директора школы в Антверпене: «Graeci scholam, id est otium dicunt, Latini ludum litterarium vocant eam, quum nihil sit aut otiosum minus, aut severum et ab omni ludo magis abhorrens. Rectius sane Graecus comicus Aristophanes, qui φροντιστήριον, id est curarum locum appellat. Scholam ergo ego? Ubi tempus impartiendum studiis, ubi quies ad aliquid inveniendum vel excudendum necessaria?» С одной стороны, в таком взгляде на школу нет ничего нового, он, можно сказать, взят прямо из словаря Феста,[35] и даже игра со значением слова весьма тривиальна и была известна из античных авторов.[36] Что же касается φροντιστήριον, то смысл, вложенный в это слово Аристофаном, глубоко ироничен и вряд ли сводим к curarum locum Агриколы. Школа Сократа –

---

[33] Л. Гейгер, однако, считает педагогические занятия Агриколы неглубокими (*L. Geiger.* Op. cit., 334).

[34] См.: *E. Kessler.* Agricola und die Geschichte // Rodolphus Agricola Phrisius: Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28–30 October 1985 (далее – RAP), 58.

[35] «Scholae dictae sunt non ab otio ac vacatione omni, sed quod, ceteris rebus omissis, vacare liberalibus studiis pueri debent».

[36] *Aus. Protrept.* 6. Graio schola nomine dicta est / Iusta laboriferis tribuantur ut otia Musis.

«мыслильня», «мудрилище» – место, где (якобы) думают, а на самом деле занимаются вздором.[37]

Итак, мы должны признать, что не только философские и риторические писания, но и сама незаурядная личность Родольфа Агриколы, его педагогические занятия, его увлечения музыкой и живописью, оставившие так мало следов, не были источником славы и влияния этого «первого немецкого гуманиста». Быть может, немецкому гуманизму вообще не стоит признавать за Агриколой никаких заслуг, кроме первородства (впрочем, также сомнительного)? Следует рассмотреть, однако, еще одну сторону его деятельности, а именно филологические штудии. Эта работа Агриколы, интересная и поучительная для филолога-классика, в нашем этюде будет проиллюстрирована несколько подробнее.

Материал, дающий возможность судить о филологических исследованиях Агриколы, ограничен текстами Тацита и Плиния Младшего. Из последнего мы приведем меньше примеров, так как поправки к Плинию недостаточно освещены в аппаратах критических изданий. Занятия Агриколы обоими авторами разбираются в статье Ф. Ремера,[38] суммировавшего pro et contra дискуссии по поводу «книги Агриколы» (об этом – далее) и приведшего ряд известных среди тацитоведов конъектур фрисландского гуманиста. Ремер уделяет больше внимания Плинию, мы же, наоборот, сосредоточимся на Таците. Итак, что свело с Агриколой филологов нового времени? Не претендуя на подробный анализ, изложим кратко историю вопроса.[39]

Рукопись Агриколы, содержавшую текст Тацита, открыл Кларенс Менделл в 1951 году; идентичность почерка **L** была установлена Э. Хулсхофом-Полом в предисловии к фототипическому изданию. Codex Leidensis, написанный Агриколой в период его жизни во Флоренции, включал второй массив «Анналов» (с 11-й книги) и «Истории».

---

[37] *Aristoph. Nub.* 94.

[38] *F. Römer.* Agricolas Arbeit am Text des Tacitus und des jüngeren Plinius // RAP, 159-169. Односторонний взгляд Ремера на рукописную традицию Тацита и несправедливое, на наш взгляд, умаление значения филологической деятельности Агриколы (она, по мнению Ремера, не определяет его значения для европейского гуманизма) позволяет согласиться с ним лишь отчасти.

[39] Мы выражаем признательность А. Б. Черняку, введшему нас в тацитовскую проблематику. Заинтересованностью «проблемой Агриколы» мы также во многом обязаны курсу занятий А. Б., посвященных истории рукописей Тацита (1993 г.). Фототипический экземпляр *Stuttg.*, которым нас снабдил А. Б., дал возможность проверить некоторые чтения Агриколы.

До открытия **L** относительно рукописной традиции второго массива «Анналов» и «Историй» был в основном достигнут консенсус: главной рукописью является беневентский codex Mediceus II, относящийся к XI веку; к нему возводили все т. н. recentiores, числом 34 – списки, сделанные гуманистами, текст которых в большей или меньшей степени интерполирован. Было известно и о существовании некоего liber Agricolae; этим изданием пользовались Беат Ренан, Юст Липсий и Теодор Рик, но после Рика (и до Менделла) никто его не видел.

Новонайденный Leidensis имел все шансы на то, чтобы попасть в список recentiores как рядовой codex deterior. Но качество кодекса Агриколы настолько превосходило все прочие гуманистические списки, что Менделл[40] сразу же объявил его независимым от медичейской рукописи. Дискуссия, начавшаяся с выходом в свет статьи Менделла, продолжается по сей день. Общий энтузиазм, вызванный его находкой, привел к тому, что Эрик Кестерман в своем издании «Историй», вышедшем через 10 лет после открытия Менделла, воссоздавал текст Тацита на основе **M** и **L** как двух независимых друг от друга традиций. Позиция Кестермана была усилена в особенности тем, что путаница текста в 4-ой книге «Историй» (т. н. третья инверсия) была устранена в **L**.[41] Но Хулсхоф-Пол обратил также внимание на сходство почерков **L** и пометок на полях находящегося в штуттгартской библиотеке экземпляра венецианской editio princeps «Историй» (ок. 1472 г.). Эта книга была собственностью Дитриха фон Пленингена. Так было установлено, что Агрикола – автор исправлений *Stuttg*. Далее выяснилось, что многие чтения **L** обнаруживаются в *Stuttg*. в качестве маргиналий.[42] Подозрения в зависимости **L** от **M** усилились, так как многое говорило в пользу приоритета корректур инкунабулы. В 1965 г. сам Кестерман признал, что **L** создан на основе **M**; при этом он делает оговорку, что исправления **L** следуют независимой традиции.[43] В результате более подробного анализа взаимосвязи **L** и *Stuttg.*^{2} Ремером в 1976 году было

---

[40] Ср. его очерки в American Journal of Philology 72 (1951), 337–345; 75 (1954), 250–270.

[41] *P. Corneli Taciti* Libri qui supersunt / Ed. E. Koestermann. Vol. II. 1: Historiarum libri. Lipsiae 1961, X.

[42] И не только маргиналий. Внимательно разглядывая текст *Stuttg.*, мы убедились, что пометы имеются и между строк. Иногда Агрикола просто вычеркивает буквы. Кестерман рассмотрел далеко не все случаи совпадения правок Агриколы с текстом **L**, и даже пометка *Agr.* в его издании относится только к некоторым Sonderlesarten из *Stuttg.*^{2}.

[43] *P. Corneli Taciti* Libri qui supersunt / Ed. E. Koestermann. Vol. II, 2: Annalium libri. Lipsiae 1965, XX.

установлено, что они представляют собой два взаимозависимых этапа на пути создания лучшего текста Тацита;[44] методом Агриколы была конъектуральная критика, залогом успеха которой служило блестящее знание языка.

Наконец в Вене под руководством Рудольфа Ханслика был проделан подробный анализ и коллация всех рукописей для семи книг «Анналов» и «Историй». Эта работа как будто бы показала, что **L** есть не что иное, как особенно сильно интерполированный член группы рукописей β. В работах К. Уэлсли[45] и – в последнее время – А. Б. Черняка[46] возобновлены попытки доказать независимость **L**. В предисловии к новейшему изданию «Историй» в серии Бюде, где подробно разбираются все возможности, Жозеф Эльгуарк, признавая уникальность **L** и воздерживаясь от категорических заключений, все же в целом склонен считать этот кодекс зависимым от **M**.[47]

Мы не хотели бы безоговорочно соглашаться с мнением Ремера, но следует признать, что знакомство с Агриколой-гуманистом, принципами его подхода к тексту усиливает аргументацию тех ученых, которые считают гуманистическими конъектурами те варианты текста, в которых другие исследователи видят отражение независимой древней рукописной традиции. Обратим внимание на самое, пожалуй, известное из писем Агриколы, обращенное к Жаку Барбиро (Iacobus Barbirianus) и озаглавленное *De confirmando studio*. Агрикола, недовольный уровнем знаний своих соотечественников в области классической филологии, настаивает на тщательном изучении авторов. В связи с затронутым выше вопросом интерес вызывает главным образом метод чтения, который Агрикола предлагает будущим ученикам. Этот метод состоит в том, чтобы, анализируя текст, каждый раз тщательно продумывать, какие другие слова *мог бы* употребить тот или иной писатель на месте тех слов, которые он действительно употребил. Мы уверены, что сам Агрикола руководствовался в своей работе над текстами этим методом, предполагающим, что ученый, достигший совершенства в сравнительном анализе подобного рода, чувствует себя вправе ис-

[44] *F. Römer*. P. Corneli Taciti Annalium libri XV–XVI. Wien 1976, LVIII–LXVII.

[45] *K. Wellsley*. In Defence of the Leiden Tacitus // Rheinisches Museum 110 (1967), 210–224. Признавая попытки Уэлсли безуспешными, Ж. Эльгуарк (*Tacite*. Histoires / Texte établi et taduit par P. Wuilleumier et H. le Bonniec. Annoté par J. Helleguarc'h. Paris 1987, 47) выражает мнение большинства ученых.

[46] *А. Б. Черняк*. Рукописная традиция второго массива «Анналов» и «Историй» Тацита // Hyperboreus I, 1 (1994), 138–150.

[47] *J. Helleguarc'h*. Op. cit., L.

править чтения рукописной традиции. Это право давала гуманистам прежде всего неоспоримая для них ущербность текстов, вещественные доказательства которой они, как никто другой, всегда имели перед глазами.

Принять традиционную точку зрения тем более соблазнительно, что она как раз и делает особенно важной для нашего рассмотрения работу Агриколы-критика, проделанную с недюжинным талантом и замечательным видением текста. Там, где тацитовские рукописи, возможно, потеряли, Агрикола определенно выиграл. В последнее время издатели, не особенно сомневаясь, вносят в текст улучшения **L** и *Stuttg.*[2] Поэтому, на наш взгляд, даже если будет когда-нибудь абсолютно достоверно установлено, что Агрикола имел доступ к независимой ранней традиции, для Тацита изменится немногое. Но пока это не доказано, будем считать улучшения Агриколы его собственной заслугой.

Сказанное проиллюстрируем на примере некоторых знаменитых пассажей Тацита, к которым приложил руку Агрикола.

> *Ann.* XI, 30, 2: Is *(Narcissus)* veniam in praeteritum petens, quod Titios, Vettios, Plautios (**L** – **Agr.** // ei cis vetticis plautio **M**) dissimulavisset, nec nunc adulteria obiecturum ait…

Это одно из лучших достижений Агриколы. В бессмысленном чтении **M** «ei cis vetticis plautio» он усмотрел перечисление любовников Мессалины: Тиция Прокула (XI, 35). Веттия Валента (XI, 31) и Плавтия Латерана (XI, 36). Для Нарцисса, который сообщает Клавдию о распутстве его жены, эти имена, перечисляемые с явным пренебрежением, служат символическим обозначением позорных связей Мессалины, чем мотивируется множественное число. Любопытно, что это же самое исправление было впоследствии предложено Бротье, незнакомым с конъектурой Агриколы.

> *Ann.* XV, 17, 1: Ducum inter se brevis sermo secutus est, hoc conquerente (**Agr.** // conquerentium **M**, cett.) irritum laborem; potuisse bellum fuga Parthorum finiri. Ille *(Petus)* integra utrique cuncta respondit.

Агриколой было впервые замечено, что в разговоре между Корбулоном и Петом только первый имеет причины для жалоб на бесполезный поход. Ведь Цезений Пет, благодаря невежеству которого парфянская экспедиция и закончилась неудачей, продолжает считать дальнейшее наступление на Армению возможным. Поэтому, несмотря

на то, что вся традиция соединяет причастие с ducum, Агрикола изменяет множественное число на единственное, очевидным образом улучшая текст.

> *Ann.* XV, 46, 1: gladiatores apud oppidum Preneste temptata eruptione praesidio militis, qui custos aderat (**Agr.** // adesset **M**, cett.) coerciti sunt.

Здесь Агрикола, меняя наклонение глагола, уводит от ненужного целевого смысла. Чисто определительное придаточное предложение явно отвечает мысли Тацита: простой охранник сдержал гладиаторов; следовательно, бунт был ничтожным, но (ср. далее – XV, 46, 2–3) ничтожное событие породило, как и во многих других случаях, большое волнение, и в народе стали вспоминать о Спартаке.

Замечателен также пассаж, где о Нероне-колесничем говорится, что он ехал circulo – «в кругу» – *Ann.* XV, 44. Между тем, это слово обычно не означает «игралищный круг» – цирк; маловероятно и значение «в поясе». Только Агриколе пришло в голову гениально простое исправление curriculo.

В некоторых случаях чтения Агриколы, хотя и не принимаются большинством издателей, вполне достойны того, чтобы все-таки быть признанными за подлинный текст Тацита. Примером здесь может служить *Hist.* II, 18, 2:

> Sed indomitus miles et belli ignarus correptis signis vexillisque ruere et retinenti duce tela intentare, spretis centurionibus tribunisque: quin pro (**Agr.** // qui pro **M** // [qui] pro<di> *Koestermann*) Otthonem et accitum Caecinam clamitabant.

Римский гарнизон Спуринны, поддерживающий Оттона, должен был противостоять Цецине. Узнав о приближении последнего с большой армией, солдаты хотят выйти ему навстречу. Но Спуринна понимает, что не сможет сражаться в открытом поле против значительно превосходящего количеством и опытностью войск Цецины. Он пытается с помощью центурионов и военных трибунов удержать солдат. Однако те не обращают на призывы офицеров и самого полководца никакого внимания. Далее следует спорное место. Традиционное чтение «qui» решительно не может быть принято, так как в противном случае придется заставить верных центурионов кричать о том, что призван Цецина. Однако решение Кестермана – вовсе исключить «qui» – представляется слишком радикальным и неоправданным текстологически. Гораздо привлекательнее выглядит конъектура Агри-

колы – «quin», что с индикативом будет означать «даже». Видимо, главный вопрос, занимавший Кестермана, был: как примирить «pro» и аккузатив «Otthonem»? В результате было создано «prodi» и возник accusativus cum infinitivo при «clamitabant». Жозеф Эльгуарк принимает в текст оба исправления: «воины даже (quin) кричали, что предан Оттон (prodi Otthonem) и призван Цецина». Возможно, экономнее исправить «Otthonem» на «Otthone»: «воины кричали в защиту Оттона (думая, что центурионы, трибуны и полководец изменили ему) и что призван Цецина (т. е. упрекали командиров в том же предательстве)». Такая стилистическая шероховатость вполне в духе Тацита, а путаница между окончанием аблатива и аккузатива здесь вполне допустима и могла даже казаться Агриколе недостойной упоминания, если он понимал дело именно таким образом (иначе как он справлялся с аккузативом, следующим за «pro»?)

Объектом полемики стало и другое исправление Агриколы: *Ann.* XV, 18, 2:

> Nero frumentum plebis vetustate corruptum in Tiberim iecit, quo securitatem annonae ostentaret (**Agr.** // sustentaret **M**).

Недоволен агриколовской правкой на этот раз Ремер. Он справедливо указывает на то, что Тацит здесь подразумевает не объективную достоверность, но субъективную уверенность; это значение и имеет securitas. Однако проблема в том, стремится ли Нерон поддержать (sustentare) субъективную уверенность толпы в сохранности урожая или выставить напоказ (ostentare) *свою* субъективную в этом уверенность. Последнее, учитывая стремление Тацита в каждом возможном случае продемонстрировать безумие Нерона и его времени, также не представляется невозможным. Ганс Фукс принимает это чтение в текст.

Как бы то ни было, спорить можно в небольшом количестве случаев. Гораздо чаще через призму эмендаций Агриколы бесспорно просматривается подлинный текст Тацита.

Конъектурами Агриколы специально почти не занимались. Поэтому широко известными, прежде всего благодаря Ремеру, стали (сравнительно с общим числом поправок Агриколы) лишь немногие пассажи. Добавим поэтому к вышеуказанным примерам несколько мест, в которых не менее ярко проявился талант Агриколы. В первую очередь мы хотим обратить внимание на исправление в одном из самых прославленных мест тацитовского корпуса. Имеется в виду письмо Нерона в сенат после убийства Агриппины (*Ann.* XIV, 11, 2):

Temporum quoque Claudianorum obliqua (**Agr.** // oblita **M**, cett.) insectatione cuncta eius dominationis flagitia in matrem transtulit *(Nero)*, publica fortuna exstinctam referens.

Традиционное чтение oblita, естественно согласующее причастие с flagitia, что, ввиду уже имеющегося определения к flagitia – cuncta, не совсем стилистически удачно, дает тривиальный и, более того – психологически неверный в данном случае смысл: Нерон вспоминает *забытые* (?) безобразия времен Клавдия, чтобы переложить их на мать. Но тацитовское описание пугающего риторического мастерства матереубийцы спасено блестящей конъектурой Агриколы: для того, чтобы выгородить своего благодетеля Клавдия, Нерон обличает пороки его правления в форме «*косвенного* порицания», то есть так, чтобы незаметно сделать *прямой* причиной преступлений Клавдия Агриппину. Только *abl. instr.* insectatione *obliqua* сообщает тексту Тацита его исконную силу.

Hist. I, 38, 1: Vidistis, commilitones, notabili tempestate etiam deos infaustam adoptionem aversantes (*Stuttg.*[2]; **L–Agr.** // adversantes **M**, cett.).

Это исправление Агриколы, не меняя существенно смысл текста, свидетельствует тем не менее о глубине его знания языка классических авторов. Конечно, и adversari, и aversari означает «противиться», и Отон в своем обращении к воинам хочет сказать, что принятие Гальбой в соправители Пизона неприятно богам – они наслали бурю. Немногим современникам Агриколы традиционный текст показался бы подозрительным. А между тем adversari не употребляется с accusativus rei.

Hist. II, 78, 3: Est Iudaeam inter Syriamque Carmelus: ita vocant montem deumque. Nec simulacrum deo aut templum – sic tradidere maiores – ara tantum et reverentia (**Agr.** // aram … reverentiam **M**, cett.).

В этом случае Агрикола заметил явную ошибку традиции, не воспринявшей эллиптическую конструкцию и сделавшей (на это указывают аккузативы aram и reverentiam) слова «simulacrum» и «templum» прямыми дополнениями при vocant. Речь, конечно, не идет о том, что Кармелом не называется статуя или храм. По обычаям иудеев нет изображений, есть лишь алтарь и культ божества.

То, что Агрикола прекрасно ориентируется в реалиях, показывают точные исправления имен собственных. Сюда относятся *Ann.* XV,

72, где Агрикола уничтожил неизвестного Петрония Турпиана, поняв, что речь идет о консуле 61 года Петронии Турпилиане; *Hist.* III, 43, где благодаря конъектуре Агриколы из бессмысленного maturae восстанавливается имя Матура, то есть того же самого прокуратора Мария Матура, о котором шла речь ранее; *Hist.* III, 79, где ближе не известный Туллий Флавиан был заменен Агриколой на префекта конницы Юлия Флавиана, и т. д.

Признавая заслуги Агриколы-классика, мы не забываем, что иногда он исправляет текст совершенно произвольно. Ср., например, два места из одной книги «Анналов»:

> *Ann.* XVI, 26, 1: De ipso Thrasea eadem… dixerunt (**M** // **Agr.** nihil de ipso Thrasea dixerunt); *Ann.* XVI, 1, 2: *(columnae)* quae per tantum aevi occulta augendis praesentibus bonis (**M** // **Agr.** nihil portant verum occultandis praesentibus bonis).

Такие «исправления» можно расценить как волюнтаристские, невозможные ни в текстологическом, ни в смысловом отношении. Метод Агриколы, которому он, думается, научился в Италии, имел своим главным недостатком склонность ученого к нормализации античного текста. Так, intolerantior Агрикола *везде* заменяет на intolerabilior, хотя у Тацита возможно и первое. И все же Агрикола-критик стоит на исключительном для своего времени уровне. Это подтверждается тем, что его исправления совпадают с некоторыми лучшими чтениями неизвестной ему генуэзской рукописи ***p***, обработанной издателем Андреа де Бусси. Ср., напр., *Hist.* II, 14, 1, где нелепое «mire virorum alam» заменено на «Trevirorum alam» (ср. II, 14, 3: Trevirorum turmae) – Фабий Валент посылает в Нарбоннскую Галлию конницу Треверов.

Работа Агриколы над текстами Плиния Младшего – автора, дошедшего в лучшей и более обширной традиции, нежели Тацит, – привлекает в последнее время гораздо меньшее внимание исследователей.[48] Между тем мы имеем здесь параллельную картину. Также существуют editio princeps 1471 года (инкунабула, принадлежавшая тому же фон Пленнингену, подобно тацитовскому Spirensis, попала через Кобург в Штуттгарт); кодекс, написанный в феврале 1478 года для Дитриха фон Пленингена в Ферраре и тоже находящийся в Лейдене (**L**); и, наконец, еще одна фер-

---

[48] Роджер Майнорс (*C. Plini Caecili Secundi* Epistularum libri X / Rec. R. A. B. Mynors. Oxford 1963) привел для некоторых ненадежно засвидетельствованных писем один из кодексов Агриколы. См.: *F. Römer.* Op. cit., 163.

рарская рукопись того же времени (**P**). Хотя текст этой последней рукописи написан не Агриколой, он просмотрел и исправил ее. Означает ли это уверенность в своих силах или знакомство с лучшей традицией? В стемматическом отношении, отмечает Ремер, **L** и **P**, в которых встречаются характерные только для них исправления, образуют в рамках группы рукописей γ(δ) отдельную подгруппу. Это обстоятельство, а также то, что **L** написан другой рукой, дает Ремеру право осторожно предположить, что здесь в большей степени, чем в случае с Тацитом, кодексы Агриколы имеют право на некоторую стемматическую самостоятельность.[49]

Для нас, опять-таки, интерес представляют те места, где совпадение пометок **Inc.**, исправлений **P** и чтений **L** (**=Agr.**), противоположных γ(δ) и другим группам, дает возможность судить об уровне филологических занятий Агриколы

> *Ep.* I, 20, 15: Respondi posse fieri, ut genu esset aut tibia, aut talus (**Agr.** // genuisset aut sibi, aut aliis γβ), ubi ille iugulum putaret.

Контекст этого пассажа таков: Плиний спорит с Регулом, который считает, что при разборе оратором предмета следует не входить во все его подробности, но сразу же «хватать за горло» (т. е. «брать быка за рога»). Далее следует возражение самого автора, причем традиция не только не сохраняет остроумия Плиния, но вообще не дает никакого смысла. Плиний отвечает Регулу, что при невнимательном и неполном изучении вопроса на месте горла, за которое он, Регул, хочет схватить, «может оказаться колено, или голень, или лодыжка». Анатомический триколон, воссозданный Агриколой, текстологически удачно заменяет бессмысленное «genuisset aut sibi, aut aliis».[50]

> *Ep.* IX, 40, 3: Addas (**Agr.** // non addas γα) huc licet ver et autumnum (**Agr.** // vere γ tantum numquae γα), quae inter hiemem aestatemque media (**Agr.** // statim γ aestatemque mediam γα), ut nihil de die perdunt, de nocte parvulum adquirunt.

На этой фразе, последней в собрании частных писем Плиния, заканчивается послание к Фуску, в котором Плиний рассказывает о своем времяпрепровождении зимой в лаврентийской усадьбе. Фуск уже

---

[49] *F. Römer*. Op. cit., 162.

[50] Современные издатели, правда, не решаются принять в текст tibia, но исправление genuisset на genu esset поддерживается ими единодушно.

осведомлялся о том, что Плиний поделывает летом в этрусском поместье; теперь он интересуется зимними занятиями адресата. Они, отвечает Плиний, почти не отличаются от летних. Далее в традиции следует совершенно неясное место, скрывающее – это и подметил Агрикола – простой и изящный текст. «Расписание» Плиния не меняется и в межсезонье: днем он работает не меньше, ночью, пожалуй, даже больше, чем летом или зимой. Так, думается, Плиний предупреждает чисто эпистолярный интерес Фуска к его занятиям.

Иногда Агриколой, по внешним причинам, не могло быть сделано верное исправление. Оценим тем не менее остроумие одного из подобных его предложений:

> *Ep.* I, 3, 3: Quin tu – tempus enim – humiles et sordidas curas aliis mandas…? (αβ // Quin tu ipse γ (из tps) // Quin tu contemnis sollemnibus curas aliisque mandas? **Agr.)**

Следует добавить, что в инкунабуле, доступной Агриколе, также отсутствовало enim рядом с tempus. Агрикола, таким образом, оказался перед лицом очень непростой проблемы. В одной части известной ему традиции было ни с чем не соотносимое, но и невозможное без enim в качестве парентезы tempus, в другой – немотивированное ipse. Агрикола меняет текст на «contemnis»: «почему бы тебе не презреть низменные и недостойные заботы и не поручить их другим». Конечно, для этого потребовалась дополнительная конъектура «aliisque», но она минимальна и следует, как нам кажется, признать, что доступную ему неисправную традицию Агрикола обратил в наилучший со всех точек зрения текст.

Мы вспомнили лишь немногие наиболее удачные эмендации Агриколы.[51] Хотя, что естественно, ему не всегда удавались «прямые попадания», дивинационным даром он намного превосходит всех современных ему ученых – в особенности, конечно, соотечественников, так что даже его ошибки должны были быть предметом их гордости.

От писаний Агриколы не следует ждать богатства смысла и оригинальности содержания. Основная заслуга его эпохи состоит в том, что она заново обращается к памятникам античной словесности, открывая новый этап в их исследовании, продолжающийся и по сей день.

---

[51] Плиний проиллюстрирован нами менее подробно, однако на деле точных исправлений здесь больше, чем у Тацита – так как и текст Плиния более нормализован, и рукописная традиция лучше.

Личность Агриколы недолго жила в веках, но его работа, которая давала и дает возможность ex ipso fonte наслаждаться античными авторами, на наш взгляд, немало способствовала влиянию и славе фрисландского гуманиста. Большинство из предложенных им чтений было включено в текст позднейшими издателями, так что XX и XVI века оказались солидарны в признании гениальности дивинационных прозрений Агриколы. Именно эта сторона его деятельности, ценность филологического труда гуманиста и для ближайших к нему, и для отделенных от него столетиями ценителей античности выступает на первый план.

Как было сказано, Тацит и Плиний, увы, единственные авторы, работу Агриколы над текстами которых можно проследить. Утеряны следы рукописи Сенеки, с учетом которой Эразм готовил базельское издание 1529 г. Экземпляр, переписанный рукой Агриколы и с его пометками на полях, доставил Эразму Гайо Германус.[52] «Incredibile vero, quam multa divinavit vir ille, plane divinus», – отзывается об этом тексте Эразм,[53] и мы получаем, таким образом, единственную достоверную мотивировку его восхищения Агриколой.

Издание Лукиана, с которого Агрикола делал свой перевод и которое почти наверняка содержало его правку – тем более ценную для нас, что о работе Агриколы над греческими текстами вообще ничего нельзя сказать – исчезло бесследно, точно так же, как тексты Платона и Аристотеля, которые он читал (и, очевидно, правил) вместе с Газой. Иоганн Дальберг занимался Плинием, но мы также знаем о его конъектурах к Квинтилиану. Резонно предположить, что Квинтилиан, у которого и в те времена учились красноречию, интересовал с текстологической точки зрения также ближайшего друга Дальберга – Агриколу. Наверняка были и другие латинские, а скорее всего – и греческие авторы, выигравшие от исследований их текста фрисландским филологом. Работа Агриколы над ними не засвидетельствована, но их имели на руках гуманисты двух поколений, для которых вышеуказанные и подобные им улучшения Агриколы, наталкивавшие на правильный текст, были чем-то вроде чуда.

Итак, именно этот труд Агриколы, труд, вызывающий похвалы филологов-классиков, мы предлагаем рассматривать как основной источник его авторитета. XVII и XVIII вв. – века просвещения, уделявшие текстологии не столь пристальное внимание, как новейшие времена,

---

[52] *L. Horawitz, K. Hartfelder.* Briefwechsel des Beatus Rhenanus. Leipzig 1886, 612.
[53] *Erasmi* Opera... III, 2, 1145 e.

Агриколой пренебрегают. Личность его вновь попадает в центр внимания в ту эпоху, когда объектом науки опять становится восстановление текста классических авторов, некогда вызванных из небытия энергией филологов Ренессанса. Именно неоспоримые способности Агриколы-текстолога, которые благодаря хождению в современном ему научном мире списков и инкунабул *могли быть и были по достоинству оценены современниками*, создали ему славу «первого немецкого гуманиста». И, может быть, как раз эту сторону деятельности Агриколы имел в виду Эрмолао Барбаро, сочиняя знаменитую эпитафию:

Invida clauserunt hoc marmore fata Rodolphum
  Agricolam, Phrisii spemque decusque soli
Scilicet hoc vivo meruit Germania laudis
  Quicquid habet Latium, Graecia quicquid habet.

Г. И. Гинзбург

Г. К. КЕЛЕР И БИБЛИОТЕКА ЭРМИТАЖА

В истории эрмитажной коллекции в целом, а книжного собрания в особенности, значительна роль хранителей, прежде всего таких, кто не только выполнял служебные обязанности, но и находил в соответствии со своими научными интересами обширное поле деятельности, прямо или косвенно связанное с повседневной хранительской работой.

В большинстве эрмитажные хранители (XVIII–XIX вв.) не имели предварительной профессиональной подготовки,[1] так что эффективность их деятельности, связанной с хранением, систематизацией и экспозицией,[2] зависела главным образом от их общекультурной ориентации и умения лавировать в сложных условиях совместного хранения библиотеки и других коллекций: монет и медалей, резных камней,

[1] *Ж. Павлова.* Императорская библиотека Эрмитажа. 1762–1917. Tenafly; NY 1987, 31–37.

[2] Хранителям эрмитажной библиотеки пришлось решать проблемы библиотечной экспозиции в период с 1796 г., когда книгохранилище переместилось из личных апартаментов Екатерины II в Корпус Лоджий Рафаэля. Здесь находилась не только библиотечная мебель, но и множество произведений искусства (скульптуры, вазы и др.). Эти проблемы еще более обострились в период 1852–1862 гг., когда эрмитажная библиотека являлась «Библиотекой-Музеем». В парадных помещениях первого этажа Нового Эрмитажа была развернута импозантная библиотечная экспозиция, начинавшаяся с «Зала Манускриптов» и примыкавшего к нему «Зала Археологии», а заканчивавшаяся «Библиотекой Вольтера». Экспозиция была разработана в основном начальником 1-го Отделения Эрмитажа Ф. А. Жилем и описана им в очерке «Музей Императорского Эрмитажа» (СПб. 1861).

древностей («антиков») и пр. Многообразие обязанностей требовало постоянного совмещения библиотечной работы с такими занятиями, как обработка нумизматических коллекций непосредственно в Минцкабинете, в собрании древностей и т. д. Отнюдь не все эрмитажные хранители могли сочетать столь разнородные обязанности, квалифицировано выполняя трудоемкую библиотечную работу, причем приходилось считаться с жесткой регламентацией их деятельности как Придворной конторой, так и «высочайшими повелениями» владельцев эрмитажной библиотеки. Неусыпная августейшая опека и мелочный контроль сопутствовали деятельности хранителей буквально с первых дней существования библиотеки, история которой так богата не только многочисленными приобретениями, но и невосполнимыми потерями.[3] Неординарность обстановки и условий работы в эрмитажной библиотеке требовали от ее хранителей не только незаурядных знаний, но и способности действовать решительно и умело, осуществляя повседневную работу по формированию, хранению, систематизации и регулярному пополнению книжного собрания.

К числу хранителей такого типа можно отнести Г. К. Келера, который справедливо считается одним их первых профессионалов музейного дела. Многогранная и плодотворная деятельность Келера – это целая эпоха в истории библиотеки, Минцкабинета Эрмитажа, его уникального собрания древностей и других коллекций, хранителем которых он состоял 40 лет (1798–1837 гг.).[4]

Генрих Карл Эрнст Келер (Köhler) (1765–1838), адвокат по профессии, некоторое время работал библиотекарем в королевских библиотеках Дрездена и Берлина. В свой первый приезд в Россию в 1793 г. Келер посещал Эрмитаж и Царскосельский дворец. В этом же году он составил рукописное описание древностей, находившихся в Царскосельском дворце. 17-м ноября 1793 г. датировано прошение Келера к Екатерине II, в котором он просит принять его рукопись. К письму Келера была приложена рекомендация одного из наиболее деятельных поставщиков книг для императорской библиотеки – «придворного книгопродавца» И. Вейтбрехта. Эта рекомендация, имевшая решающее значение не только для опубликования упомянутой рукописи Келера,[5]

[3] *Ж. Павлова.* Указ. соч., 59–60.

[4] ААН, ф. 4, оп. 5, д. 18/289–1 (послужной список Е. Е. Келера); *И. Г. Спасский.* Нумизматика в Эрмитаже: Очерк истории Минцкабинета–Отдела нумизматики // Нумизматика и эпиграфика 8 (1970), 133–148.

[5] Journal von Rußland № 1 (1794), 337–355; 403–412; № 2 (1794), 8–16.

но и для последующей его карьеры, интересна еще и тем, что дает подробную характеристику научных интересов Келера.[6]

Келер был заметной фигурой в научных кругах Петербурга. По протекции президента Академии наук А. Л. Николаи в 1798 г. он был определен на службу в Эрмитаж – назначен библиотекарем эрмитажной библиотеки,[7] а также хранителем Минцкабинета, коллекции древностей и других, входивших в состав 1-го Отделения Эрмитажа. В отличие от своих коллег, занимавших должность «помощника библиотекаря»,[8] но работавших только в Минцкабинете, Келер осуществлял больший объем работ и в библиотеке, начиная с комплектования, которое до него определялось главным образом предпочтениями владельцев библиотеки. Келер же стремился регулярно пополнять фонд книг и периодики в соответствии с потребностями музейно-хранительской работы. Совмещение в одном лице библиотекаря и музейного хранителя оказалось благоприятным для формирования в Эрмитажной библиотеке уникального собрания книг по античной археологии, широко использовавшегося в музейной работе разных лет. В характеристике книжного и рукописного фонда по античной археологии Ф. А. Жиль, сменивший Келера на посту заведующего 1-м Отделением Эрмитажа, подчеркивал не только обширность и ценность этого собрания, но и указал наиболее редкие, малотиражные, не поступавшие в продажу издания, хранившиеся тогда в «Зале Археологии»,[9] а среди них особо выделил сочинение самого Келера «О Вакхе».

Келер широко использовал традиционные источники новых поступлений, лично отбирая книги в магазинах, из предлагавшихся для продажи книжных собраний,[10] «даров», а также расширяя уже сложившуюся к тому времени систему иностранных корреспондентов, отби-

---

[6] «Сочинитель оного (манускрипта) есть некто Е. Келер, немецкий ученый, искусившийся в знании мертвых языков: греческого и латинского, любитель и знаток всего, имеющего отношение к древностям и произведениям художества…» (цит. по: *Ж. Павлова*. Указ. соч., 54).

[7] Е. Е. Келер (некролог) // ЖМНП 22 (1839), отд. 3, 4–5.; *И. Г. Спасский*. Указ. соч., 133.

[8] Ф. Круг (1764–1844) был зачислен в Эрмитаж в 1805 г. помощником библиотекаря. Работал только в Минцкабинете Эрмитажа и в Минцкабинете Кунсткамеры (ААН, ф. 88. оп. 1. № 139). Ф. Грефе (1780–1851) в 1817 г. был зачислен в Эрмитаж помощником библиотекаря. Работал только в Минцкабинете Эрмитажа и в Минцкабинете Кунсткамеры, а также преподавал в Университете. См.: *И. Г. Спасский*. Указ. соч., 144.

[9] *Ф. А. Жиль*. Указ. соч., 124–125.

[10] Наиболее значительными из приобретений при Келере были собственная библиотека Александра I (АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1814), д. 4, л. 1); собрание архитектора Тома де

равших нужные для эрмитажной библиотеки издания, как новые, так и для восполнения лакун.

Именно по поводу комплектования Келеру постоянно приходилось сталкиваться с противодействием Придворной конторы и даже с царем, лично контролировавшим расходы вплоть до счетов на оплату новых поступлений.[11] Все новые и новые распоряжения сковывали целенаправленные действия Келера, от него постоянно требовали обоснований необходимости приобретения той или иной книги, что было невыполнимо, если имелись в виду заказы иностранных корреспондентов в течение года, счета на которые приходили в Придворную контору только в конце данного года.[12] Одно из подобных столкновений закончилось увольнением Келера,[13] вскоре снова принятого в Эрмитаж, но уже на вновь учрежденную должность «начальника 1-го Отделения Эрмитажа». Обязанности Келера в новом чине практически не отличались от прежних; снова высказывалось разного рода «неудовольствие» относительно расходов на приобретение книг, и Келер, как и прежде, должен был оправдываться, чтобы добиться приобретения нужных изданий.[14] Такого рода стойкость в отстаивании интересов библиотеки, музейно-хранительской работы характерна для Келера и неоднократно проявлялась также в других его действиях на библиотечном поприще. Тем не менее в связи с многообразными обязанностями в Минцкабинете и хранительскими функциями в интенсивно пополнявшемся собрании «антиков» Келер не мог лично выполнять трудоемкую библиографическую работу в библиотеке, «равнодушие» к которой вменялось ему в вину. Поводами к такого рода обвинениям являлись многочисленные недоделки в каталогизации и систематизации непрерывно разраставшегося фонда книг, рукописей, многообразных изобразительных материалов,[15] недостаточность шкафов, площади для их хранения. Об этом, как и по поводу увеличения штатов библиотечных ра-

---

Томона (АГЭ. ф. 1, оп. 1 (1817), д. 6); библиотека А. С. Власова (1777–1825) (АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1829), д. 13, л. 2); библиотека П. К. Сухтелена (1751–1836) (АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1836), д. 26, л. 1; РГИА, ф. 469, оп. 8 (1836), д. 330); и др.

[11] АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1818), д. 6 (в деле приказ Александра I о покупке книг только с его разрешения).

[12] РГИА, ф. 469, оп. 8 (1824), д. 245, л. 3.

[13] РГИА, ф. 466, оп. 1 (1817) д. 246 («Об увольнении библиотекаря с. с. Келера и об определении на его место кол. сов. Круга»); *И. Г. Спасский.* Указ. соч., 144.

[14] АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1820), д. 7; РГИА, ф. 469, оп. 8 (1824), д. 15.

[15] Рапорт Келера о недостаточности места для размещения новых поступлений и необходимости «среднюю комнату очистить от заставляющих ее яшмовых канделябров, античных и прочих бюстов и статуй»: РГИА, ф. 469, оп. 8 (1836), д. 345.

4 Зак. 3004

ботников, их отбора в зависимости от квалификации, Келер писал в рапортах, прося содействия – но решение этих вопросов зависело не от него.[16]

В непосредственном ведении Келера была и библиотека Вольтера, условия хранения которой строго регламентировались.[17] Именно при Келере была составлена пошкафная опись вольтеровского собрания,[18] которой пришлось длительное время заниматься в ущерб каталогизации собственно библиотечного фонда в целом. Примечательно, что первую страницу этой пошкафной описи скопировал Пушкин во время своей работы в библиотеке Вольтера, в пору, когда там служил Келер.[19] В сущности, никто кроме Келера не мог предоставить Пушкину эту первую эрмитажную опись изолированно хранившегося вольтеровского собрания, так как она являлась тогда сугубо служебным документом.

Именно Келеру были адресованы предписания Придворной конторы «О допущении известного Сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Ермитаже библиотеку Вольтера»,[20] по поводу чего Келеру предлагалось сделать соответствующие распоряжения,[21] а вернее – обеспечить их личное выполнение, что предполагало непременное присутствие хранителя.

---

[16] *Ж. Павлова.* Указ. соч., 62–63.

[17] АГЭ, ф. 1, оп. 1 (1837), д. 1, л. 11.

[18] АГЭ. ф. 1, оп. 1 (1837), № 9, на 28 листах: «О приеме Вольтеровской библиотеки от д. ст. с. Келера» (в деле черновик распределения книг по шкафам).

[19] *Д. Якубович.* Пушкин в библиотеке Вольтера // Литературное наследство. Т. 16–17. М. 1934, 905–922. О том, что именно первую эрмитажную пошкафную опись просматривал Пушкин, свидетельствует само перечисление книг из раздела «Богословие», с которого начиналась расстановка вольтеровского собрания в Эрмитаже. Этот порядок расположения был установлен в 1779 г., когда секретарь Вольтера Ж. Ваньер поставил согласно традиции на первое место книги по богословию, тогда как Фернейский каталог, отражавший расстановку книг в библиотеке Вольтера в Ферне, начинался с истории. Фернейский каталог, в составлении которого участвовал сам Вольтер, поступил в Эрмитаж вместе с библиотекой Вольтера и хранился в ней, но не упоминался ни в одном описании вольтеровской библиотеки. Скорее всего, Пушкин также не знал о нем и, безусловно, не видел его, т. к. вряд ли тогда он стал бы копировать пошкафную опись, составленную к тому же его современниками и перебеленную писарем.

[20] РГИА, ф. 469, оп. 8 (1832), д. 124.

[21] АГЭ, ф. 1, оп. 8 (1832), д. 1, л. 1 (факсимильная копия с отношения Экспедиции Придворной конторы от 3 марта 1832 г. за № 22 по 1-му Отделению Имп. Эрмитажа). Подлинник передан «на вечное хранение в Собрание Пушкинского Дома» (Дело Имп. Эрмитажа, 1915, № 23, 6 марта 1915 г.).

Возможно, что в период работы Пушкина в библиотеке Вольтера (10–16 марта 1832 г.) здесь с ним встречался сын Келера – Д. Е. Келер (1807–1839), занимавшийся в то время переводом сочинения «Дневник Патрика Гордона»; в дневнике Келера сохранилась запись о беседе с Пушкиным.[22]

В период, когда Келер заведовал эрмитажной библиотекой, она находилась на 1-м этаже в Корпусе Лоджий Рафаэля. Библиотечная анфилада, замыкавшаяся залом, где была размещена библиотека Вольтера, запечатлена на картине А. В. Тыранова «Перспективный вид эрмитажной библиотеки» (1826). Именно такой могли видеть библиотеку Пушкин и те из его современников, кто получал право посетить обычно недоступное книгохранилище. Такого рода разрешения добился А. Б. Венецианов для своего 18-летнего ученика Тыранова, который не только воспроизвел импозантный библиотечный интерьер, но и создал портретную зарисовку хранителя библиотеки в процессе повседневной работы.[23] На картине нам предстает сидящий за круглым столом, сосредоточенно углубившийся в свою работу академик Келер,[24] в обязанности которого входило и обязательное присутствие в связи с посещениями разных лиц. В общении с посетителями библиотеки непосредственно проявлялось его личное отношение к каждому из них. Так, спустя год после посещения Пушкиным библиотеки соответствующего разрешения добился П. Свиньин, неоднократно и в прошлом посещавший эрмитажную библиотеку, которую он описал в одном из своих трудов.[25] Но если в хранящемся в Историческом архиве деле «О допущении… Пушкина» имеется только распоряжение Придворной конторы, то в пухлом деле Свиньина по аналогичному поводу[26] имеются его жалобы на Келера обер-гофмаршалу К. А. Нарышкину, а также распоряжения последнего, чтобы Келер не препятствовал «Свиньину по разным изысканиям его». Получив новую жалобу Свиньина, гофмаршал снова негодует, что «Начальник 1-го Отделения Эрмитажа действительный статский советник Келер вопреки Высочайшего

---

[22] *Ж. Павлова.* Указ. соч., 157–158.

[23] *Г. И. Гинзбург.* Изображения эрмитажных хранителей в произведениях художников-перспективистов XIX в. // Эрмитажные чтения памяти Б. В. Пиотровского: Тезисы докладов. СПб. 1995, 16–17.

[24] В 1817 г. Келер стал «ординарным академиком по части греческих и римских древностей» (*И. Г. Спасский.* Указ. соч., 133).

[25] *П. Свиньин.* Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. Кн. 4. СПб. 1821, 104–110.

[26] РГИА, ф. 469, оп. 8 (1833), д. 140 (начато 3 мая – окончено 22 июля).

повеления и сделанного ему потом от меня строжайшего предписания не доставляет г. Свинину требуемых им сведений, предлагаю Придворной конторе <…> действительному статскому советнику Келеру дать ордер, чтобы он требование исполнил без всякого замедления.»

Трудно судить, чем именно кончилось это дело, тянувшееся два с половиной месяца, в течение которых Келер отказывался выполнить Высочайшее повеление «О дозволении заняться статскому советнику Свинину описанием Императорского Ермитажа». Даже по приводимым в жалобе Свиньина репликам Келера нелегко понять, почему он так поступал, рискуя навлечь на себя еще одну немилость начальствующих лиц, но, несомненно, здесь проявилось его личное отношение к неоднократному посетителю, а, возможно, и стремление не поступаться своими систематическими занятиями по предписанию Придворной конторы. За этим эпизодом просматривается и напряженность обстановки, сложность условий, в которых протекала библиотечная деятельность Келера, постоянная регламентация его действий и решений, которая особенно ужесточилась в последний период его работы в Эрмитаже.[27]

[27] *И. Г. Спасский*. Указ. соч., 137–140.

А. Э. Хаусмен

О ПРИЛОЖЕНИИ РАЗУМА К ТЕКСТОЛОГИИ*

Перевод с английского В. В. Зельченко

Заявляя тему: «О приложении разума к текстологии», я не стремлюсь с самого начала определять значение термина *разум,* – смысл, придаваемый мной этому слову, станет, надеюсь, ясен из дальнейшего. Напротив, термин *текстология* настоятельно требует определения, поскольку множество людей, включая даже и тех, кто берется обучать этому предмету других, не знают, что это такое. Существуют книги, провозгласившие себя *введениями в текстологию*, в которых не найти ни единого слова о текстологии от первой страницы до последней; они посвящены палеографии, рукописям, коллации, а к текстологии имеют отношения не больше, чем если бы в них говорилось о морфологии и синтаксисе. Без сомнения, палеография – одна из наук, в знакомстве с которыми текстолог нуждается; то же можно сказать и о грамматике. Обе они необходимы – и обе, во всей совокупности, не способны ни на йоту приблизить нас к текстологии.

Текстология есть наука, и кроме того – поскольку она включает в себя рецензию и эмендацию – текстология есть искусство. Это наука находить в тексте ошибку и искусство эту ошибку исправлять. Таково

* Доклад, прочитанный 4 августа 1921 г. на заседании Кембриджской ассоциации классиков; первая публикация: Proceedings of the Cambridge Classical Association 18 (1921), 67–84. Перевод выполнен по изд.: The Classical Papers of A. E. Housman. Cambridge 1972 (далее CP). Vol. III, 1058–1069.– *Здесь и ниже примеч. перев.*

определение текстологии, таков смысл, который *разумеют* под этим словом. Мне придется, однако, упомянуть и о том, что следует, а чего, напротив, не следует под ним *подразумевать* – а именно о свойствах, присущих и не присущих текстологии; ибо и здесь мы сталкиваемся с ложными представлениями.

Прежде всего, это не окутанное тайной священнодействие: текстология всецело подчинена рассудку и здравому смыслу. Мы упражняемся в ней всякий раз, когда подмечаем и исправляем опечатку. Любой, кто обладает здравым смыслом и навыками рассуждения, не должен рассчитывать, что трактаты или лекции по текстологии сообщат ему об этой науке нечто такое, чего он не мог бы, при наличии досуга и прилежания, вывести самостоятельно. Единственное, чем могут помочь такому человеку лекции и трактаты – это сэкономить его время и силы, представляя в уже готовом виде те положения, к которым он, без сомнения, рано или поздно пришел бы сам. Больше того: все, что он прочтет о текстологии в книгах или услышит на лекциях, должно быть подвергнуто суду разума и здравого смысла; все, что вступит с ними в противоречие, следует отбросить как чистой воды очковтирательство.

Во-вторых, текстология – это не раздел математики и вообще не точная наука. Материал, с которым она имеет дело, не является застывшим и постоянным, подобно числам и линиям, – напротив, он текуч и изменчив: речь идет о слабостях и заблуждениях человеческого ума, а также пальцев – не всегда покорных рабов последнего. Отсюда следует, что материал этот невозможно подогнать под раз и навсегда заведенные правила. Будь это так, задача стала бы много легче; именно поэтому многие пытаются доказать существование этих правил или по крайней мере ведут себя так, будто в таковые верят. Разумеется, вы можете раз и навсегда установить для себя правила, если вам это нравится, но в таком случае ваши правила будут ложными и поведут вас по неверному пути – потому что из-за своей примитивности они окажутся неприложимы к решению проблем отнюдь не примитивных, но запутанных и осложненных вмешательством человеческой индивидуальности. Текстолог за работой совсем не похож на Ньютона, испытующего пути планет; его скорее можно уподобить псу, занятому ловлей блох. Если пес вздумает ловить блох по законам математики, опираясь на статистические данные об их ареале и численности поголовья, то никогда не поймает ни одной – или разве случайно. Блоха требует индивидуального подхода; точно так же и любая проблема, встающая перед текстологом, должна трактоваться как единственная в своем роде.

Итак, текстология – это не таинство и не математика: ее невозможно выучить ни как катехизис, ни как таблицу умножения. От того, кто приступает к этой науке (и к этому искусству), требуется нечто большее, чем просто пассивная восприимчивость; по правде говоря, текстологии вообще нельзя выучиться – criticus nascitur, non fit. Чтобы добиться успеха в ловле блох, пес должен быть проворным и бдительным; носорогу за это дело браться не стоит – он ничего не знает о том, где искать блох, а если бы даже и знал, не сумел бы поймать их. Однажды было сказано, что текстология – вершина и венец всей науки. Я не считаю эти слова очевидной и неоспоримой истиной; с чем действительно трудно спорить, так это с тем, что необходимые текстологу качества (исключительны ли они или нет) встречаются нечасто, и хороший текстолог есть явление куда менее распространенное, чем, к примеру, хороший знаток грамматики. Мне вспоминается статья одного известного ученого о некоем латинском авторе; в первой ее половине речь шла о грамматике, а во второй – о текстологии. Грамматическая часть была безупречной: автор обнаруживал широкую начитанность вкупе с основательностью наблюдений, а предложенные им решения были равно оригинальными и убедительными. В текстологической же части он более всего напоминал дурно воспитанного ребенка, вмешавшегося в разговор взрослых людей. Всякий раз, как представлялась возможность сделать ошибочный вывод, он его делал. Если доводы оппонента излагались в книге, которой у него не было под рукой, то вместо того, чтобы разыскать книгу, он пытался домыслить доводы – и всякий раз неудачно. Если книга все-таки оказывалась у него под рукой и он знакомился с доводами, то не понимал их, придавая словам своих оппонентов прямо противоположный смысл. Там, где другие ученые уже исправили испорченный текст, слегка изменив его, он предлагал изменения насильственные. Так можно быть ученым человеком и заслуженно вызывать восхищение в других областях знания, но при этом не иметь даже и задатков текстолога.

И все же приложение разума к текстологическим проблемам – это действие, которое должно быть под силу всякому, способному прилагать свой разум к чему бы то ни было вообще. В отличие от таланта к текстологии это не дар природы, а навык в ряду других навыков; как и все прочие, он может быть сформирован. Навык этот, разумеется, не заменит таланта, но зато способен смягчить и ослабить нежелательные последствия его отсутствия. Ибо если человек не родился законченным текстологом, из этого еще не следует, что он должен поступать так, будто родился законченным глупцом; между тем именно это зачас-

тую и происходит с теми, кто решается вступить в область текстологии. Всему на свете есть основания, и такому положению вещей в том числе; главные из них я собираюсь теперь перечислить. Тот *факт*, что разум в этой области применяется недостаточно, будет ниже подтвержден на примерах; а пока я рассмотрю *причины*, приведшие к такому результату.

Во-первых, не только природная склонность к этой науке встречается редко, но даже и неподдельный интерес к ней. Немалое число людей, в том числе и ученых, находят текстологию довольно сухой и довольно томительной. Если некий предмет нам неприятен, мы вольны уклоняться от тягостной необходимости размышлять о нем; но если так, то не лучше ли будет пойти до конца и уклониться от тягостной необходимости о нем писать? Именно так обыкновенно поступали британские ученые середины XIX столетия, когда никто в Англии и слышать не хотел о текстологии. Такое положение вещей не назовешь образцовым, но в нем были свои преимущества. Чем меньше людей рассуждают о том, в чем ничего не смыслят, тем меньше будет сказано вздора; к тому же и общественное мнение позволяло издателям умалчивать о текстологических проблемах, если им не хотелось о них говорить. Нынешнее же общественное мнение признает текстологию делом хоть и неприятным, но все же необходимым, а издатели считают обязательным делать вид, будто отдают ей должное – и в результате прилагают к текстологии слова, а не разум. Они вытвердили ряд правил, не понимая той реальности, для которой эти правила служат не более чем эмблемами, и не к месту декламируют их взамен того, чтобы серьезно обдумать каждую возникающую перед ними проблему.

Во-вторых, лишь небольшая часть тех, кто посвящает себя текстологии, искренне стремится к достижению истины. Ни для кого из нас не секрет, что истина редко является единственной целью пишущих о политике; кроме того, принято считать – справедливо это или нет, – что истина не всегда является единственной целью богословов; но о том, до какой степени пропитаны подсознательной недобросовестностью труды по текстологии греческих и латинских классиков, едва ли подозревает кто-нибудь кроме тех, кому доводилось в эти труды вникнуть. Едва вступив в эту сферу деятельности, люди приносят с собой набор предубеждений и заведомых симпатий, не желая смотреть в лицо фактам и признавать наиболее правдоподобный вывод, если он не есть в то же время и наиболее для них удобный. Большинство людей довольно глупы – как следствие, большинство остальных довольно тщеславны; так что трудно поверить, чтобы в погоне за истиной

кто-нибудь мог оступиться, не пав при этом жертвой либо своей глупости, либо своего тщеславия. Глупость не даст вам ни на шаг отступить от общепринятых воззрений – и вот вы уже погрязли в рутине; тщеславие, напротив, заставит гнаться за новизной – и вот вы уже угодили пальцем в небо. Помимо этих препятствий и ловушек, есть еще различные виды партикуляризма, как то: сектантство, которое приковывает вас к вашей собственной школе, учителям и коллегам, или патриотизм, который приковывает вас к традициям, возобладавшим в вашей собственной стране. Патриотизм прославлен как добродетель, и на нынешней стадии мировой истории, видимо, по-прежнему приносит в общественной сфере больше пользы, чем вреда; однако в сфере интеллектуальной он являет собой несомненную помеху. Не знаю, кто более жалок – немецкий ли ученый, убеждающий своих сограждан в том, что *wir Deutsche* ничему не можем научиться у иностранцев, или же англичанин, который доказывает единство Гомера, зубоскаля насчет *тевтонских профессоров*, – причем в представлении его аудитории последние наделены выпученными глазами за стеклами огромных очков и дремучими усами, насквозь пропитанными худосочным немецким пивом; не ясно ли, что такие люди заведомо лишены способности судить о литературе?

В-третьих, эти внутренние основания, приводящие к ошибкам и недомыслию, почти не вызывают противодействия и возражений извне. Среднему читателю о текстологии мало что известно – а значит, он не в силах бдительно следить за ходом мысли автора: тупица волен мямлить свое, шарлатан волен лгать. Хуже того – зачастую разделяя предубеждения ученого, читатель бывает слишком удовлетворен его выводами, чтобы внимательно исследовать предпосылки и ход рассуждения. Залезьте на бочку на любой улице Багдада и крикните во все горло: «Дважды два четыре, имбирь – пряность, следовательно, Магомет – пророк Бога», – и ваша логика, по всей вероятности, избегнет критики; если же кто-нибудь паче чаяния и станет ее критиковать, вы без труда заткнете ему рот, обозвав христианской собакой.

В-четвертых, вещи, о которых приходится рассуждать текстологу, не принадлежат к числу тех, что являются мысленному взору четко и ясно; здесь легко сказать другим и вообразить самому, будто вы думаете то, чего вы на самом деле не думаете, и даже то, что, попытайся вы всерьез так подумать, показалось бы вам просто немыслимым. Отсюда проистекают ошибки, которых никто и никогда бы не сделал, зайди речь о каком-нибудь материальном предмете, свойства которого доступны чувственному восприятию. Человеческие ощущения имеют куда бо-

лее долгую историю, чем разум, и куда ближе подошли к совершенству; более развитые, они труднее поддаются обману. Разница между сосулькой и раскаленной кочергой несравненно меньше разницы между истиной и ложью, смыслом и бессмыслицей; между тем первая гораздо легче распознается и признана гораздо большим числом людей, так как тело восприимчивее, чем рассудок. Поэтому мне кажется удачным следующий способ доказательства того, что некое текстологическое утверждение ложно, а некий аргумент абсурден: надо перевести их в мир чувственного восприятия и посмотреть, что из этого выйдет. Если за именами, которые мы произносим, стоят вещи, доступные осязанию или вкусу и отличающиеся друг от друга тем, что они холодны или горячи, кислы или сладки, то мы ясно понимаем, что имеем в виду, и способны отвечать за свои слова. К несчастью, текстологические термины безнадежно умозрительны; возможно, не существует другой области, в которой люди изрекали бы столько лжи, слепо веря, что это истина, и болтали бы столько вздора, тщетно надеясь, что в нем есть смысл.

Все это тем более прискорбно и предосудительно, что ни одна другая область знания не нуждается в таких предосторожностях против ошибок, проистекающих из внутренних оснований. У тех, кто занимается естественными науками, есть важное преимущество: они могут постоянно проверять свои выводы фактами, подтверждая или опровергая теории при помощи эксперимента. Если химик, смешавший в нужной пропорции серу, селитру и уголь, хочет удостовериться, что полученная смесь будет взрывчатой, ему достаточно поднести спичку. Если врач, приготовивший новое лекарство, желает узнать, помогает ли оно от болезней – и если да, от каких именно, – ему достаточно раздать его всем своим пациентам без разбора, а там поглядеть, кто умрет, а кто исцелится. Наши соображения об истинности или ложности рукописного чтения никогда не удастся ни подтвердить, ни уточнить при помощи столь же решающего критерия – ведь им мог бы стать только автограф. Даже находка такой рукописи, которая была бы лучше и древней всех дотоле известных, *не может служить* критерием столь же решающим; между тем ясно, что и на эту, пусть и недостаточную, проверку не стоит рассчитывать часто или в крупных масштабах. В этих обстоятельствах дело нашего общего благоразумия и добросовестности – не упускать ни единой доступной предосторожности, подвергать тщательному анализу собственные действия и беспристрастно исследовать их побудительные причины. А теперь выясним на примерах, как соблюдаются эти элементарные требования.

Прежде всего, чтобы увидеть, как сущая несообразность и почти что непостижимое тупоумие пролагают себе дорогу в печать, рассмотрим следующий случай. На протяжении нескольких столетий считалось, что Плавта звали *M. Accius Plautus* – до тех пор, пока в 1845 году Ричль не обратил внимание на то, что в Амброзианском палимпсесте IV или V в., который был обнаружен Маи в 1815 г. и является самой древней из дошедших до нас плавтовских рукописей, имя автора (в родительном падеже) выглядит как *T. Macci Plauti* – из чего следует, что на самом деле его звали Титом Макцием (или Макком) Плавтом.[1] Один итальянский ученый, некто Валлаури, не согласился с Ричлем на том основании, что во всех печатных изданиях с XVI по XIX в. автор именуется Марком Акцием. Валлаури отправился в Милан взглянуть на рукопись и, разумеется, нашел там вполне разборчиво написанное *T. Macci*; наряду с этим, однако, он установил, что многие *другие* страницы палимпсеста невозможно прочесть, а сам он сильно измят и порван; после чего Валлаури заявил, что ему представляется непостижимым, как это кто-то решается придавать хоть какое-нибудь значение рукописи, находящейся в столь плачевном состоянии.[2] Существует ли еще хотя бы одна наука, хотя бы одна область человеческой деятельности, считающая себя таковой, в которой подобного рода умы осмеливались бы публично высказывать подобного рода суждения? Вам, может быть, покажется, что Валлаури – уникум. Вовсе нет: стоит только углубиться в текстологию, как вы рискуете повстречать такого Валлаури на каждом шагу. В рукописях Катулла, ни одна из которых не старше XIV в., стих 64, 23 выглядит следующим образом:

heroes salvete, deum genus! o bona mater!

Веронские схолии к Вергилию (палимпсест V или VI в.), дают к *Aen.* V, 80 («salve, sancte parens») следующее пояснение: «Catullus:

---

[1] Речь идет о работе Фридриха Ричля (1820–1876) *De Plauti poetae nominibus* (см.: *F. Ritschelius.* Parergon Plautinorum Terentianorumque vol. I. Lipsiae 1845, 3–43; 296–298), опирающейся на одно из палеографических открытий Анджело Маи (1782–1854), в 1813–1819 гг. – библиотекаря Амброзианской библиотеки в Милане.

[2] *T. Vallauri.* Animadversiones in dissertationem Friderici Ritschelii de Plauti poetae nominibus // Acta regiae societatis Taurinensis ser. II, 24 (1866), 158: «Ut primum hunc palimpsestum diligenter evolvi, mutilum, hiantem, miris modis deformatum, <...> equidem sum miratus, quod Ritschelius huiusmodi reliquiis tantum tribuerit...» См. также: *M. Acci Plauti* Comoediae cum annot. et comm. Th. Vallauri. Augusti Taurinorum 1873, 9–26, особ. 24–25. Справедливости ради отметим, что свою аргументацию Томмазо Валлаури (1805–

salvete, deum *gens*, o bona *matrum* / progenies, salvete iter[um]». Таким образом, мы имеем gens вместо genus, matrum вместо mater и еще полстиха, отсутствующие в Катулловых рукописях; естественно, что ученые предпочитают доверять этому источнику как значительно более древнему. Нашелся, однако, издатель, заявивший, что «веронские схолии, неполные и изобилующие лакунами, не могут поколебать авторитет рукописной традиции».[3] Вот вам еще один Валлаури: по той причине, что в палимпсесте множество дыр и значительная его часть до нас не дошла, сохранившийся текст, пусть даже он и датируется шестым веком, заслуживает доверия меньше, чем рукописи века четырнадцатого! Представим себе, что кто-нибудь, завладев этими самыми кодексами XIV в., вырвет оттуда несколько страниц, а в остальных проделает дырки; в этом случае авторитет тех частей рукописи, которые он пощадит, должен, по-видимому, существенно упасть – может быть, столь же низко, как авторитет веронского палимпсеста.

Еще один пример. Существуют две рукописи одного автора, которые мы обозначим буквами А и В. Установлено, что чтения А более корректны, но менее аутентичны; в В, напротив, больше ошибок, но вместе с тем меньше интерполяций. Требуется определить, какая из рукописей лучше, или же они равноценны. Чтобы ответить на этот вопрос, один ученый займется подбором и сопоставлением примеров; другому, однако, покажется, что он знает более короткий путь. «Всякий разбирающийся в своем деле текстолог, – скажет он, – обязан признать лучшей ту рукопись, которая менее интерполирована».

Я привожу эту точку зрения, во-первых, как образец того, что получается, если люди перестают задумываться над смыслом своих слов; а во-вторых (и это главное), как пример той опасности, какую несет с собой тяга к обобщениям. Лучший способ опровергнуть эту претенциозную чепуху – перенести ее из сферы текстологической критики, где разница между истиной и заблуждением, смыслом и бессмысли-

---

1897) строил на иных основаниях, и замечание о ветхости палимпсеста сделано им скорее мимоходом. Валлаури был не единственным и не последним оппонентом Ричля: см., напр., пространную работу: *E. Cocchia.* M. Accio Plauto ovvero T. Maccio Plauto // Rivista della filologia e d'istruzione classica 13 (1885), 97–160.

[3] Хаусмен имеет в виду оксфордского филолога Робинсона Эллиса (1834–1913); процитированный пассаж см.: *R. Ellis.* A Commentary on Catullus. Oxford 1876, 234. Во втором издании Комментария (Oxford 1889, 287–288; 344) Эллис существенно смягчает свою позицию, соглашаясь признать подлинность по крайней мере части цитаты (до слова progenies). Хаусменовскую оценку трудов Эллиса, посвященных Катуллу, см.: CP II, 623–627.

цей редко принимается во внимание и еще реже распознается, в одну из тех областей, где людям приходится иметь дело с терминами конкретными и осмысленными, что волей-неволей вынуждает их думать.

Итак, я прошу этого ученого (того самого текстолога, разбирающегося в своем деле) сказать мне, кто из двух людей больше весит – толстый или высокий? Он не сможет ответить, как и вообще никто не сможет; всякому очевидно, что вопрос не имеет смысла. Прилагательные «толстый» и «высокий» способны даже текстолога переместить из мира надувательской мечтательности в мир реальный, который населен людьми более или менее разумными – к примеру, мясниками и бакалейщиками, чей заработок напрямую зависит от умения шевелить мозгами. Тут-то он и начинает понимать: существуют вопросы настолько общие, что любой ответ на них будет неверным; нам позволено выносить суждение лишь об отдельно взятых случаях; все зависит от степени высоты и степени толщины. Не исключено, что дюйм роста весит меньше, чем дюйм в обхвате, или наоборот; но никто никогда не согласится, что высота несравненно весомее толщины (равно как и толщина – высоты), или что на чаше весов дюйм одной из них перетягивает ярд другой. Чтобы выяснить, кто тяжелее – толстяк или дылда, нужно обоих взвесить; равным образом, чтобы выяснить, какая рукопись лучше – с ошибками или с интерполяциями, нужно отобрать и сопоставить их чтения, а не пускаться с места в карьер в ошибочные и смехотворные обобщения, уверяя, будто более достоверная рукопись непременно должна быть признана наилучшей.

Называя рукопись *достоверной*, вы в ту же минуту проникаетесь к ней нравственной симпатией, этой спутницей недомыслия: ведь именно в области нравственных симпатий позиции последнего особенно прочны. Я вовсе не стремлюсь изгнать из текстологии нравственность – напротив, мне бы хотелось, чтобы кое-какие моральные качества получили в этой науке большее распространение, чем теперь; но я призываю не давать волю эмоциям там, где они неуместны. Не исключено, что переписчик, вносящий в текст интерполяции, т. е. искажающий его намеренно, повинен в тяжком грехе, между тем как переписчик, который искажает текст случайно – просто потому, что клюет носом, или безграмотен, или навеселе, – заслуживает оправдания; однако этот вопрос будет разрешен компетентными инстанциями в день Страшного Суда, и нам до него дела нет. Нас интересует не участь переписчика в вечности, но польза от его рукописи в настоящий момент; а польза от рукописи определяется количеством правильных чтений, которые в ней явлены или, наоборот, скрыты – а вовсе не причинами, побудившими

писца к чистосердечию в первом случае и к уклончивости во втором. Ошибочно думать, будто сознательное изменение текста всегда вредит истине больше, нежели случайное; но даже если это и так, то, как я уже говорил, все дело в степени. Рукопись, где один процент слов злонамеренно искажен, а девяносто девять записаны верно, предпочтительнее той, 99% которой искажены нечаянно и из самых лучших побуждений; и если вы явитесь к текстологу с расплывчатым вопросом вроде «какая рукопись лучше – более исправная или более достоверная?», он скажет вам: «Прежде чем ответить, я должен увидеть обе эти рукописи; исходя из того, что мне известно с ваших слов, любая из них может оказаться лучше другой, или же они равноценны». Но как раз этого последнего самозваные невежи-текстологи никак не могут допустить. Им просто необходима *лучшая* рукопись – существует она на самом деле или нет, но без нее у них никогда ничего не выйдет. Ведь если Провидению будет угодно, чтобы две рукописи оказались равноценными, издателю придется выбирать то или иное чтение исходя из его внутренних достоинств; на этом пути от него потребуются ум, беспристрастность, готовность прилагать усилия, а также множество других качеств, какими он не обладает и обладать не стремится; а потому он убежден, что Господь, смиряющий бурю ради беззащитного агнца, никогда не взвалит на его плечи такую непосильную ношу.[4]

Таковы примеры недомыслия в области recensio; перейдем теперь к emendatio. Существует глупейшая разновидность конъектур, которая, кажется, получила наибольшее распространение на Британских островах – впрочем, ее практикуют и за границей, а в последние годы особенно часто в Мюнхене. Суть ее состоит в следующем: если вам удалось убедить себя, что тот или иной текст испорчен, замените в нем одну или две буквы и посмотрите, что из этого получится. Если в том, что получится, можно при наличии доброй воли не заметить противоречий смыслу и грамматике, называйте это эмендацией, а всю дурацкую забаву – палеографическим методом.

Этот палеографический метод во все времена вызывал восторг новичков и презрение текстологов. Гаупт, к примеру, не единожды предостерегал своих учеников, чтобы они не путали фокусы подобного рода с эмендацией. «Первое требование к хорошей конъектуре, – гово-

[4] Этот же вопрос подробно обсуждается в программном предисловии к хаусменовскому изданию Манилия: *M. Manilii* Astronomicon liber primus / Rec. et enarr. A. E. Housman. Cambridge [2]1937 ([1]1903), XXX–XL.

рил он, – состоит в том, что ее отправной точкой должно быть умозаключение; только после этого можно принимать во внимание дополнительные доводы (например, метрику) или соображения о правдоподобии (например, перестановку букв)».[5] И еще: «Если того потребует смысл, я готов написать *Constantinopolitanus* там, где рукописи дают односложное междометие *o*».[6] И далее: «Из того, что начинать всегда следует с умозаключения, с очевидностью вытекает и отрицательный вывод: *никогда не следует* с самого начала задаваться вопросом о том, какая перестановка букв могла привести к искажению пассажа, с которым вы имеете дело».[7] И еще одна цитата – из речи Гаупта о текстологических заслугах Лахмана: «Некоторые, заметив, что то или иное место в древнем тексте требует исправления, немедленно углубляются в дебри палеографии, исследуют начертания букв и виды сокращений, пускают в ход одну уловку за другой, словно речь идет об игре, до тех пор, пока не набредут на более или менее подходящую, по их мнению, замену испорченному месту – как если бы опыты подобного рода и в самом деле регулярно приводили к установлению истины и как если бы эмендация могла проистекать из чего-то другого помимо взвешенного умозаключения».[8]

Впрочем, даже в тех случаях, когда палеографию вполне заслуженно держат на положении служанки, не позволяя ей воображать себя госпожой, она нередко берет на себя слишком много работы. Конъектуры, призывающие на помощь палеографию (иными словами, те, в которых источником ошибки считается случайная подмена схожих букв или слов) находятся в привилегированном положении – невзирая на то, что известны и другие источники ошибок. Один из них, к примеру, представлен следующим изречением: «Интерполяция, вообще говоря, служит причиной порчи текста сравнительно нечасто; исходя из этого, нам не следует предполагать ее и в данном конкретном случае».

Всякий случай есть данный конкретный случай; таким образом, эта максима означает, что нам *никогда* не следует считать интерполяцию причиной порчи текста. Между тем очевидно – и, судя по словосочетанию «*сравнительно* нечасто», наш автор также об этом осведом-

---

[5] Здесь и ниже Хаусмен цитирует высказывания Морица Гаупта (1808–1874) по изд.: *Chr. Belger.* Moriz Haupt als academischer Lehrer. Berlin 1879, 124.

[6] Ibid., 126–127.

[7] Ibid., 126.

[8] *M. Haupt.* De Lachmanno critico // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 14 (1911), 536. Речь была произнесена в августе 1854 г. в Берлине, где Гаупт получил кафедру, освободившуюся со смертью Карла Лахмана (1793–1851).

лен, – что интерполяции все-таки случаются; следовательно, он хочет сказать, что нам не следует предполагать интерполяцию, даже если предположение это верно. Основанием же для столь нелепого образа действий является то, что интерполяция, вообще говоря, служит причиной порчи текста сравнительно нечасто.

Теперешний средний читатель не в состоянии распознать non sequitur до тех пор, пока оно не приведет к нежелательным выводам; точно так же и средний исследователь не в состоянии вкладывать в свои слова какой-либо смысл, если только эти слова являются текстологическими терминами. Следовательно, мне придется подставить на их место другие термины, настоятельно требующие, чтобы их наделяли смыслом. Я предлагаю вам оценить с формально-логической стороны следующее изречение:

> Пулевое ранение, вообще говоря, служит причиной смерти сравнительно нечасто; исходя из этого, нам не следует предполагать его и в данном конкретном случае.

Так ли это? Неужели нам и вправду не следует предполагать, что пулевое ранение стало причиной смерти, если данный конкретный случай – это гибель на поле брани? И неужели основанием здесь может быть то, что пуля, вообще говоря, служит причиной смерти сравнительно нечасто? Вправе ли мы, напротив, предположить здесь самую распространенную причину смерти и отнести гибель в бою на счет туберкулеза? Что подумают о юристе, который вздумал бы применять подобный метод? Не примут ли его за текстолога, забредшего в область права?

Почему интерполяции встречаются сравнительно редко? По той же самой причине, что и пулевые ранения: не так уж часто выпадает удобный случай. Интерполяция вызывается трудностями, действительными или же воображаемыми; как правило, к ней не прибегают по доброй воле, когда текст прозрачен, как стекло. Напротив, случайное искажение может произойти в любой момент, ему подвержены каждое слово, каждая буква в нем – и только поэтому случайные искажения попадаются чаще интерполяций. В данном же конкретном случае, когда и то, и другое предположение допустимо, вероятность интерполяции будет равна вероятности случайного искажения, а то и превзойдет ее: ведь мотивированное человеческое действие допустить все-таки легче, чем немотивированное. Истина, стало быть, в том, что в некоторых случаях нам не следует предполагать описку, а следует предполагать

интерполяцию; и перед лицом этих случаев мы не должны впадать в невменяемость по той только причине, что выпадают они сравнительно нечасто.

В текстологии существует особая область, обширная и значительная, задача которой – устанавливать грамматические и метрические законы. Часть этих законов принадлежит традиции и дошла до нас благодаря античным грамматикам; остальные выводятся нами самостоятельно на основании рукописей греческих и латинских авторов. Естественно, что и традиционные законы должны пройти проверку на соответствие рукописному преданию. Вместе с тем любой из этих законов, как традиционный, так и установленный индуктивно, в каких-то рукописях от случая к случаю нарушается. Таких рукописей может быть меньше или больше; закон может нарушаться изредка или регулярно; наконец, текстологи могут признать рукописные чтения ошибочными и исправить их в соответствии с законом. Это положение вещей может показаться парадоксальным, больше того – оно и в самом деле парадоксально. Рукописи дают нам материал для выведения закономерности; вооружившись ею, мы вновь обращаемся к рукописям и уличаем их в погрешностях против правила, основанного на них же самих. Итак, мы движемся по замкнутому кругу – отрицать этот факт было бы бессмысленно. Однако, как говорил Лахман, задача текстолога состоит как раз в том, чтобы *пройти* по этому кругу искусно и с осторожностью – ведь именно эти качества возвышают текстологию над чисто механической работой. Трудность заложена в самом существе дела, и единственный способ преодолеть ее – это быть текстологом.

Указанный парадокс впечатляет на бумаге больше, чем в действии, так как находит немало аналогий в повседневной жизни. Вердикт присяжных основывается, как правило, на свидетельских показаниях; однако это не мешает им заключить, исходя из общей картины, что один или несколько свидетелей лгут и их слова не следует принимать в расчет. Совокупность рукописных свидетельств дает все основания для установления закона – достаточно достоверного, чтобы отвести отдельные несогласные с этим законом свидетельства, или хотя бы достаточно правдоподобного, чтобы подвергнуть последние сомнению. Следует заметить, что здесь возможны две гипотезы, между которыми исследователю надлежит сделать выбор. Исключения могут восходить к самому автору – и, таким образом, подрывать закон, – или же быть делом рук переписчика; в последнем случае их необходимо исправить на основании того же закона. Для того, чтобы взвесить свое решение,

мы должны быть предельно внимательны ко всякого рода особенностям, которые могут пролить свет на природу исключений.

Одной из форм недомыслия в приложении его к текстологии является чрезвычайно распространившаяся в последнее время (особенно на континенте) тенденция оспаривать грамматические и метрические правила на основании простого перечня исключений, попадающихся в рукописях. Между тем таким путем ничего не опровергнешь. Количество исключений – не доказательство, гораздо важнее их вес; а он выясняется только в результате классификации и критической проверки. Если бы я отмечал все попадавшиеся примеры, у меня скопилась бы довольно обширная коллекция цитат из различных латинских рукописей, в которых существительное orbis (оно, как учат нас словари и грамматики, мужского рода) согласовано с прилагательным в форме рода женского. Тем не менее я не предлагаю пересматривать по этому поводу правила синтаксиса, так как исследование упомянутых примеров показало бы, что все они, невзирая на многочисленность, силы не имеют. В большинстве мест смысл и контекст подсказывают, что orbis, в каком бы числе и падеже оно не стояло, является искажением соответствующей формы от urbs; для остальных пассажей вполне естественно предположить, что оплошность переписчика была вызвана сходством обоих слов.

Еще один пример: прочтите ту главу в *Adversaria critica* Мадвига (т. I, кн. I, гл. IV [Hauniae 1871, 154–184]), где он разбирает мнение, будто в греческом языке инфинитив аориста мог употребляться после verba putandi et dicendi вместо инфинитива будущего времени или инфинитива аориста с частицей ἄν.[9] Перечень рукописных чтений в самом деле довольно объемист; но стоит начать их классифицировать и взвешивать, как вы будете поражены не столько количеством примеров, сколько их узостью и однообразием. Почти все они принадлежат к типу δέξασθαι вместо δέξεσθαι, когда формы различаются всего одной буквой; куда меньше примеров вроде ποιῆσαι вместо ποιήσειν – тут разница в составе букв чуть побольше, но все же невелика; для остальных может служить образцом ἥκιστα ἀναγκασθῆναι[10] вместо ἥκιστ'

[9] В упомянутой части *Adversaria critica* суммированы возражения против этого мнимого грамматического правила, которые Й. Н. Мадвиг (1804–1886) выдвигал в более ранних работах; см.: *I. N. Madvig.* Syntax der griechischen Sprache. Braunschweig 1847, 188; *Idem.* Bemerkungen über einige Punkte der griechischen Wortfügungslehre. Göttingen 1848, 29–47; *P. J. Jensen.* I. N. Madvig / Trad. du danois par A. Nicolet. Odense 1981, 133–137.

[10] Рукописное чтение для *Thucyd.* II, 36, 1.

ἂν ἀναγκασθῆναι, где отличие в написании опять-таки ничтожно. Если правда на стороне рукописей и греческий язык действительно знал такую конструкцию, то как объяснить невероятную скудость ее употребления? Между первым и вторым аористами нет никакого синтаксического различия; почему же первый аорист употребляется вместо будущего времени так часто, а второй так редко? Почему δέξασθαι вместо δέξεσθαι попадается десятки раз, а λαβεῖν вместо λήψεσθαι ни разу? Одного этого вопроса достаточно, чтобы уяснить истинное положение вещей. Простая констатация того факта, что все формы аориста, встречающиеся в рукописях в упомянутой конструкции, похожи на формы будущего времени, между тем как «непохожие» аористы не засвидетельствованы ни разу, доказывает, что причиной занимающего нас феномена является не воля автора, а глаз копииста; не грамматическая вариативность, а ошибка рукописной традиции. Количество примеров не дает, как видим, ничего – все зависит от их характера; одно единственное указание на λαβεῖν в значении futurum стоило бы дороже, чем добрая сотня δέξασθαι.

Вообще говоря, переписчики, когда им ничто в этом не препятствует, склонны исправлять менее привычную для них форму на более привычную. Если метрика позволяет (или же если ее запреты остались им неведомы), можно ожидать замены ἐλεινός на ἐλεεινός, οἰστός на ὀϊστός, nil на nihil, deprendo на deprehendo. Стоит стихотворному размеру пару раз уличить их в таких ошибках, и они навсегда утрачивают кредит нашего доверия. Тот, кто и после этого продолжает полагаться на переписчиков, страдает избытком доверчивости; тот же, кто полагает эту доверчивость в основание своих построений, перестает быть текстологом. Впрочем, даже в тех случаях, когда размер не в состоянии уличить переписчика, рассудку это порой удается. Возьмем, к примеру, утверждение, кочующее по грамматикам и изданиям авторов, будто римляне в ряде случаев употребляли плюсквамперфект вместо перфекта и имперфекта. Да, они действительно употребляли его вместо имперфекта, как и вместо претерита, или аористного прошедшего, но вместо [логического] перфекта – никогда; сами примеры такого употребления, извлеченные из латинских рукописей, доказывают это. Все они стоят в форме третьего лица множественного числа. Почему? Предоставляю вам на выбор две гипотезы:

a. Латинский плюсквамперфект употреблялся вместо перфекта только в 3 лице мн. ч.;

b. Плюсквамперфект вообще не употреблялся вместо перфекта, и все наши примеры суть ошибки переписчиков.

Если кто-нибудь примет первую гипотезу, ему придется объяснять, почему бы это синтаксическое правило, разрешающее автору употреблять плюсквамперфект вместо перфекта, распространялось только на третье лицо множественного числа, не затрагивая при этом ни два других лица, ни все единственное число, – и хотел бы я посмотреть, как это у него получится.

Если же мы примем вторую гипотезу, то нам следует выяснить, какая именно *внешняя* особенность, побуждающая переписчика заменять перфект плюсквамперфектом, распространяется только на третье лицо множественного числа; и это совсем не сложно. Третье лицо множественного числа – единственная форма, в которой перфект и плюсквамперфект различаются всего одной буквой. Больше того, в стихах перфектные формы часто имеют окончание *-erunt* с *e* кратким, сравнительно непривычное для переписчиков, – которые и заменяют его на ближайшее по звучанию и просодически адекватное *-erint* или *-erant*. Так, в «Героидах» Овидия лучшие рукописи в четырех случаях дают praebŭerunt, stetĕrunt, excidĕrunt, expulĕrunt там, где в остальных читается -erant, или -erint, или же и то, и другое. В соответствии с этим Скалигер в четырех местах исправляет чтения младших рукописей Проперция (fuerant и steterant по одному разу, exciderant дважды), заменяя их на fuĕrunt, stetĕrunt, excidĕrunt.[11] Однако в наш просвещенный век нашелся издатель, взявшийся за перо, дабы провозгласить следующее: «Принципиальную ошибку совершает тот, кто исправляет формы плюсквамперфекта в случаях, когда это не требует особой критической проницательности (steterunt вместо steterant и т. п.), и при этом закрывает глаза на само существование феномена». Хотелось бы знать, каким образом можно *не* закрывать глаза на существование феномена, которого не существует? Нет ни единого случая, когда в рукописях стояло бы steteram в значении steti или steteras в значении stetisti. В тех пассажах, где плюсквамперфект нельзя превратить в перфект путем перемены одной буквы (например, pararat в *Prop.* I, 8, 36[12] или fueram в I, 12, 11), он имеет или значение имперфекта, или претерита, но никогда – перфекта. Вывод очевиден: латинский плюсквамперфект вместо перфекта не употреблялся.

---

[11] См.: *Catulli, Tibulli, Propertii* nova editio / Josephus Scaliger Iulii Caesaris filius recensuit. Eiusdem in eosdem Castigationum liber. Lutetiae 1577, resp. ad I, 11, 29; II, 8, 10; III, 24, 20; IV, 7, 15.

[12] Об этом месте Проперция Хаусмен писал в рецензии на издание Г. Э. Батлера (Oxford 1905); см.: CP II, 631.

Скалигер в шестнадцатом столетии знал об этом – Ротштейн в девятнадцатом, равно как и двадцатом, не знает;[13] зато он отыскал некую разновидность слов, способную защитить его от этого знания, и уверен, что тем самым превзошел Скалигера. Считается, что текстологическая наука шагнула далеко вперед, и даже самые поверхностные шарлатаны научились высокомерно рассуждать о «старых добрых ненаучных временах». Старые добрые ненаучные времена не прошли; они продолжаются здесь и сейчас, и будут возрождаться до тех пор, пока существуют уши, готовые внимать лозунгам, языки, провозглашающие эти лозунги снова и снова, и головы, наполненные не мыслями, а самодовольством. Прогресс и вправду имел место, но где? В высших умах, и чернь к тому не причастна. Такой человек, как Скалигер, живи он в наше время, стал бы лучшим текстологом, чем был Скалигер; но мы с вами не превосходим Скалигера только на том простом основании, что живем в «наше» время. Текстология, как и многие другие науки – занятие аристократическое, не доступное ни всем людям, ни даже большинству. Никого нельзя упрекать в том, что он не текстолог, если только он не выдает себя за того, кем на деле не является. Звание текстолога требует умения и готовности мыслить; и хотя оно требует еще кое-каких вещей, но все это – дополнения, которые не могут заменить главного. Знания – хорошо, метод – тоже отлично; и все-таки есть одно необходимое требование, которое превыше всех прочих. Вот оно: нужно иметь на плечах голову, а не тыкву – а в голове мозги, а не пудинг.

[13] См.: Die Elegien des Sextus Propertius / Erkl. von Max Rothstein. Berlin ²1920 (¹1898). Bd I, 77 (ad I, 3, 17). Ср. CP III, 1114.

И. В. Тункина

«ДЕЛО» АКАДЕМИКА ЖЕБЕЛЕВА*

Несмотря на благотворные для исторической науки перемены последнего десятилетия и доступность для исследователей закрытых ранее архивохранилищ, ощущается недостаток работ, анализирующих сложные и драматические коллизии, происходившие в двадцатых – тридцатых годах в процессе «советизации» Академии наук. В последние годы появились исследования и публикации, правдиво освещающие взаимоотношения научной интеллигенции и власти в годы *великого перелома* – о первых выборах ученых-коммунистов в АН СССР (сентябрь 1928 – февраль 1929 гг.) и об «академическом деле» (1929–1931).[1] К сожалению, белым пятном в истории отечественной гуманитарной науки долгое время оставалось «дело академика Жебелева» (ноябрь

* Исследование проведено при финансовой поддержке Московского общественного научного фонда и Фонда Форда (код проекта № 79-история / грант-96).

[1] См.: *Ф. Ф. Перченок*. Академия наук на «великом переломе» // Звенья 1 (1991), 163–235; *В. А. Куманев*. 1930-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М. 1991; *А. А. Формозов*. Русские археологи до и после революции. М. 1995, 43–57; Пять «вольных» писем В. И. Вернадского сыну (Русская наука в 1929 г.) // Минувшее 7 (1989), 425–450; *А. В. Кольцов*. Выборы в Академию наук в 1929 г. // Вопросы истории естествознания и техники № 3 (1990), 53–66; *В. С. Брачев*. Укрощение строптивой, или как АН СССР учили послушанию // Вестник АН СССР № 4 (1990), 120–127. См. также недавнюю публикацию записки акад. П. К. Коковцова, оставленной им в собственном архиве «для потомков» с изложением всех обстоятельств выборов: *П. К. Коковцов*. Для установления истины / Публ. и комм. А. А. Долининой // Кунсткамера: Этнографические тетради 1 (1993), 151–156; *В. С. Брачев*. «Дело» академика С. Ф. Платонова // Во-

1928 – январь 1929 гг.), не получившее должного освещения в литературе,[2] хотя именно оно ознаменовало начало «великого перелома» в Академии. Инспирированный властями скандал, затронувший интересы АН СССР, ГАИМК,[3] Эрмитажа и большой группы обществоведов, развернулся на фоне предвыборной кампании 1928–1929 гг. и в свое время получил широкий общественный резонанс, став своего рода прологом «академического дела». Ход «дела Жебелева» тенденциозно освещался практически всеми центральными и местными газетами СССР, поэтому крайне важно реконструировать правдивую хронику этих событий, опираясь как на официальную документацию властных, научных и общественных структур, так и на переписку и воспоминания ученых.

В центре политического скандала невольно оказался крупнейший историк античности Сергей Александрович Жебелев (1867–1941), действительный член АН СССР (с 1927 г.), профессор (в разные годы декан, проректор и ректор) Петербургского (позднее Ленинградского) университета, действительный член и товарищ председателя ГАИМК, после смерти акад. Ф. И. Успенского – редактор «Византийского временника», в 1928 г. также исполнявший обязанности директора Библиотеки АН СССР. Жебелев оказался единственным из крупных русских антиковедов, кто в годы революции и гражданской войны не эмигрировал, сумел выжить и своей деятельностью обеспечил преемственность русской и советской науки о классической древности.

Вторая половина 1920-х годов стала действительно «переломной» эпохой для Академии наук. В 1925 г. Российская АН была переиме-

---

просы истории № 5 (1989), 117–129; Академическое дело 1929–1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб. 1993.

[2] Например, в большинстве работ по истории АН СССР делу Жебелева посвящена всего одна страница или даже несколько строк. См.: *Ф. Ф. Перченок.* Указ. соч., 184; *F. Epstein.* Die marxistische Geschichtswissenschaft in der Sovjetunion seit 1927 // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven / Osteuropa-Institut in Breslau 6, 1 (1930), 133; *L. G. Graham.* The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932 // Studies of the Russian Institute (Columbia University). Princeton; NY 1967, 104–108; *A. E. Levin.* Expedient Catastrophe: A Reconsideration of the 1929 Crisis at the Soviet Academy of Science // Slavic Review 47, 2 (1988), 268; *Б. С. Каганович.* Начало трагедии (Академия наук в 1920-е годы по материалам архива С. Ф. Ольденбурга) // Звезда № 12 (1994), 135–136. Общая хронологическая канва событий воссоздана в нашем очерке: *И. В. Тункина.* М. И. Ростовцев и Российская Академия наук // Скифский роман / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М. 1997, 101–109.

[3] Список основных сокращений см. в конце статьи. – *Ред.*

нована в АН СССР и признана ЦИК и СНК СССР высшим ученым учреждением страны. Помпезное празднование ее 200-летнего юбилея показало заинтересованность властей в перестройке всех академических основ с целью направить деятельность русской науки на нужды «социалистического строительства нового общества». Академическое руководство довольствовалось иллюзией автономии, а власть ей до времени не мешала. После Октября 1917 г. во главе Академии фактически стоял непременный секретарь С. Ф. Ольденбург, несший основное бремя административных забот при престарелом президенте А. П. Карпинском. Сергей Федорович одним из первых понял, что советская власть установилась всерьез и надолго, и вплоть до описываемых событий искусно применял тактику лавирования во взаимоотношениях с властями, пытаясь в максимальной степени сохранить внутреннюю независимость Академии.[4] Готовность других членов Президиума академиков Н. Я. Марра, А. Е. Ферсмана, А. Ф. Иоффе, И. Ю. Крачковского сотрудничать с советской властью объяснялась их тревогой за судьбу научного и культурного потенциала страны в новых политических и социальных условиях, стремлением во что бы то ни стало сохранить Академию наук. Последнее обстоятельство послужило поводом для упреков в их адрес со стороны как аполитичных коллег, остававшихся в России,[5] так и академиков, оказавшихся в эмиграции, прежде всего М. И. Ростовцева и П. Б. Струве, активно пропагандировавших свои антибольшевистские взгляды.

В 1926–1927 гг. обсуждался проект первого советского устава Академии, утвержденного постановлением Совнаркома СССР 18 июня 1927 г., хотя выборы 1927 г., в ходе которых С. А. Жебелев был избран действительным членом АН СССР, проходили еще по старым академическим правилам. Академию ждала коренная перестройка, так как «беспартийный» характер высшего научного учреждения страны не устраивал государственные структуры. Новый устав 1927 г. и постановление Совнаркома от 3 апреля 1928 г. существенно увеличили состав действительных членов – с 42 до 85 человек. Стремясь провести в АН СССР ученых-коммунистов, власти предоставили право выдвижения кандидатов не только академикам, но и научным учреждениям, отдельным ученым и их группам, а также общественным

---

[4] Подробнее см.: *Б. С. Каганович*. Указ. соч., 124–144.

[5] См. характеристику С. Ф. Ольденбурга в воспоминаниях о нем С. А. Жебелева: Историографические этюды С. А. Жебелева. Три неизданных мемуара С. А. Жебелева / Публ. И. В. Тункиной и Э. Д. Фролова // ВДИ № 3 (1993), 180–182; 200–202.

организациям, вплоть до ячеек и фабричных комитетов партии. Параграф 22 нового устава гласил: «Действительный член АН лишается своего звания, если он не выполняет обязанностей, налагаемых на него этим званием, или если его деятельность направлена явным образом во вред Союзу ССР».[6] В прессе развернулась широкая компания по выдвижению и обсуждению кандидатов. «Вокруг выборов в Академию наук разыгрывается вакханалия требований „нашей общественности", которая силится втиснуть в Академию своих, сменив прежнее кумовство кумовством по принципу „единственного научного миросозерцания" нашего времени, – записал в дневнике ученик акад. П. Г. Виноградова, московский историк И. И. Шитц. – Вчера ленинградская Секция научных работников объявила свои кандидатуры, <…> прибавив еще „отрицательную" оценку нежелательных лиц: среди них известнейший византинист *Бенешевич* (он-де занимается „узкой темой" – о ранней церкви) <…> Теперь остается слово за академиками. Грозили им всячески и сильно».[7] Одновременно власти стали оказывать давление на Президиум АН СССР, чтобы добиться исключения из Академии ученых, эмигрировавших из страны и активно выступавших против советской власти.

Мишенью для идеологической атаки на АН СССР был выбран именно Жебелев, так как в преддверии выборов коммунистов он оказался членом трех особых выборных комиссий Академии по гуманитарным наукам, образованных с целью рассмотрения списка кандидатов в действительные члены – исторической, философской и по языкам и литературам европейских народов.[8] Через представителей общественности и делегатов от союзных республик, входивших в состав выборных комиссий, власти осуществляли контроль за деятельностью последних. 20 октября 1928 г. избранные комиссиями кандидаты были представлены к баллотировке на отделениях, а затем и в Общем собрании АН СССР 5 января 1929 г.

Поводом к началу «дела» послужил выход в Праге в октябре 1928 г. второго тома трудов Семинария им. Н. П. Кондакова, посвященного памяти историка искусства акад. Я. И. Смирнова. Том открывался некрологом, автором которого был Жебелев: «Яков Иванович скончался

[6] Устав Академии наук СССР. Л. 1927, 6.

[7] *И. И. Шитц.* Дневник «великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris 1991. 25: 59–60 (записи от 8 мая и 6 октября 1928 г.).

[8] *И. К. Луппол.* К выборам в Академию наук СССР // Научный работник № 11 (1928), 3–9.

10 октября 1918 г., когда у нас началось уже лихолетье <…>. Яков Иванович – „ближайший и наиболее блестящий из учеников Н. П. Кондакова", как его охарактеризовал наш общий с Яковом Ивановичем друг и соратник, М. И. Ростовцев»; «метод работы Якова Ивановича в области археологии – строгий историко-филологический метод, без каких-либо отклонений в сторону „искусствоведения", „социологии" и тому подобных модных течений…»[9] Этих нескольких фраз оказалось достаточно, чтобы разыгрался политический скандал. Помимо Жебелева, в сборнике приняли участие еще 14 советских ученых, в том числе ленинградцы академики В. В. Бартольд и И. Ю. Крачковский, члены-корреспонденты АН СССР искусствовед Д. В. Айналов и археолог А. А. Спицын, сотрудники ГАИМК и Эрмитажа Н. П. Сычев (бывший директор Русского музея), С. Н. Тройницкий (первый демократически избранный директор Эрмитажа, 1918–1927), М. В. Малицкий, Е. О. Костецкая, К. К. Романов, Л. А. Мацулевич, А. Н. Кубе, а также москвичи – историк древнерусского искусства и реставратор проф. А. И. Анисимов, нумизмат А. В. Орешников и живший в Тбилиси искусствовед Г. В. Чубинашвили (Чубинов). В том же томе была издана статья акад. М. И. Ростовцева[10] «„Скифский" роман» с преамбулой, носящей политический оттенок: «Сборник в память Якова Ивановича Смирнова! Больно думать, что, не будь происшедшего „переворота" и всего с этим „переворотом" связанного: голода, отчаяния, разочарования в настоящем и будущем, Яков Иванович был бы еще с нами и мы писали бы статьи в его честь, а не в его память» (статья датирована 8 января 1928 г.).

Обстоятельства, связанные с «делом Жебелева» нашли отражение в неизданных дневниках жены непременного секретаря АН СССР С. Ф. Ольденбурга, Елены Григорьевны.[11] Согласно ее записям, первые

---

[9] *С. А. Жебелев*. Яков Иванович Смирнов // Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Семинарием им. Н. П. Кондакова. Т. 2. Прага 1928, 1–16.

[10] Ростовцева, Жебелева и Смирнова связывала долголетняя дружба еще со студенческих лет. Именно М. И. Ростовцев при избрании С. А. Жебелева в действительные члены АН СССР в частных письмах коллегам подверг резкой критике выдвинутые против него обвинения в плагиате и поддержал кандидатуру друга, что при голосовании в Академии перевесило чашу весов в пользу Сергея Александровича. Подробнее см.: *И. В. Тункина*. М. И. Ростовцев и Российская Академия наук // Скифский роман. М. 1997, 95–99; Письма М. И. Ростовцева С. А. Жебелеву, Ф. И. Успенскому и Н. Я. Марру / Публ. И. В. Тункиной // Там же, 369–408; *М. И. Ростовцев*. «Скифский» роман // Там же, 135–138.

[11] Ольденбург Елена Григорьевна (урожд. Клеменц, по первому браку Головачева; 1875–1955), вторая жена С. Ф. Ольденбурга. С начала 1920-х гг. вплоть до 1952 г. работала в Отделе древностей – Отделе Востока Эрмитажа. С 1924 г. вела дневник, где почти ежедневно

упоминания о начавшемся «деле» относятся к 16 и 18 ноября 1928 г., когда непременный секретарь АН СССР Сергей Федорович Ольденбург встречался в Москве с управляющим делами СНК СССР, членом Комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями (Ученого комитета) ЦИК СССР Н. П. Горбуновым и начальником ОНУ при СНК СССР Е. П. Вороновым, которые поставили вопрос об исключении Жебелева из Академии наук и Академии материальной культуры в связи с его «антисоветскими высказываниями» в эмигрантском журнале: «Сергей очень горячо возражал <…>, говоря, что сначала надо разобраться в этом вопросе и затребовать объяснения от самого Жебелева. <…> Горбунов сказал, <…> что первоначально должна быть беседа с Жебелевым, который должен дать исчерпывающие объяснения, и что эти объяснения должны быть напечатаны. Сообразно тому, *какого рода* (курсив мой. – *И. Т.*) будут объяснения Жебелева, так будет поступлено и в дальнейшем относительно его».[12] Недовольством руководящих работников СНК и Главнауки немедленно воспользовались недруги Жебелева – группа промарксистски ориентированных ленинградских ученых, требовавших исключения академика из АН СССР и ГАИМК, снятия со всех административных постов и т. п. Невольным зачинщиком разразившегося скандала стал импульсивный И. А. Орбели, в то время член-корреспондент АН СССР, недовольный некоторыми выражениями в пражской статье Жебелева, в частности, фразой о том, что «ненапечатанные материалы Я. И. Смирнова, как ему известно, находятся у И. А. Орбели (этими словами, по мнению Орбели, Жебелев набросил на него тень), – писала Е. Г. Ольденбург. – Орбели стал повсюду кричать о статье Жебелева, указывая на ее несоветский тон, толкуя неудачные выражения и т. д. Своими криками он обратил на эту статью внимание коммунистов Эрмитажа, <…> и дело пошло».[13]

записывала важнейшие события в жизни АН СССР, ГАИМК, Эрмитажа и других учреждений науки и культуры Ленинграда. О ней см.: *Б. С. Каганович.* Указ. соч., 127–128.

[12] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 28 – 28 об.; 29. Далее в дневнике: «Горбунов сказал, что вообще об Академии наук вопрос стоит так: работники Академии наук <…> и не знают, какое давление идет на Отдел научных учреждений при [СНК] СССР относительно Академии наук, которая живет своею отдельною обособленною жизнью, – что далее так продолжаться невозможно (здесь и ниже сохранены особенности синтаксиса публикуемых источников. – *Ред.*), что <…> Академия наук должна показать свое отношение к советской действительности, что и выльется в выборах. Если выборы покажут, что Академия наук не идет с советской общественностью, то тогда с нею будет поступлено, как она этого заслужила, – не советская Академия наук существовать не может…» (Там же, л. 29).

[13] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 30.

Вернувшись в Ленинград, Ольденбург 20–21 ноября 1928 г. трижды встречался с Жебелевым для конфиденциальных бесед. Непременный секретарь откровенно объяснил коллеге, что выход один: публично покаяться и отречься от Ростовцева, чтобы не подставить под удар Академию наук и ГАИМК, и таким образом избежать угрозы исключения из числа действительных членов АН СССР. Сделать это можно было одним способом – написать объяснительное письмо в Главнауку, предназначенное для опубликования в советской прессе. 21 ноября Жебелев принес требуемое письмо, текст которого «привел в ужас» Ольденбурга – «многоречивое, бестолковое, не по существу, – писала Е. Г. Ольденбург. – Теперь придется самому Сергею составлять проект письма и объяснения для Жебелева, а тому только переписать <…> Может быть, придется уговорить его, чтобы он поступил так, как ему советует Сергей, и не упрямился…»[14]

21 ноября Ольденбург имел «предварительную и горячую» беседу с председателем ГАИМК, председателем Центрального совета СНР акад. Н. Я. Марром: «Н. Я. Марр откровенно зол на Жебелева, считая, что Жебелев страшно напортил всем в Академии материальной культуры своей статьей. Теперь Марр гремит против Жебелева, и сегодня вечером его будут выставлять из Секции научных работников. Сергей этого допустить не может, т. к. считает этот образ действия крайне вредным вообще для всей русской интеллигенции…»[15]

События развивались стремительно – в тот же день вечером в Москве и Ленинграде состоялись заседания Бюро СНР при Правлении союза работников просвещения СССР, постановившие исключить Жебелева из состава АН СССР на основании параграфа 22 нового устава за участие «в специфически эмигрантском издании», как направленном «во вред интересам СССР». На внеочередном собрании Московского

[14] Там же, л. 34–34 об.; 39.

[15] Там же, л. 31 об.–32. В тот же день Е. Г. Ольденбург со слов мужа записала о частном совещании академиков у президента АН СССР А. П. Карпинского в связи с выборами коммунистов: «Очень хорошо говорил В. И. Вернадский, умно <…>, что при создавшемся положении надо действовать так, чтобы спасать Академию наук, что на академиках ляжет ответственность за Академию наук, что хотя он не смотрит розово на то, что ожидает Академию наук при новом составе и новой жизни, что будут, конечно, огромные трения и затруднения, но что иначе действовать, серьезно учитывая создавшееся положение, нельзя. Его тон и дал господствующее настроение <…> С циничным предложением выступил Крылов <…>, и он говорил, что <…> пусть Сергей Федорович заявит, что „приказ так поступать“ и дело кончено… В общем, было принято предложение Вернадского» (Там же, л. 31–31 об.).

бюро СНР основным докладчиком являлся философ-марксист, профессор МГУ И. К. Луппол, автор официозных статей от имени Главнауки с открытыми нападками на Академию наук и дореволюционную научную интеллигенцию. В обсуждении приняли участие профессора С. А. Зернов, А. М. Фишгендлер, В. П. Волгин и др. Бюро секции единогласно квалифицировало действия Жебелева «как сознательное политическое выступление»: «Участие в эмигрантских изданиях, сопровождающееся к тому же политическими выпадами против СССР, несовместимо с достоинством советского ученого». Бюро подчеркнуло, «что из числа действительных членов АН СССР до сего времени не исключены такие академики, которые, подобно П. Б. Струве и Ростовцеву, предпочли научной деятельности в СССР активную и руководящую работу в различного рода эмигрантских изданиях».[16]

На заседании Ленинградского бюро СНР, длившемся более четырех часов, присутствовали С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, И. А. Орбели. Е. Г. Ольденбург со слов мужа записала: «Заседание было закрытое. Сначала выпустили, как выражается Сергей, мелкоту против Жебелева, затем пошли уже крупные <…>. Но тяжелый тон дали заседанию речи <…>, которые, как выразился Сергей, носили „подхалимский“ характер, такое гнусное забегание вперед перед советской властью лиц, которые при царском режиме были прямо что черносотенцы. Так говорил Кораблев,[17] в том же духе Державин. В конце концов все голосовали, исключая троих – Сергея, Орбели и Глушкова Виктора Григорьевича, – за исключение Жебелева из Секции научных работников. Хорошо говорил Марр, и т. к. он торопился ехать в Москву, ему было дано слово вне очереди, но, к сожалению, до голосования он не смог досидеть. Хорошо говорил за Жебелева и И. А. Орбели. Я понимаю его – в порыве своей такой несдержанной злобы <…> рассудок его молчит <…>, и он может слепо и гадко навредить человеку. Но когда этот шквал пройдет, чувство присущей

[16] Известия. 1928. 22 нояб.; 23 нояб.

[17] Кораблев Василий Николаевич (1873–1936) – филолог-славист, публицист, автор трудов по сравнительно-историческому изучению славянских литератур. Преподавал в гимназиях и различных вузах Петербурга–Петрограда–Ленинграда. Помощник главного редактора «Правительственного вестника» (1906–1915). Как человек правых взглядов, в своей публицистике пропагандировал идеи монархизма и панславизма. В советское время вместе с Н. С. Державиным резко изменил взгляды и стал «советски настроенным человеком». Арестован в 1934 г. по делу «Российской национальной партии» («делу славистов»), активно помогал следствию, давая обширные показания; осужден на 10 лет ИТЛ с заменой на высылку, которую отбывал в Алма-Ате, где и умер.

ему доброты возьмет вверх, заговорит и рассудок, – но часто дело бывает сильно испорчено прежними злобно-ненавистными порывами. Так, я думаю, дело было и здесь…» С. Ф. Ольденбург «главным образом настаивал на том, чтобы пока не выключали Жебелева, дали возможность появиться в печати его объяснениям по поводу статьи, тем объяснениям, которые Жебелев представил Сергею по его просьбе, для отправления в Москву Горбунову. Об этом не хотели слушать, указывая на то, почему Жебелев эти объяснения давал только Сергею, а почему не публично? Сергей справедливо думает, что теперь выключение Жебелева из СНР повлечет за собою его дальнейшую травлю, уже как члена Академии наук…»[18]

В протоколе заседания Ленинградского бюро СНР зафиксированы высказывания участников обсуждения. Представляется важным процитировать наиболее характерные выдержки из этого документа, сохранив его стиль, точно характеризующий дух того времени. Председательствующий на заседании секретарь Ленинградского бюро СНР, политпросветработник, профессор биологии В. А. Зеленко акцентировал внимание на том, что статья Жебелева «сопоставляется с помещенной в том же сборнике статьей Ростовцева, содержащей выпады против революции и Советской республики…» Профессор Института народного хозяйства В. Н. Кораблев: «Мы должны оценить позорное выступление наших научных работников как политическую и тактическую глупость. Особое внимание останавливает на себе участие трех академиков Всесоюзной Академии наук (В. В. Бартольд, И. Ю. Крачковский, С. А. Жебелев. – *И. Т.*), той Академии, на которую теперь, в связи с новыми выборами, обращено внимание всех трудящихся Союза. Таким научным работникам, особенно же С. А. Жебелеву, не место в рядах академиков Всесоюзной Советской Академии наук и к ним должна быть применена статья 22-я нового Устава Академии». Кораблев внес предложение сурово осудить участников сборника и выразить резкое возмущение против действий трех академиков. Профессор трудового права ЛГУ В. М. Догадов охарактеризовал Прагу «как приют махровой белой эмиграции»: «Советские ученые должны быть с нами и не допускать себя до таких <…> неосмотрительных выступлений, или же открыто перейти в стан врагов». Профессор Военно-медицинской академии В. П. Осипов: «Несмотря на то, что мы вступили в 12-й год Революции, нашлись люди, которые оказались неспособными оценить

[18] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 32 об.–39.

предпринятого шага, печатая статьи за границей». Преподаватель политэкономии в ЛГУ В. В. Рейхардт выступил за «самое решительное осуждение без всяких поблажек с вытекающими <…> организационными выводами». Профессор ЛГУ Н. С. Державин поддержал тон коллег: «У нас не может быть двойственности. У СНР, в частности, у Бюро, не может быть никаких колебаний. Было очень неосторожно посылать свои статьи в сборник в Прагу. <…> Совершенно недопустимо для научного работника бросаться в омут (Запад) без достаточных гарантий, что сборник, в котором принимает участие, будет советский. Есть, впрочем, ряд лиц, по отношению к которым не стал бы употреблять слова „товарищ“, с которыми есть ясное идеологическое расхождение <…>. Поведение всей группы участников сборника должно быть строго осуждено…» Ректор ЛГУ проф. М. В. Серебряков указал, что поступок Жебелева находится в резком противоречии со званием действительного члена АН СССР.

Единственными, кто пытался хоть как-то смягчить тон осуждения Жебелева, стали его коллеги по АН СССР, ГАИМК и Эрмитажу Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, И. А. Орбели, а также товарищ председателя Постоянной комиссии по изучению естественных производительных сил АН СССР, директор Российского гидрологического института В. Г. Глушков. Марр призвал быть объективным и внимательным к «оступившимся» коллегам, призвав вести борьбу «не против лиц, а против фактов»: «Особый характер статья Жебелева приобрела благодаря тому, что оказалась в таком окружении <…>. Есть письмо Жебелева, в котором он возмущен расценкой его статьи как антисоветского выступления. <…> Мы имеем достаточный иммунитет, чтобы не придавать значения всяким выпадам за рубежом». С. Ф. Ольденбург заявил: «Фактически, конечно, безразлично, где напечатана статья, важно то, что в ней сказано <…> Мы должны отметить самый факт, перед нами ошибка». Ольденбург не согласился с предложением В. Н. Кораблева, настаивая на публикации объяснений Жебелева в печати. И. А. Орбели, в отличие от большинства выступающих, призвал «к осторожному и справедливому отношению, которого заслуживают участники <…> сборника, может быть и не рассчитывавшие на возможность попасть в столь отвратительное соседство. Хотелось бы, чтобы все это дело не представлялось коллективным делом участников…», а о статье Жебелева сказал, что она «не продукт его настроений, а лишь его странной и порой возмутительной манеры выражаться»: «В части, касающейся Жебелева, для нас важнее не кары для него, а искоренение отвратительного впечатления от статьи, предоставив ему печатно осве-

тить положение». В. Г. Глушков предложил дать всем участникам сборника возможность объясниться, прежде чем навешивать на них ярлыки «антисоветских внутренних эмигрантов».

Резюмировал итоги заседания доцент психологии ЛГУ М. Я. Басов: «Наметились же две тенденции: одна, ищущая смягчающих обстоятельств, другая – безоговорочного осуждения. Мы как общественная организация <…> должны осудить его. <…> Пусть другие ищут смягчающих вину обстоятельств, мы же скорее должны выступить в роли прокурора и требовать применения решительных мер». Басов потребовал поставить вопрос об исключении Жебелева из членов СНР. В ходе голосования были приняты следующие решения: «1. Выразить осуждение всем ленинградским научным работникам, принявшим участие в сборнике *Seminarium Kondakovianum* (принято единогласно); 2. Признать, что статья С. А. Жебелева приносит вред Союзу Советских Социалистических Республик (принято всеми против одного); 3. Исключить из числа членов СНР С. А. Жебелева (принято при трех против и двух воздержавшихся); 4. Констатируя, что статья С. А. Жебелева, помещенная в сборнике *Seminarium Kondakovianum*, приносит явный вред СССР, Ленинградское бюро СНР полагает, что этот факт несовместим со званием действительного члена Академии наук СССР и что к нему должна быть применена ст. 22 Устава Академии».[19]

«Конечно, Жебелев виноват <…>, – размышляла Е. Г. Ольденбург после рассказа мужа о заседании СНР, – он человек честный <…> Его отношение к советской власти лояльное, и в сущности, конечно, он мог давно быть за границей и работать там, и если он остался в Советской России, то потому, что он, конечно, за новую Россию, но он <…> считает возможным, будучи советским гражданином, работать в журнале, которым руководит белогвардеец Ростовцев. За… [это] он и пострадает. <…> Голосуя за Жебелева вместе с меньшинством таким незначительным, Сергей голосовал со всеми за вынесение порицания лицам, которые участвовали в этом сборнике, т. е. Крачковскому, и Бартольду, и другим <…>. Там много статей наших эрмитажников, это уже ученая „мелкота“, и Сергей боится, чтобы она не пострадала. Ночь эту Сергей почти не спал, ему вспоминается все это вчерашнее позорное заседание, и он представляет себе, как сегодня вечером наша вечерняя „Красная“ (газета. – *И. Т.*) подхватит это заседание и разнесет его, а на зав-

[19] ЦГА СПб, ф. 6307, оп. 11–1928, д. 32, л. 92–97.

тра оно уже будет в московской „Правде“ и покатится повсюду. Какое трудное, невыносимо тяжкое время!»[20]

Опасения Ольденбурга оправдались – буквально все центральные и местные газеты, начиная с 21 ноября, стали выходить с заголовками: «Исключение акад. С. А. Жебелева», «Исключить из состава», «Антисоветское выступление академика С. А. Жебелева», «К выступлению советских академиков в эмигрантском сборнике», «О поступке академика С. А. Жебелева», «Симптом опасной болезни», «Еще о поступке акад. С. А. Жебелева», «Московские ученые о выступлении акад. Жебелева», «Научные работники – против Жебелева: Академику Жебелеву – не место в Академии наук», «Общественное лицо Жебелева», «Академик Жебелев должен быть исключен из состава Академии наук», «Отпор притаившимся: Громадное большинство советских ученых против вылазки гг. Жебелевых», «ВАРНИТСО о выступлениях некоторых ученых в эмигрантской прессе», «Вредителям советского строительства не место в Академии наук СССР», «Дело академика Жебелева», «Антисоветская работа под флагом науки: Протест РАНИОН» и т. п.[21] В печати началась масштабная кампания против Жебелева и всех участников пражского сборника, обвиненных в пособничестве эмигрантским кругам.

Судя по сохранившимся документам, выступления участников на заседании бюро СНР в Ленинграде в газетных публикациях были представлены превратно. Например, выступление Н. Я. Марра сводилось к следующим словам: «Никакой грязью, никакой клеветою нельзя опровергнуть то единение, которое существует между трудящимися массами СССР и советскими учеными. СНР должна поднять свой голос, как представитель советской общественности, против этого недостойного выпада. Поступок Жебелева должен быть осужден со всей резкостью».[22] После появления первых газетных публикаций о «деле Жебелева» Ольденбург уже 22 ноября 1928 г. запросил у секретаря Ленинградского бюро СНР В. А. Зеленко копию протокола заседания бюро от 21 ноября, собираясь отправить в газеты, в частности в централь-

[20] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 32 об.–39.

[21] Красная газета. Веч. вып. 1928. 22 нояб.– 20 дек.; Известия. 1928. 22–25 нояб.; 1 дек.; Правда. 23 нояб.; Экономическая жизнь. 1928. 23–25 нояб.; Ленинградская правда. 1928. 23–24 нояб.; Смена. 1928. 24 нояб.; Рабочая Москва. 1928. 23 нояб.; Вечерняя Москва. 1928. 22–24 нояб.; Харьковский пролетарий. 1928. 21 дек., и др. См. также: ЦГА СПб, ф. 6307, оп. 11–1928, д. 81, л. 1–24.

[22] Известия. 1928. 23 нояб.

5 Зак 3004

ный печатный орган ВКП(б) «Правду», опровержение, но впоследствии своего намерения не осуществил.[23]

Попытавшись выйти из патовой ситуации, Жебелев последовал советам Ольденбурга и покаялся в содеянном не без тяжких нравственных потерь: ему пришлось публично отречься от Ростовцева и таким образом засвидетельствовать свою лояльность советской власти. Запись Е. Г. Ольденбург от 22 ноября: «Утром Жебелев был у Сергея и принял его редакцию письма в Москву».[24] Это документально подтверждает факт, что покаянное письмо Жебелева к Ольденбургу написано под диктовку последнего. Его подлинник датирован 20 ноября, но фактически оно было написано двумя днями позднее, 22 ноября 1928 г. Публикую его текст.

> Дорогой Сергей Федорович! Из имевшего место сегодня разговора я понял, что ряд выражений, употребленных мною в статье о Я. И. Смирнове, вызвал совершенно превратное толкование и заставил счесть меня нелояльным советским работником и гражданином. Считая, что своею 11-летнею неустанною работою не только научною, но особенно самою трудною и ответственною организационною и административною, в советских учреждениях, я приобрел право на доверие и на уважение к моей работе, я не могу не выразить полного недоумения, что моим словам могло быть приписано совершенно иное значение, чем то, какое я имел в виду. Я заявляю категорически, что под словом «лихолетье» я, советский работник, не разумел и, конечно, и не мог разуметь революцию, а только то тяжелое по отношению особенно к научному печатанию, а потом вообще – материальное положение, в котором оказались все в период оккупации и гражданской войны. Мои слова о М. И. Ростовцеве как о «друге и соратнике» Я. И. Смирнова и моем относились к тому времени, когда мы работали вместе до революции. Я, конечно, не имел в виду теперешнее время, когда М. И. Ростовцев покинул родину и занял враждебную позицию по отношению к тому советскому строю, на который сознательно работаю я. Наши пути поэтому разошлись и потому ни сотрудничества, ни дружбы у нас быть не может. Полагаю также, что только сознательное нежелание понять ту скорбь о покойном моем друге Я. И. Смирнове, которую я выразил в заключительных словах статьи, могло побудить людей, недоброжелательно ко мне относящихся, истолковать и эти слова как выражение моего отрицательного отношения к советскому строю. Повторяю прямо, да, с Я. И. Смирновым все трудное, что пришлось пережить его друзьям за эти годы, переживалось бы легче

---

[23] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 60.

[24] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 39.

> в совместной работе с этим замечательным человеком (так. – *И. Т.*). Горько и тяжело, что каждым словом, сказанным мною под влиянием чувства глубокой утраты от потери друга, желают воспользоваться для того, чтобы «заклеймить меня». Полагаю, что для Вас, по крайней мере, мои объяснения будут убедительны. Вы меня знаете десятки лет и знаете, что я честный, не кривящий душою человек. Вижу теперь, что одну ошибку сделал несомненно: я не должен был давать статью в зарубежное издание, где она могла появиться, что и случилось, наряду со статьями антисоветских ученых. Вы больше, чем кто-либо, знаете, что я хотел и хочу работать по задачам нашего советского строительства. Душевно Вам преданный С. Жебелев.[25]

В тот же день из Москвы пришла спешная бумага за подписью заведующего ОНУ при СНК СССР Е. П. Воронова с вопросом – «не считает ли Академия наук СССР противоречащим ст. 1 или соответствующим смыслу ст. 5 своего Устава факт сотрудничества ее научных работников в заграничных эмигрантских изданиях типа пражского *Seminarium Kondakovianum*. Одновременно, в связи с помещенной в последнем выпуске названного издания статьей ак. Жебелева, содержащей в себе ряд антисоветских выпадов, Отдел просит уведомить его, не считает ли Академия наук СССР правильным реагировать на это путем отозвания ак. Жебелева со всех занимаемых им в настоящее время по Академии наук административных должностей и постановкой вопроса о лишении его, в соответствии с ст. 22 нового устава, звания действительного члена Академии».[26]

Сразу же было созвано экстренное заседание Президиума АН СССР для рассмотрения ситуации, сложившейся в связи с постановлением Ленинградского бюро СНР. Административное руководство сознательно пошло на прямой подлог документов, предназначавшихся Президиумом АН СССР для отправки в центральные органы власти и управления наукой: задним числом был составлен протокол заседания Президиума Академии от 20 ноября 1928 г., где якобы было «доложено заявление ак. Жебелева об освобождении его от исполнения обязанностей директора Библиотеки в виду возложенного на него поручения по редактированию „Византийского временника" и вследствие необходимости закончить обработку некоторых личных научных работ. Постановлено: <…> признавая причину, вызвавшую заявление акад. Жебе-

[25] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 81–81 об. Автограф С. А. Жебелева.
[26] Там же, л. 87.

лева, уважительной, освободить его с сего числа от исполнения обязанностей директора Библиотеки, доложив об этом ближайшему Общему собранию».[27] О том, что такое заседание именно 20 ноября не собиралось, свидетельствуют три факта: литерный номер протокола (№ 64 а); подписи на документе – только А. П. Карпинский, С. Ф. Ольденбург и А. Е. Ферсман, хотя в числе присутствующих обозначены также А. Н. Крылов (22 ноября он находился в командировке в Москве) и И. Ю. Крачковский; отсутствие упоминаний о заседании с такой повесткой в дневнике Е. Г. Ольденбург.

22 ноября (протокол № 64 б) на заседании Президиума (в лице А. П. Карпинского, С. Ф. Ольденбурга, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсмана и И. Ю. Крачковского), созванном по результатам голосования в СНР, было доложено отношение ОНУ при СНК СССР и рассмотрено письмо Жебелева к Ольденбургу. Президиум вынес решение: «1. Считать, что участие советских ученых, а следовательно и сотрудников АН СССР, в каких-либо эмигрантских изданиях недопустимо, что и поставить на вид участникам сборника *Seminarium Kondakovianum* из числа сотрудников Академии; 2. Признать выступление акад. Жебелева неправильным и поставить ему на вид недопустимость подобных действий; 3. В виду 11-летней неутомимой работы акад. С. А. Жебелева на пользу советского строительства и представленных им Президиуму объяснений по настоящему делу считать, что нет оснований для применения к нему ст. 22 Устава АН; 4. Протокол настоящего собрания с копиею письма акад. Жебелева послать срочно Отделу научных учреждений».[28] Все требуемые властями документы в тот же день были направлены в Москву.[29] «Президиум постановил, – писала Е. Г. Ольденбург, – что недопустимо членам АН принимать участие в заграничных белогвардейских журналах и выразить им свое недоверие. Из таких членов было двое – Бартольд и Крачковский. Крачковский как член Президиума должен был сам подписать это постановление, но было отказался и предложил снять его как секретаря-академика II Отделения. Тогда вступился Жебелев и очень хорошо сказал, что он страшно благодарит товарищей за оказанную ему поддержку в такие трудные для него моменты, а затем, обратившись к Крачковскому, сказал ему очень ласково, но настойчиво, что он не должен отказываться пока ни от чего, а должен сделать то, что от него просят. Вообще Сергей говорит, что Жебелев порази-

[27] ПФА РАН, ф. 2, оп. 1–1928, д. 191, л. 188.
[28] Там же, л. 189–189 об.
[29] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 39 об.

тельно хорошо ведет себя, умно и благородно, что очень трудно в его положении».[30]

Благодаря энергичному заступничеству непременного секретаря АН СССР С. Ф. Ольденбурга, обратившегося за поддержкой в самые высокие партийные и государственные инстанции, АН СССР сумела отстоять коллегу от грозившего ему изгнания из Академии. 22 ноября Ольденбург отправил личные письма на имя члена Политбюро ЦК ВКП(б) и редактора «Правды», одного из кандидатов к избранию в действительные члены АН СССР Н. И. Бухарина и управляющего делами СНК СССР Н. П. Горбунова. Бухарину он писал следующее: «Полагаю, что Вам не безразличны наши дела. Вокруг Жебелева поднялось то, что правильнее всего назвать травлей. Из бестактного, непродуманного поступка сделали преступление и хотят карать честного, добросовестного, ценного научного работника. Убежден, что так поступать нельзя. И без того трудностей много в сложной жизни громадного нового <…> творчества. Не надо их еще усугублять и осложнять придирками и травлями. Если Вам нужны еще разъяснения, охотно их дам. Вы, надеюсь, скоро уже примете более непосредственное участие в нашей нелегкой работе, хотел бы поэтому знать Ваше мнение по данному вопросу».[31] Послание Ольденбурга Н. П. Горбунову содержит пересказ решения Президиума от 22 ноября: «Письмо Жебелева может быть, разумеется, напечатано где Вы сочтете это желательным. Мне пришлось в Ленинградской Секции научных работников встретить по настоящему вопросу тягостную предвзятость, так как не пожелали даже получить, как я это предлагал, личные объяснения Жебелева. Мы считаем, что единственное правильное решение в этом деле то, которое принято Президиумом».[32]

Собрания с протестами против пребывания Жебелева в числе действительных членов и требованиями скорейшей «советизации» АН СССР прокатились по всей стране, наглядно продемонстрировав академикам то, что ожидает их в случае неизбрания желательных коммунистам кандидатов. 22 ноября в ЛГУ, Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена и других научных учреждениях северной столицы прошли заседания, вынесшие осуждение Жебелеву и всем советским участникам пражского сборника. На собрании профсоюзного актива ЛГУ одним из немногих, кто отказался голосовать против резо-

---

[30] ПФА РАН. ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 39–40.
[31] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 62.
[32] Там же, л. 64–64 об.

люции, осудившей Жебелева и требовавшей его исключения из Академии наук, был Е. В. Тарле, избранный в число действительных членов АН СССР одновременно с Жебелевым.[33] В ГАИМК прошло расширенное заседание актива объединенной профсоюзной организации Академии истории материальной культуры и Эрмитажа. В его резолюции говорилось, что их сотрудники «решительно отмежевываются от антисоветских выступлений, содержащихся в сборнике, и с удовлетворением отмечают, что С. А. Жебелев не является более товарищем председателя ГАИМК». «В Эрмитаже И. А. Орбели говорил отдельно со всеми лицами, писавшими в журнале, – записала Е. Г. Ольденбург, – затем было собрано общее собрание всех участников журнала в Академии истории материальной культуры. <…> Решили признать свою вину и написать об этом в СНР. Говорят, что Бартольд страшно зол на редакцию журнала, т. к. они не должны были подводить своих авторов».[34] Акад. В. И. Вернадский в те дни писал в дневнике: «В Академии материальной культуры научные сотрудники под председательством Орбели вынесли обвинительный приговор Жебелеву и признали секцию научных работников правильной. Орбели уговорил это провести, говоря, что это поможет Жебелеву, так как иначе его будут считать главой контрреволюционного гнезда, находящегося в АМК. Люди сейчас потеряли всякий моральный стыд и идут на всякую подлость, спасая свою шкуру».[35]

23 ноября, в связи с появившимся в вечернем выпуске «Красной газеты» комментарием об «антиобщественном лице» Жебелева из-за его конфликта с месткомом Академии наук по случаю увольнения им из Библиотеки АН СССР как исполняющим обязанности директора двенадцати сотрудников-общественников во время «рационализации» штатов, гонимому академику опять пришлось давать письменные объяснения, которые, однако, в печати не появились.[36] 24 ноября было опубликовано заявление девяти участников пражского сборника, а именно работавших в ГАИМК и Эрмитаже Н. П. Сычева, Н. В. Малицкого, А. А. Спицына, В. Костецкой, К. К. Романова, С. Н. Тройницкого,

---

[33] *Г. Зайдель, М. Цвибак.* Классовый враг на историческом фронте: Доклады Г. Зайделя и М. Цвибака о Тарле и Платонове и их школах и прения на объединенном заседании Института истории при ЛОКА и Ленинградского отделения общества историков-марксистов. М.; Л. 1931, 169–170.

[34] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 40.

[35] Цит. по: *Ф. Ф. Перченок.* Указ. соч., 184.

[36] См. объяснение Жебелева непременному секретарю АН СССР от 23 ноября 1928 г. в ответ на статью, помещенную в «Красной газете» (1928. 23 ноября. Веч. вып.): ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 76–76 об.

Л. А. Мацулевича, А. Н. Кубе, Д. В. Айналова: «Направляя год тому назад свои статьи в упомянутый сборник, мы имели лишь в виду почтить своими работами память покойного ученого <…>. Мы совершенно не были осведомлены о составе участников названного сборника и о характере статей в нем, не учитывая вместе с тем возможность, что в какой-либо статье найдут место антисоветские выступления, поскольку были приглашены к участию в сборнике советские ученые <…>. До настоящего дня мы названного сборника не видели, а потому не могли публично высказать свое отношение к характеру некоторых находящихся в нем статей <…>. Если бы нами была предусмотрена возможность каких-либо антисоветских выступлений на страницах этого сборника, то, разумеется, ни один из нас в этот сборник своих статей не дал бы <…>. Направляя настоящее заявление в бюро секции научных работников Ленинграда, мы просим бюро опубликовать его в печати в целях снятия с нас столь тягостного обвинения в участии в сборнике, содержащем, как оказалось, явные выпады против СССР».[37]

Аналогичное письмо был вынужден написать и И. Ю. Крачковский, с 1922 по 1929 гг. академик-секретарь Отделения гуманитарных наук АН СССР. Он адресовал его Президиуму АН 24 ноября, сообщив, что свою статью ранее докладывал на Коллегии востоковедов, не скрывая, что она будет опубликована в Праге: «Ни у кого из моих коллег это не вызвало тогда осуждения или недоумения <…>. Состав участников, кроме некоторых ленинградских коллег, мне не был известен <…>. Никакой ответственности за другие появившиеся в сборнике статьи, кроме своей собственной, я нести не могу, о чем и считаю нужным довести до сведения Президиума».[38]

24 ноября Центральное бюро ВАРНИТСО на своем расширенном заседании высказалось в крайне резкой форме: «Такого рода выступления указывают на повышение в последнее время активности правой профессуры. Бюро неоднократно указывало на нетерпимость положения, при котором ученые, занимая командные посты в наших учреждениях, ведут вполне определенную вредительскую работу против социалистического строительства. Середняк, советски настроенный и зачастую более квалифицированный, должен быть продвинут <…>. Бюро полагает, что АН, претендующая на руководящую роль в нашей советской науке, должна резко порвать с теми своими сочленами, кото-

[37] К антисоветскому выступлению акад. Жебелева: Заявление девяти профессоров // Красная газета. Утрен. вып. 1928. 24 нояб.

[38] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 85–86.

рые, нося высокое звание академика <…>, выступают в эмигрантских, враждебных нам органах, забрасывая грязною клеветой наше строительство. В частности, дальнейшее пребывание в числе членов АН Струве, Ростовцева, Жебелева несовместимо со ст. 22 нового устава АН».[39]

24 ноября Е. Г. Ольденбург записала: «Эти дни настроение очень нервное. Идет в газетах усиленная травля Жебелева. В Эрмитаже, Академии истории материальной культуры все взволнованы, работа идет плохо, все говорят, совещаются, идут сомнения <…>. Сегодня от Воронова снова бумага – просит прислать копии с протоколов заседаний, на которых были выключены из числа академиков Ростовцев, Струве и др., а протоколов нет, потому что таких заседаний не было. Их просто перестали печатать в книжке в числе академиков. Не было заседаний, потому что внутри самой академии по этому поводу не было достигнуто соглашения – если Сергей настаивал на заседании, то не встретил сочувствия. <…> Интересно отметить, что корреспонденты были у Сергея и Ферсмана, взяли их мнения о Жебелеве, и т. к. оба они дали положительные отзывы, то их не напечатали. Между прочим из Красной газеты <…> сейчас хотел приехать корреспондент за письмом Жебелева к Сергею. Интересно, напечатает ли его?»[40]

Об умелом манипулировании прессой для травли АН СССР 1928–1929 гг. В. И. Вернадский сообщал сыну Георгию в Нью-Хейвен (США) в письмах из Праги в июне 1929 г.: «…Производит эта травля большое впечатление – хотя все знают, что пишется бесконечное множество неправды. Кстати о прессе. Она бесконечно скучна, лжива и бесталанна. <…> Травля нервирует служащих: опровержения не принимаются, и АН несмотря на все старания этого не удалось сделать. По-видимому, в сложной партийной организации лица, держащие прессу, пользуется этим как своим оружием. Пресса читается, и хотя сильно пало ее значение как верного информатора, несомненно очень влияет и накладывает на страну большой и глубокий отпечаток».[41] Не менее «глубокий отпечаток» накладывала она на морально-психологическое состояние лиц, оказавшихся в центре скандала. Понимая это, свою солидарность

[39] См.: ВАРНИТСО о выступлениях некоторых ученых в эмигрантской прессе // Экономическая жизнь. 1928. 25 нояб.; Советские ученые – против Жебелевых и Ефремовых. Врагам СССР – не место в Академии наук // Рабочая Москва. 1928. 25 нояб.; Хроника // Научный работник № 12 (1928), 111–113.

[40] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 41 об.; 45.

[41] Пять «вольных» писем В. И. Вернадского…, 434–435.

с гонимым коллегой немедленно выразил Г. Ф. Церетели в письме к Жебелеву от 24 ноября 1928 г. из Тифлиса: «Дорогой Сергей Александрович, позвольте мне, Вашему старому другу, выразить свое глубокое возмущение по поводу беспримерной по своей дикости выходке бюро секции научных работников Ленинграда. Правда, от некоторых лиц, фамилии коих я прочел сегодня в газетах, ничего другого и ожидать было нельзя. Тем не менее факт остается фактом, и что другое, как не негодование может возбудить он? Я Вашу статью читал. При чтении ее передо мной ясно вырисовался образ покойного Якова Ивановича, которого все мы так любили, вспомнились мне многие подробности нашей прежней жизни <…>, и хотя в день, когда я читал Вашу статью, на душе у меня было тяжело, эта статья дала мне много хороших переживаний и ощущений, за которые большое спасибо Вам. Пусть вороны каркают! От их вороньего крика и гама никакого толка не будет. Всякий порядочный человек может только одним презрением ответить на поднятую глупо и зря шумиху и крепко, по дружески пожать Вашу руку, что я и делаю. Сейчас я так возмущен и взволнован, что не в состоянии писать больше. Можно только криком кричать!»[42]

В газетных публикациях появилось требование, чтобы Жебелев объяснился в своей позиции публично, т. е. написал покаянное письмо не непременному секретарю АН СССР, а в СНР, причем оно должно было быть немедленно опубликовано. Выражалось недоумение, что в коллективном письме сотрудников ГАИМК, участвовавших в пражском сборнике, отсутствуют подписи акад. В. В. Бартольда и И. Ю. Крачковского.[43] Нарком просвещения А. В. Луначарский также не удержался от нападок в адрес представителей «старой науки»: «В последнее время <…> мы имеем факты, показывающие с одной стороны наличие в ученой среде временно затаившихся враждебных элементов, с другой – попытки таких элементов к открытым и полуоткрытым выступлениям. <…> К числу подобных явлений надо отнести статью акад. Жебелева <…> и кое-какие черточки в статьях других

---

[42] ПФА РАН. ф. 729, оп. 2, д. 133, л. 308–309. Г. Ф. Церетели писал П. В. Ернштедту из Тифлиса 28 и 29 ноября 1928 г. о собственных переживаниях в связи с делом Жебелева: «Страдаю за Сергея Александровича, написал ему письмо…»; «…Мне очень хотелось, чтобы Вы пожали от меня руку Сергею Александровичу: у меня болит за него сердце, страшно болит, до ужаса его жалко». См.: ПФА РАН, ф. 877, оп. 3, д. 105, л. 87, 88. О реакции Церетели на публичное покаяние Жебелева и его отречение от Ростовцева документы умалчивают.

[43] К выступлению ленинградских ученых на страницах эмигрантского сборника // Известия. 1928. 25 нояб.

участников этого зарубежного издания. <…> Я ни на минуту не сомневаюсь, что здоровая часть наших научных кадров своим резким отпором укажет загранице, что господа Жебелевы ни в коей мере не являются представителями подлинных воззрений наших ученых…»[44] В те же дни органами ОГПУ были арестованы В. Н. Бенешевич, В. Е. Вальденберг[45] и А. А. Сиверс.[46] Эти аресты Е. Г. Ольденбург напрямую связывала с «делом Жебелева», хотя они стали следствием выдвижения их кандидатур на выборах в действительные члены АН СССР – устранив конкурентов в лице ученых «старой школы», власти стремились расчистить дорогу на выборах своим лояльным выдвиженцам.

25 ноября в связи с празднованием 200-летия академической типографии в Ленинград приехали секретарь ЦИК СССР и председатель Комиссии СНК СССР по содействию работам АН СССР А. С. Енукидзе и заведующий ОНУ при СНК СССР Е. П. Воронов. С ними С. Ф. Ольденбург обсуждал обстоятельства разворачивающегося дела Жебелева. В тот день его жена записала: «В душе у меня очень тяжкое чувство против Жебелева. Из-за него арестовали уже троих – Сиверс, Вальденберг и теперь еще Бенешевич! Неужели он не уйдет сам из числа академиков? <…> На мое горячее <…> заявление, что Жебелев должен сам уйти из членов Академии наук, что он подводит учреждение и сколько народу уже село в тюрьму из-за него, Сергей не менее горячо стал мне доказывать, что этого Жебелев ни в коем случае делать не должен, что тогда он страшно напортит Академии, что нельзя же из-за нескольких неудачных выражений гнать человека, что он своею 11-летнею работой доказал свою честность и свое отношение к советскому строю. Он говорил очень горячо и взволнованно, указывая, что

---

[44] См.: А. В. Луначарский о выступлении акад. Жебелева // Красная газета. Веч. вып. 1928. 24 нояб.

[45] Вальденберг Владимир Евграфович (Вольдемар Эдуардович, 1871–1941) – византинист, специалист по истории политических учений. В 1920-х гг. – профессор ЛГУ, старший библиотекарь, заведующий отделением Библиотеки АН, член Русско-византийской историко-словарной комиссии АН СССР, член коллегии НИИ сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. Арестован в ноябре 1928 г.

[46] Сиверс Александр Александрович (1866–1954) – историк-генеалог, нумизмат, архивист; управляющий Нумизматическим отделением Русского археологического общества (с октября 1922 г.). В 1915 г. – камергер, помощник управляющего Главным управлением уделов в придворном штате Министерства императорского двора и уделов. В 1923–1928 гг. работал в Отделе нумизматики и глиптики Эрмитажа как помощник хранителя отделения русских монет. Арестован в ноябре 1928 г., был осужден по «академическому делу». После освобождения работал в Москве в Историческом музее. См.: *Т. А. Аксакова-Сиверс*. Семейная хроника. Т. 1–2. Париж 1988.

иначе никто не сможет работать и что если Жебелева удалят, то они уйдут все до одного и тогда Академия наук погибнет. Как все это тяжело!» На торжествах Е. Г. Ольденбург беседовала с президентом АН СССР А. П. Карпинским, который был уверен в благополучном исходе «дела» для Академии: «Нет, не тронут… Да и за что? За неудачные слова, фразы?.. А наша вся работа?»[47]

Сравнительно мягкий тон письма Жебелева к Ольденбургу от 20 ноября не устраивал власти, почему оно и не появилось в печати. В личном деле Жебелева сохранилось два варианта объяснительного письма для СНР: первый написал сам Жебелев 25 ноября (на 5 страницах) в ответ на обвинения Луначарского и К°, второй появился в результате сокращения и редакции первого Ольденбургом[48] и более резко направлен против Ростовцева – он подписан Жебелевым 26 ноября (на 1,5 листах) и был опубликован в газетах.[49] Эмоциональное и пространное письмо от 25 ноября, объясняющее позицию Жебелева, никогда не публиковалось, поэтому нахожу нужным привести его целиком:

> В заключительных строках помещенной в вечернем выпуске «Красной газеты» от 24 ноября с. г. А. В. Луначарский, говоря о выступлении акад. Жебелева, замечает: «В частности, на мой взгляд, наша общественность вправе ждать от акад. Жебелева объяснений». Вчера же, еще до того, как я прочитал статью А. В. Луначарского, мною передана была одному из сотрудников «Красной газеты» копия моего письма, написанного акад. С. Ф. Ольденбургу 20 ноября с. г. и заключающего мои объяснения по поводу напечатанной мною статьи в издании *Seminarium Kondakovianum*, – с просьбой напечатать это письмо в сегодняшнем номере «Красной газеты». К сожалению, письмо это сегодня не было напечатано. Между тем моим искренним желанием было дать нашей общественности исчерпывающие объяснения касательно как некоторых выражений, допущенных мною в своей статье в издании *Seminarium Kondakovianum*, так и характера самого моего участия в этом издании.
>
> Допущенные мною выражения в моей статье «Я. И. Смирнов» вызвали, как оказалось, совершенно превратное толкование и заставили счесть меня нелояльным советским работником и гражданином. Я горячо протестую против этого и считаю, что своею 11-летней непрерывной

[47] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 45–46 об.

[48] На то, что Ольденбург заново переписал текст письма Жебелева, которое и было опубликовано, имеется указание в дневнике его жены: ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 49.

[49] Письмо акад. Жебелева // Красная газета. Веч. вып. 1928. 30 нояб.

работой в СССР, откуда я ни разу не отлучался (более того, за прошедшие 11 лет я ни разу не воспользовался даже кратковременным отпуском), я, в меру своих сил и уменья, достаточно потрудился для нашего Союза. При этом работа моя была не только научною, но и особенно трудною и ответственною организационною и административною работою в наших советских учреждениях: Академии наук, университете, Академии истории материальной культуры – в последней я в течение последних 6 лет занимал должность товарища председателя, Н. Я. Марра, являясь таким образом его ближайшим помощником. Эта моя 11-летняя работа, кажется мне, дает мне право рассчитывать на доверие к себе, почему я и не могу не выразить полного недоумения, что допущенным мною в статье выражениям могло быть придано совершенно иное значение, чем то, какое я имел в виду.

Я категорически заявляю, что под употребленным мною словом «лихолетье» я, советский работник, не разумел, и, конечно, не мог разуметь революцию, а имел в виду только то тяжелое, в особенности по отношению к научному печатанию, а потом и вообще – материальное положение, в котором оказались все в период блокады и гражданской войны. Стоит прочитать весь абзац моей статьи, где стоит слово «лихолетье», чтобы убедиться в том, что это «лихолетье» имеет в виду только то создавшееся в ближайшие за концом 1918 года положение, при котором не было возможности напечатать более или менее обстоятельного некролога Я. И. Смирнова.

Мои слова о М. И. Ростовцеве как об «общем нашем с Я. И. Смирновым» друге и соратнике, относятся к тому времени, когда мы трое работали вместе на научном поприще до революции. Я, конечно, не имел в виду теперешнее время, когда М. И. Ростовцев покинул (еще в 1918 г.) родину и занял враждебную позицию к тому советскому строю, на который сознательно работал и работаю я. Наши пути разошлись, и потому ни сотрудничества, ни дружбы у нас теперь быть не может. В частности, я должен отнестись совершенно отрицательно к тому, что М. И. Ростовцев в своей статье в сборнике *Seminarium Kondakovianum* позволил себе уклониться от строго-научного изложения трактуемых им вопросов и высказывать соображения общеполитического характера, [которым, по моему убеждению, ни в какой научной работе не должно быть места].[50] Со статьей М. И. Ростовцева я мог ознакомиться лишь после того, как получен был у нас том издания *Seminarium Kondakovianum*.

Полагаю также, что только сознательное нежелание понять ту скорбь о покойном моем друге Я. И. Смирнове, умершем 10 лет тому назад на посту советского работника, которую я выразил в заключительных словах статьи, могло побудить людей, недоброжелательно ко

[50] Текст, взятый нами в квадратные скобки, зачеркнут.

мне относящихся, истолковать и эти слова как выражение моего отрицательного отношения к советскому строю. Повторяю: да, с Я. И. Смирновым все трудное, что пришлось пережить его друзьям за эти годы, переживалось бы легче в совместной работе с этим замечательным человеком, а моим – с университетской скамьи – другом. Я. И. Смирнову не суждено было дожить до того времени (он скончался 23 октября 1918 г.), когда советская власть, говоря словами А. В. Луначарского, справедливость которых должны признать все советские ученые, «в самые тяжелые свои времена прилагала огромные усилия для улучшения быта ученых и условий их работы».

Мне горько и тяжело думать, что каждым словом, сказанным мною под влиянием чувства глубокой утраты моего друга, желают воспользоваться для того, чтобы «заклеймить меня». Я имел в виду дать в своей статье лишь посильную характеристику его как ученого и человека и я совершенно далек был от мысли вложить в свою статью какой-либо политический, тем менее антисоветский оттенок. Я писал свою статью без всяких «задних мыслей» и прошу не смотреть на нее как на какое-то с моей стороны «выступление». И направил я свою статью в сборник, посвященный памяти Я. И. Смирнова, хотя и изданный за рубежом, в полной уверенности, что в этом ученом сборнике не может и не должно быть место для каких-либо «выступлений», кроме «выступлений» научного характера.

Сборник вышел в издании *Seminarium Kondakovianum*. Это название дано было тому кружку, который работал под руководством акад. Н. П. Кондакова, у него на дому, в то время, когда он был профессором Карлова университета в Праге. Лица, работавшие под руководством Н. П. Кондакова, как они сами заявляют в изданном ими Сборнике статей, посвященных его памяти (Прага, 1926, стр. 297), после смерти своего руководителя поняли, что они не могут так сразу разойтись и расстаться друг с другом в дальнейшей научной работе, ибо такой разброд означал бы измену памяти Н. П. Кондакова, который объединил их в их творческой научной работе. Так возникло дружеско-научное объединение *Seminarium Kondakovianum*. К годовщине смерти Н. П. Кондакова (в феврале 1926 г.) участники семинария издали посвященный его памяти сборник статей. К участию в этом сборнике был привлечен, между прочим, и я как один из учеников Н. П. Кондакова. Моя статья «Иконографические схемы Вознесения и источники их возникновения» появилась вместе со статьями участников семинария и многочисленных иностранных ученых почти из всех европейских стран. Когда участники семинария задумали издать сборник в память ближайшего ученика Н. П. Кондакова, Я. И. Смирнова, они просили меня написать его некролог. Я не отказался от этого предложения и в этом не раскаиваюсь. Но теперь я вижу, что я несомненно был неправ: мне не следовало давать статью в зарубежное издание, где она могла появиться, что и случилось, наряду со стать-

ями антисоветских ученых. В этом я раскаиваюсь. Акад. С. Жебелев. 25 ноября 1928 г.[51]

Окончательная редакция письма, написанного Ольденбургом и подписанного Жебелевым, достаточно лаконична и носит сугубо официальный характер. Именно этот текст впоследствии появился в печати:

> ...Признаю ошибочным мое участие в сборнике Кондаковского Семинария, так как в нем приняли участие столь определенно антисоветские люди, как М. И. Ростовцев. Но считаю нужным сказать, что, когда я давал согласие участвовать в сборнике в память моего близкого друга и товарища Я. И. Смирнова, я не знал о возможности участия в нем антисоветских ученых. Категорически отрицаю приписываемое мне отождествление революции с лихолетьем: я имел в своей статье в виду исключительно трудности печатания и вообще трудное материальное положение, в котором мы оказались в годы блокады и гражданской войны. Я – советский работник, сознательно принявший революцию и работающий на советское строительство в Союзе уже 11 лет, как должно быть известно всем знающим меня. Слова мои о М. И. Ростовцеве, как «общем нашем с Я. И. Смирновым друге и соратнике», относятся определенно к тому времени, когда мы все трое работали в России и в начале революции в Союзе. Разумеется, что с того времени, как М. И. Ростовцев покинул нас и занял враждебную антисоветскую позицию, наши пути разошлись и он перестал быть мне соратником и другом. Не понимаю, как слова, продиктованные мне горячей любовью к близкому другу, о том, что он мог бы прожить эти десять лет больной, лишенный работоспособности, могли быть истолкованы как политический выпад и нападки на недостаточную у нас заботливость об ученых. А что я дальше сказал, что легче жилось бы с другом, чем без него, то неужели и здесь возможно усмотреть заднюю мысль? У меня ее, во всяком случае, не было. Подвожу итог затянувшемуся объяснению: я – советский ученый, доказавший 11 годами упорного [и], уверен, полезного для советского строительства, труда – научного, организационного и административного – и отождествляющий себя с тем советским строем, в котором я сознательно остался жить и работать. Уверен, что те органы печати, которые обсуждали мои действия, напечатают это мое объяснение.[52]

---

[51] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 72–74.

[52] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 83–83 об. (письмо от 26 ноября). Здесь же на лл. 72–74 – подлинник письма от 25 ноября.

Текст письма, подписанного Жебелевым, был в тот же день отправлен С. Ф. Ольденбургом в ОНУ при СНК как «предназначенный для печати в качестве публичного его заявления», а 27 ноября – Луначарскому. В письме наркому просвещения Ольденбург подчеркнул: «Я считаю эти объяснения исчерпывающими и думаю, что это дело, значение которого слишком уже преувеличено, могло бы, наконец, получить свое заключение. Письмо С. А. Жебелева было лично прочитано мною А. С. Енукидзе».[53] 26 ноября Е. Г. Ольденбург записала содержание своей беседы с заведующим ОНУ при СНК СССР Е. П. Вороновым: «Я его спросила прямо – когда кончится дело Жебелева? Он сначала притворился, что будто не понял, но я еще настойчивее его просила одно и то же. Он ответил, что <…> будто кто-то из стоящих на советской платформе академиков предлагали исключить Жебелева из членов Академии наук. Я горячо отрицала это и сказала, что насколько я знаю, это предложение идет не от академиков, и дала ему понять, что знаю, что предложение исходит от него. На это он мне сказал: дело пустое, его раздули, оно не стоит выеденного яйца».[54]

В тот же день начальник Главнауки Наркомпроса М. Н. Лядов направил письмо председателю ГАИМК акад. Н. Я. Марру с требованием, чтобы тот немедленно отстранил своего заместителя С. А. Жебелева от работы.[55] 26 ноября было срочно созвано Правление ГАИМК под председательством Марра, в присутствии ученого секретаря ГАИМК И. И. Мещанинова, ученого секретаря Института археологической технологии ГАИМК М. В. Фармаковского и уполномоченной СНР М. А. Тихановой-Клименко. На нем было рассмотрено заявление Жебелева, якобы написанное еще 15 ноября, об освобождении его от должности товарища председателя ГАИМК по собственному желанию, «каковое <…> удовлетворено было Председателем Академии того же числа». Мои усилия разыскать подлинник этого документа ни к чему не привели – и это скорее всего свидетельствует о том, что такого заявления не было и в помине. Марр разъяснил, что, «хотя РАНИОН поручил ему провести перевыборы Президиума лишь после утверждения научного персонала Академии, он не счел возможным дальнейшее оставление С. А. Жебелева в должности товарища председателя и в нарушение устава, поручения РАНИОНа и коллегиальных отношений в самой Академии освободил С. А. Жебелева от означенной должно-

[53] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 71, 88 и об.

[54] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 51–51 об.

[55] Красная газета. Веч. вып. 1928. 27 нояб.

сти. Об этом своем решении он осведомил заместителя начальника Главнауки и РАНИОН и получил полное одобрение. <…> Вместе с тем РАНИОН, утвердив Жебелева в должности члена Академии, предоставил председателю Академии полную свободу действий в вопросе о замещении вакантной должности товарища председателя, признав возможным и целесообразным выбор товарища председателя произвести из среды беспартийных научных работников соответственной квалификации, от чего Председатель Академии категорически отказался, указав на необходимость замещения этого поста партийным работником, с тем, однако, условием, чтобы он имел возможность уделять ежедневно достаточное количество времени работе Академии, и, не будучи специалистом, ясно представлять себе ценность и актуальность производимой в Академии работы». Правление ГАИМК постановило сообщение Н. Я. Марра принять к сведению, редактирование очередного тома «Сообщений ГАИМК», ранее находившееся в ведении Жебелева, передать председателю, а представителем Правления ГАИМК в РКК вместо Жебелева назначить И. И. Мещанинова.[56] Таким образом, Правление ГАИМК повело себя корректнее по отношению к Жебелеву, чем Президиум АН СССР – оно стремилось избежать нападок в адрес коллеги в официальных документах, оберегая его самолюбие.

27 ноября Е. Г. Ольденбург отметила: «Вчера <…> Марр по-грузински говорил с Енукидзе, и разговор был благоприятный для Жебелева. Тут же Енукидзе прочитал письмо Жебелева, которое будет завтра в печати…» На частном совещании академиков у президента А. П. Карпинского обсуждались результаты хлопот Президиума по делу Жебелева, где Крачковский дал свои объяснения по поводу своего участия в пражском сборнике, затем был поднят вопрос о выборах коммунистов в АН.[57] 28 ноября Президиум АН СССР собрался вновь и заслушал объяснения Жебе-

[56] РА ИИМК РАН, ф. 2, оп. 1–1928, д. 7, л. 81–81 об. § 671.

[57] Там же, л. 51 об.–52. Далее в дневнике: «Вернадский предложил выработать общую формулировку, <…> говорил умно и очень сдержанно. На его слова Иван Петрович Павлов, точно сорвавшись с цепи, крикнул – "Это лакейство, что Вы предлагаете!" <…> Павлов почти кричал, что большевикам надо себя показать, что их нечего бояться, что никаких предварительных сговоров не нужно, что каждый может и должен поступать индивидуально и т. д. <…> Ему поддакивал и Костычев, говоря, что надо класть черняка, что нечего остерегаться, что это пустые слова, запугивание. Также бурчал и старец Иван Парфентьевич (Бородин. – *И. Т.*), что вот уже 11 лет все пугают и пугают и слава Богу все академики и Академия живут благополучно. И все перемены идут крайне медленно!! Сергей говорит, что ему хотелось крикнуть – Да Вы за нашими спинами, Вам хорошо так говорить! – Горячо вначале говорил Марр, а потом замолчал! <…> Главное, что поразило Сергея, это слова И. П. Павлова, которые повторялись Кос-

лева по поводу статьи в вечернем выпуске «Красной газеты» о его отношении к месткому АН, а также объяснения И. Ю. Крачковского. Копии заявлений академиков были направлены в Отдел научных учреждений СНК и в редакцию «Красной газеты»,[58] но в печати не появились. Вечером состоялось заседание Бюро Ленинградской СНР, длившееся свыше трех часов, где были заслушаны заявления девяти участников пражского сборника, зачитаны протоколы заседаний профактивов ГАИМК и ЛГУ, покаянное письмо Н. П. Сычева в адрес В. А. Зеленко с объяснениями причин публикации его статьи в Праге, заявления членов Бюро Р. А. Орбели и Е. С. Рубинштейн «о присоединении их к постановлению Бюро от 21 ноября по данному вопросу», письма в Бюро СНР и Н. Я. Марру акад. Жебелева с просьбой пересмотреть исключение последнего из числа членов секции. Выступившие В. Н. Кораблев и В. В. Рейхардт отметили необходимость оставить в силе принятое 21 ноября решение Бюро. Кораблев обвинил Жебелева в неискренности, поставив ему в вину то, что в 1920 г. в «Русском историческом журнале» им был опубликован некролог акад. Б. А. Тураева, «исполненный христианских чувств с похвалами национально-патриотической деятельности покойного <...> и с утверждением, что Тураеву на том свете уготована как истинному христианину жизнь вечная», где Жебелев, как и в статье памяти Смирнова, писал о невозможных условиях научной работы в Советской России. «Жебелева не нужно изгонять и бойкотировать в научной среде, – говорил Кораблев. – Но оставаться для него в рядах Академии наук в момент, когда к ее деятельности привлечено внимание всех трудящихся СССР, было бы неуместным». На это последовали возражения со стороны Ольденбурга, призывавшего членов Секции поверить искренности заявления Жебелева.[59] Непременный секретарь вынужден был пойти на явную ложь – по поводу опубликованного в газетах решения ВАРНИТСО о недопустимости пребывания в рядах АН СССР Жебелева и ученых-эмигрантов он заявил, что М. И. Ростовцев и П. Б. Струве уже с 1920 г. не состоят членами Академии наук.[60] Ленинградское бюро СНР постановило «решение по суще-

---

тычевым, Лавровым, Перетцем, Бородиным: "Мы же не коммунисты, чтобы о чем-нибудь договариваться заранее, мы действуем свободно, сохраняя каждый свою индивидуальность!" <...> Сергей мне говорит, что у него такое чувство, точно он какой-то камень невыносимо тяжелый катит в гору, и когда кажется, что он этот камень докатил до верху, то камень опять падает вниз!!» (Там же, л. 52–52 об.).

[58] ПФА РАН, ф. 2, оп. 1–1928, д. 191, л. 190 (протокол № 65).

[59] Еще о поступке акад. С. А. Жебелева // Красная газета. Веч. вып. 1918. 29 нояб.; Вокруг выступления академика Жебелева // Известия. 1928. 1 дек.

[60] Известия. 1928. 1 дек.

ству заявления С. А. Жебелева принять на следующем заседании <…>, считая необходимым предварительное ознакомление с первыми двумя томами сборника *Семинариум Кондаковианум*».

На том же заседании рассматривалось и заявление аспиранта археолога В. И. Равдоникаса «с просьбой дать указания, считает ли Ленинградское Бюро СНР допустимым участие в финляндском сборнике *Евразия Септентрионалис*, выходящем под редакцией А. М. Тальгрена,[61] в честь А. А. Спицына». Бюро предложило Равдоникасу обратиться в Агенство Народного комиссариата иностранных дел в Ленинграде с просьбой «выяснить характер, состав участников сборника и возможность в нем участия через советское полпредство в Гельсингфорсе».[62] Таким образом, следствием «дела Жебелева» стал фактический запрет на публикации научных исследований советских ученых в эмигрантских журналах, резкое сокращение их изданий в иностранной научной периодике и прекращение книгообмена, что в конечном итоге привело к самоизоляции советской науки и разрыву научных связей с зарубежными коллегами.[63]

4 декабря Е. Г. Ольденбург записала: «28 ноября было заседание секции научных работников, где снова Кораблев травил, хотя и с опаской, Жебелева. Державин молчал – видит, что в общем дело „их" не выгорает. Говорил Сергей и Марр. Назавтра в газетах появился преднамеренно искаженный отчет о вчерашнем заседании. До сих пор не напечатали (т. е. до 29.11) второго письма Жебелева, напечатали его только в пятницу 30.11 по приказу из Москвы. Я слы-

[61] Тальгрен (Tallgren) Арне Михаэль (1885–1945) – финский историк и археолог, специалист по археологии бронзового и раннего железного века Восточной Европы, член АН Финляндии (1926). Профессор университетов в Тарту (1920–1923) и Хельсинки (с 1923 г.), председатель Финского археологического общества (1930–1942) и редактор его печатного органа *Eurasia Septentrionalis Antiqua* (1926–1938). Неоднократно бывал в России (1908, 1909, 1915, февраль 1917, 1924, 1925, 1928 и 1935), знал лично крупнейших русских археологов, участвовал в археологических раскопках на территории России.

[62] ЦГА СПб, ф. 6307, оп. 11–1928, д. 32, л. 99–99 об. См. также в д. 81 подлинники заявлений С. А. Жебелева (авторизованная машинопись) от 26 ноября (Л. 25–25 об.), Н. П. Сычева от 22 ноября (Л. 33–33 об.) и В. И. Равдоникаса от 23 ноября (Л. 27) в адрес В. А. Зеленко.

[63] Заместитель директора РАНИОН В. М. Фриче в апреле 1929 г. уведомил пражский Семинар им. Н. П. Кондакова: «Коллегия НИИАиИ РАНИОН доводит до Вашего сведения, что помещение в выпускаемых Вами книгах выпадов, направленных против СССР, побуждает коллегию отказаться от продолжения обмена изданиями, установившегося между Институтом и семинарием Кондакова». Цит. по: *В. Т. Пашуто*. Русские историки-эмигранты в Европе. М. 1992, 42.

шала отзывы об этом письме, как о письме очень умном и тактичном в политическом отношении. Никто не знает, что письмо почти целиком написано Сергеем – т. е. об этом сразу догадался Воронов, как умный человек, но это совершенно безразлично, кто писал, главное в том, что Жебелев подписал свое имя под письмом, значит, он его признает своим <...>. Хорошо, что дело Жебелева кончилось, ну а другие арестованные в связи с его делом? Они ведь сидят, и сейчас неблагоприятный момент напоминать о них».[64]

Дело Жебелева отразилось на судьбе другого известного ученого, сотрудничавшего с пражским Семинарием им. Н. П. Кондакова. 3 декабря в московских, а 7 декабря в центральных газетах появилось сообщение о заседании Коллегии Научно-исследовательского института археологии и искусствознания (НИИАиИ) РАНИОН в Москве, состоявшемся 29 ноября, на котором было вынесено осуждение профессору А. И. Анисимову,[65] издавшему книгу «Владимирская икона Божьей Матери» в серии «Памятники иконописи» в Праге на средства Министерства иностранных дел Чехословакии и графа В. Н. Коковцова, и статью с тем же названием в томе трудов Кондаковского семинария. Коллегию возмутило то, что в предисловии редактора серии эмигранта Н. А. Беляева подчеркивалась сложность издания научных трудов по древнерусскому искусству в СССР. Эти публикации коллегией были расценены как ненаучные и носящие антисоветский характер, а действия А. И. Анисимова признаны несовместимыми со званием действительного члена института. Коллегия постановила внести в Президиум

[64] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 52 об.–55. Далее в дневнике: «Но главное, чем была занята эта вся неделя – это выборы, выборы, решительный день приближался с каждым часом, и вот завтра уже будут выборы!» (Там же, л. 55). Здесь же подшито подлинное письмо Жебелева Ольденбургу от 3 декабря 1928 г. с выражением искренней признательности за помощь в трудную минуту: «Дорогой Сергей Федорович, третий день я стремлюсь повидать Вас, но все не удается. Повидать же я Вас хотел только для того, чтобы сказать Вам, хотя высказать уменья у меня не хватит, как я признателен Вам за то добросердечное участие, которое Вы приняли, и так энергично, в моем деле. Если бы Ваше сердце и Ваш ум не пришли мне на помощь, очень плохо бы мне пришлось, а теперь пусть будет что будет, но Ваше дружески доброе ко мне отношение навсегда закреплено в моем сердце. Душевно Вам преданный С. Жебелев» (Там же, л. 56).

[65] Анисимов Александр Иванович (1877–1932, по другим данным 1939?) – историк древнерусского искусства, реставратор. С 1920 г. научный сотрудник Реставрационной комиссии Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса, с 1924 г. – Центральных государственных реставрационных мастерских; действительный внештатный член Научно-исследовательского института археологии и искусствознания (НИИАиИ) РАНИОН. Арестован в 1930 г. Погиб в заключении.

РАНИОН предложение о его исключении из числа действительных членов института.[66]

Не удовлетворившись устными объяснениями академического руководства об исключении ученых-эмигрантов из АН СССР, 1 декабря ЦБ ВАРНИТСО постановило просить Академию наук прислать выписку из протокола об исключении из числа академиков Ростовцева и Струве.[67] Травля Академии наук с требованиями исключить Жебелева из числа действительных членов в печати продолжалась: «Жебелев – не случайность, подобных жебелевскому выступлений мы будем иметь еще не одно <…>. Пусть выплывут на поверхность враги пролетариата, – это позволит <…> очиститься от враждебных, инородных сил…»[68] 9 декабря Е. Г. Ольденбург записала содержание бесед С. Ф. Ольденбурга, вернувшегося из Москвы вместе с Н. П. Горбуновым: «Настроение тяжелое, Марр остался там (в Москве. – *И. Т.*) до среды, до дня выборов II отделения. Идет определенный поход против интеллигенции, вызванный отчасти и поведением самой интеллигенции, отчасти и трудным политическим моментом. Дело Жебелева еще не кончено. Очень трудно положение Н. Я. Марра, как видно по статье Н. Семашко.[69] Выходит, что печатают только то, что находят выгодным <…>.

---

[66] Антисоветская работа под флагом науки: Протест РАНИОН // Вечерняя Москва. 1928. 3 дек.; Об участии проф. А. И. Анисимова в эмигрантском журнале // Известия. 1928. 7 дек. В личном деле Жебелева сохранилась копия письма Анисимова в Президиум РАНИОН от 7 декабря с протестом против решения коллегии НИИАиИ. Профессор объяснял, что инкриминируемая книга является докладом, прочитанным еще в мае 1922 г. в НИИАиИ и Московском археологическом обществе, а в августе того же года в РАО, где его исследование было высоко оценено. Подготовленная к печати в издательстве Сабашниковых рукопись имела разрешение Главлита, т. е. прошла советскую цензуру и т. п. «Я не могу не остановить внимание Президиума на ненормальности условий, в которых протекало обсуждение моей книги. Коллегия, принимая свое решение, не только не подумала предварительно затребовать от меня объяснений, но почему то поспешила известить немедленно о принятом ею решении все учреждения, где я служу, и даже печать <…>. Даже простого вора-рецидивиста предварительно выслушивают, соблюдая элементарные требования истины и справедливости <…>. Теперь Коллегия института пытается опорочить мое имя как ученого, привлекая для этого в качестве материала тот доклад, который родился в недрах ее же собственной работы». См.: ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 97–101.

[67] ЦГА СПб, ф. 7450, оп. 1, д. 2, л. 116–117.

[68] Требуем исключения из Академии наук! // Красная Татария. 1928. 8 дек.

[69] Речь идет о статье наркома здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко «Симптом опасной болезни» (Известия. 1928. 7 дек). Резко выступив против «мнимой аполитичности науки», автор отнес Жебелева к стану откровенных контрреволюционеров и потребовал «прочистить атмосферу в наших ученых и учебных учреждениях», призвал бороться с «правыми настроениями» среди ученых. По мнению Семашко, «выступле-

Воронов считает дело Жебелева не оконченным, пока не выскажется „общественное мнение“, т. е. Секция научных работников. А как она выскажется в среду 12-го, уже известно, достаточно помнить о Зеленко. Также против Жебелева и Горбунов. В Москве сочинили, что Сергей читал по радио письмо Жебелева, этому слуху поверил и Ефим Павлович (Воронов. – *И. Т.*), а Авель Сафронович (Енукидзе. – *И. Т.*) сразу сказал, что это вздор… <…> Конечно, если партия не считается со своими, то что же делать с беспартийными? В виду этого надо особенно быть осторожными с выборами 12-го, если будет неблагополучно, то по мнению Сергея, не пройдет и недели, как последует разъяснение об удалении из числа академиков Жебелева, Карского, Истрина…»[70] В тот же день С. Ф. Ольденбург беседовал с отдельными академиками и откровенно им разъяснил, что при неблагоприятном для кандидатов-коммунистов исходе выборов положение самой АН СССР крайне ухудшится, и что властями намечены несколько действительных членов по Отделению гуманитарных наук, которые будут немедленно исключены из Академии. При этом одни называли фамилии акад. В. М. Истрина, А. И. Соболевского, П. А. Лаврова и Б. М. Ляпунова, другие – акад. А. И. Соболевского, Н. К. Никольского, С. А. Жебелева и П. А. Лаврова.[71]

В эмигрантских газетах, в берлинском «Руле», парижских «Последних новостях» и др. появились статьи под заголовками «„Преступление“ С. А. Жебелева», «Дело академика Жебелева», «Арест ак. Жебелева», грешившие неточностями. В некоторых газетах, например в «Руле», ошибочно утверждалось, что С. А. Жебелев был арестован и сослан в Нарымский край. 10 декабря М. И. Ростовцев с возмущением писал А. А. Васильеву: «Не знаю, сообщили ли тебе наши друзья из Советской России о том, что эти мерзавцы сделали с Сергеем Александровичем. Ты не читаешь эмигрантских газет и потому прилагаю две вырезки. Кроме того, я получил из Советской России вырезку из „Красной газеты“, вырезку того же содержания с припиской: „по инициативе Богаевского“ <…>. В „Красной газете“, очевидно, передано содержание „доноса“ Богаевского, и в этом доносе крупную роль играет то, что профессора из России осмелились сотрудничать в книге,

ние Жебелева и К° являлось ни чем иным, как «политическим отражением выступления кулака в деревне». «Сейчас мы переживаем такой момент, когда всякий, кто не за нас, – тот против нас»,– резюмировал нарком.

[70] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 66–66 об.

[71] *П. К. Коковцов.* Для установления истины, 151–152.

в которой статья написана таким „махровым белогвардейцем", как я. Инсинуируется, что Сергей Александрович разделял мою „идеологию"».[72]

11 декабря в «Красной газете» появилась статья партийного публициста Д. И. Заславского «Влюбленные антропосы», посвященная делу Жебелева и откликам на нее в немецкой «Фоссише Цайтунг». «Для антропоса, да еще влюбленного, нет на свете выше древнегреческого языка», – писал автор, припомнивший Жебелеву и то, что он состоял одним из редакторов Журнала Министерства народного просвещения, т. е. «был одним из столпов нашего школьного „классицизма"», и то, что за пять лет «лихолетья» он опубликовал семь книг, а «академик Ростовцев, упокоящийся (sic! – *Ред.*) ныне в лоне эмигрантовом – книжицу ни много ни мало в 621 стр. под названием *Скифия и Боспор*». Направленность статьи задевала интересы всех академиков – «антропосы не имеют право жаловаться. И если они все же косятся в сторону Праги, в сторону эмигрантских ученых, то не потому, что в Советском Союзе тесно для их науки. Тянут в их сторону политические симпатии, тянет страстишка неискоренимая в людях, которые были при старом строе привилегированными антропосами, статскими и действительными статскими советниками, получали за ученость звезды и ордена, а теперь в советских условиях должны были превратиться просто в ученых с расценкой талантов не по усердию и усидчивости, а по подлинному научному дарованию. <…> Президиум Академии не пожелал применить к академику Жебелеву статью, карающую за выступление, враждебное советской власти. Он удовлетворился конфузным лепетом академика. Академик Жебелев по прежнему украшает собой Академию наук. <…> Если бы у „либеральной" немецкой газеты была хоть капля добросовестности она отметила бы, что советские ученые нисколько не стеснены в научной своей деятельности, но что советская общественность не может примириться с контрреволюционными вылазками под маской квази-науки».[73]

---

[72] *Г. М. Бонгард-Левин, И. В. Тункина.* М. И. Ростовцев и А. А. Васильев: Шесть десятилетий дружбы и творческого сотрудничества // Скифский роман. М. 1997, 270.

[73] *Д. Заславский*. Влюбленные антропосы // Красная газета. Веч. вып. 1928. 11 дек. См. также: *Д. Заславский*. Лихолетие старой науки: о «жебелевщине» // Революция и культура № 23/24 (1928), 20–27. Об этой статье мне любезно сообщил Александр Галушкин (в письме от 23 октября 1997 г.), который заинтересовался «делом Жебелева» в связи аналогичным по характеру «делом Пильняка и Замятина» 1928–1930 гг. Как известно, Пильняк и Замятин были в августе 1929 г. обвинены «Литературной газетой» в сотрудничестве с «белогвардейскими изданиями», после чего последовала боль-

Между тем среди отдельных действительных членов АН СССР нарастало недовольство действиями академического руководства из-за позиции безоговорочного подчинения требованиям властей и публичного самобичевания, занятой в ходе выборов и дела Жебелева. 11 декабря на частном совещании академиков – членов ОГН между непременным секретарем и акад. В. В. Бартольдом состоялся разговор: В. В. Бартольд заявил, что по делу Жебелева было принято решение одного Президиума без созыва Общего собрания, и все академики должны были уже считаться с готовым решением. Возражения Ольденбурга сводились к следующему – «если бы Президиум ждал созыва Общего собрания, то тогда Жебелева давно бы не было среди академиков, что это был <…> момент, когда каждое промедление могло вести за собою катастрофу, – писала Е. Г. Ольденбург. – Затем Сергей еще добавил, что Бартольд так <…> далеко от академических дел, что не улавливает, как иногда дело спешно надо решать и брать на себя ответственность за принятое решение, что не всегда легко и очень неприятно. Но все же Сергей не убедил Бартольда, и он остался при своем».[74]

Результатом давления на АН СССР стало то, что на выборах по отделениям – в Отделение физико-математических наук 5 декабря и Отделение гуманитарных наук 12 декабря – были избраны все намеченные властями кандидаты. Используя «дело Жебелева» как инструмент воздействия на Академию, ОНУ при СНК СССР и ВАРНИТСО добились решения Общего собрания АН СССР 15 декабря 1928 г. об исключении ученых-эмигрантов из состава своих членов.[75] В результате соглашательской позиции Президиума и Общего собрания из АН СССР были изгнаны многие выдающиеся русские ученые, оказавшиеся за границей, в том числе акад. М. И. Ростовцев, П. Б. Струве и др., члены-корреспонденты Н. Н. Глубоковский, А. А. Кизеветтер, Е. Ф. Шмурло и др., почетные академики И. А. Бунин, Ф. Ф. Зелинский и П. Н. Игнатьев.

В преддверии решающего Общего собрания, которое было назначено на 12 января для окончательной баллотировки избранных по отделениям кандидатов, власти решили немного ослабить нажим на АН

шая «проработочная дискуссия», результатом которой стали, с одной стороны, эмиграция Замятина в 1931 г., с другой – публичные покаяния Пильняка; кроме того, была проведена «большая чистка» литературных объединений СССР, что закончилось, в свою очередь, созданием Союза писателей СССР в 1934 г.

[74] ПФА РАН, ф. 208, оп. 2, д. 57, л. 70 об.–71 об.

[75] ПФА РАН, ф. 1, оп. 1–1928, д. 250, л. 99–100. Общее собрание, § 245.

СССР и спустить дело Жебелева на тормозах. Опасаясь неблагоприятного решения СНР, 18 декабря Ольденбург обратился с просьбой к В. А. Зеленко перенести заседание бюро Ленинградской секции, где должно было вновь обсуждаться дело Жебелева, на более поздний срок в связи с отсутствием Н. Я. Марра, «столь хорошо знакомого со всеми обстоятельствами указанного дела».[76] Но, несмотря на это, заседание, несомненно, по указке сверху, состоялось в намеченный ранее срок. Удовлетворившись объяснениями Жебелева и приняв во внимание позицию академического руководства, однозначно ставшего на защиту коллеги, Ленинградское бюро СНР 19 декабря 1928 г. рассмотрело ходатайство академика о восстановлении его членства в СНР. «Заслушав постановления научных работников по вопросу о сотрудничестве членов Секции и других научных работников в *Семинариум Кондаковианум*, – записано в резолюции, – Ленинградское бюро СНР с чувством глубокого удовлетворения отмечает большую общественную чуткость, проявленную со стороны широких кругов членов секции <…>. В отношении группы научных работников <…>, приславших свои объяснения по поводу участия в *Кондаковском Семинарии*, Ленинградское бюро считает вопрос исчерпанным. <…> Рассмотрев заявление академика С. А. Жебелева, Ленинградское бюро констатирует, что прежняя близость с проф. Ростовцевым и наличие некоторых тревожных показателей в первых выпусках *Семинариум Кондаковианум* могли удержать от посылки туда своей работы и от пользования такой терминологией, которая стирает границы между эмигрантом и советским ученым, желающим честно отдавать свои силы, опыт и знания трудящимся. Принимая, однако, во внимание то, что академик С. А. Жебелев резко и безоговорочно отмежевался в своем заявлении от белоэмигрантов и от своего бывшего друга Ростовцева, а также несомненное желание оставаться в рядах членов СНР, ленинградское бюро считает возможным, в изменение своего постановления от 21 ноября с. г.: а) восстановить академика С. А. Жебелева членом СНР без перерыва стажа, и б) постановку вопроса о применении к акад. С. А. Жебелеву параграфа 22 Устава Академии наук признать отпавшей».[77] Однако решения Ленинградского бюро СНР в пользу Жебелева были опубликованы в печати лишь 21 декабря.[78]

---

[76] ПФА РАН. ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 102.

[77] ЦГА СПб, ф. 6307, оп. 11. д. 32, л. 101; 104–104 об.

[78] См.: Дело академика Жебелева // Правда. 1928. 21 дек.: То же // Экономическая жизнь. 1928. 21 дек.

Но к тому времени «дело Жебелева» получило международный резонанс. А. М. Тальгрен обратился с письмом в Главнауку Наркомпроса, заявив о недопустимости политической травли и подавления ученых в СССР. Не дождавшись ответа, он опубликовал письмо 16 декабря 1928 г. в газете «Helsingin Sanomat» под заголовками «Преследование ученых в Советской России. Протест против советских властей. Во имя свободы международных исследований». «Вожди Советской России заявляют, – писал Тальгрен, – что нынешнее правительство содействует науке и культуре и что оно стремится к широкому участию в международной культурной работе. При такой установке вполне естественно, что ученые, проживающие на территории Советской России, публикуют свои исследования и в заграничных журналах и что в Москве имеется общество культурной связи с заграницей. На территории Советской России имеются выдающиеся ученые, которые пользуются уважением заграничных профессиональных исследователей и которыми народ и его правительство – какое бы оно ни было – смело могут гордиться. В частности, к числу таких ученых относятся и те, которые работают в области изучения материальной культуры и искусства, особенно истории восточного искусства. После того, как в России установилась коммунистическая власть, часть ее исследователей бежала за границу. Из специалистов по упомянутым выше наукам эмигрировали, между прочим, Н. П. Кондаков, известный исследователь византийского искусства, и гениальный классик и археолог М. И. Ростовцев, теперь профессор Йельского университета в Соединенных Штатах Америки. Эмигранты-ученые выпускают в Праге чисто научную серию изданий, которая в память ныне покойного профессора Кондакова носит название *Seminarium Kondakovianum* и которая бесспорно является ценной научной серией. В ней писали также некоторые проживающие в России видные исследователи. Но теперь выясняется из газет <…>, что этих авторов вследствие этого начали преследовать. Дальше всего зашли преследования в отношении академика профессора С. Жебелева, которого исключили из Союза научных работников и уволили с его должности вице-председателя Академии истории материальной культуры. Утверждают, что его задержали и выслали в Сибирь, в Нарымскую область, но этого сообщения мне не удалось проверить. Научная работа этого ученого, бывшего декана факультета, а затем ректора Петроградского университета, таким образом прекращается. Причиной этого является написанный профессором Жебелевым в *Seminarium Kondakovianum* некролог о проф. Я. И. Смирнове, известном исследователе восточного искусства, умершем в Петрограде (не был, следовательно, эмигрантом) в конце 1918 г. Я прочел снова этот некролог и не понимаю,

каким образом эта хорошая, прочувствованная статья могла вызвать те преследования, которым подвергался проф. Жебелев. В московских „Известиях" № 272 приводятся в виде особенно отягчающих обстоятельств следующие две фразы из некролога: 1) „Археологический метод работы Якова Ивановича (т. е. Смирнова) является строго историко-филологическим без каких-либо уклонений в 'художественное исследование', 'социологию' и тому подобные модные течения"; 2) Профессор Жебелев упоминает дважды профессора Ростовцева, как „моего и Якова Ивановича общего друга и соратника". Вдобавок в упомянутом номере „Известий" резко осуждалось то, что Жебелев последовавшие за революцией тяжелые годы назвал лихолетьем, а также последние слова некролога: „...иногда думаешь: пожалуй, судьба знала, что делала, когда она не дала Я. И. прожить еще эти 9 лет (некролог написан в 1927 году). Но некоторым из нас, оставшимся после него, эта мысль не дает утешения. Ибо, если бы Я. И. прожил еще 9 лет, то нам было бы легче прожить их вместе с ним". Во имя свободы науки и международных исследований обращаюсь к научному центральному управлению (Главнаука) Комиссариата народного просвещения Советского Союза с вопросом, является ли вышеприведенное изложение правильным, и предлагаю вам воспользоваться своим авторитетом для воздействия, чтобы положение ученых не делали невозможным и чтобы науку не подавляли и не губили. Весть о происшедшем произвела самое тяжелое и удручающее впечатление на ученых за границей. Прежде чем я выскажу ту оценку, которую сообщенные „Известиями" факты заслуживают, я жду вашего разъяснения. Нижеподписавшийся осмелился взять слово и обратиться к вам между прочим потому, что сам издает и редактирует международный журнал, в котором принимали участие и советско-русские исследователи. Одновременно с этим я, конечно, освобождаю их от всяких обещаний сотрудничать в будущем, чтобы вопреки моему желанию не поставить в опасность их положение. Я выступаю и потому, что являюсь заинтересованною стороною: меня пригласили в состав членов той уважаемой академии, с должности вице-председателя которой профессор Жебелев по изложенным мною причинам уволен. Профессор, доктор А. М. Тальгрен, редактор *Eurasia Septentrionalis Antiqua*, член-корреспондент Российской Академии истории материальной культуры, член археологической комиссии Украинской Академии наук и десяти прочих восточно-европейских археологических учреждений и обществ. Гельсингфорс, 15 декабря 1928 года».[79]

[79] *A. M. Tallgren* Tiedemiesten vaino Neuvosto-Venäjällä // Helsingin Sanomat. 1928. 16. 12. № 343. См. текстуальный перевод в личном деле Жебелева: ПФА РАН, ф. 2, оп.

Письмо А. М. Тальгрена в Главнауку было получено руководством АН СССР 10 декабря вечером из ОНУ при СНК СССР с запиской от Е. П. Воронова, где он просил продумать ответ со стороны Академии наук, ГАИМК и АН УССР. Е. Г. Ольденбург записала реакцию мужа: «Сергей справедливо думает, что такому большому учреждению, как Академия наук, нельзя отвечать на письмо одного частного лица <…>, потому что это письмо не свидетельствует о большом уме проф. Тальгрена. Неужели опять начинается шумиха по поводу так называемого „Жебелевского дела“?» 11 декабря в Ленинград приехали Е. П. Воронов и Н. П. Горбунов, с которыми С. Ф. Ольденбург обсудил ситуацию в связи с письмом Тальгрена. Однако отвечать на него академическому руководству все же пришлось из-за сложившейся ситуации с выборами.

На Общем собрании 12 января 1929 г. академики показали свое истинное отношение к навязанным властями кандидатам. Копившееся раздражение за постоянное унижение в прессе, неуважение к мнению свободного научного сообщества закончились неизбранием трех кандидатов-коммунистов. Около 12 часов ночи Е. Г. Ольденбург записала полные возмущения строки: «Произошло что-то кошмарное! Они провалили трех кандидатов: Деборин, Фриче и Лукин! <…> Что заявили здесь академики? Что они несоветские люди, это, конечно, они показали вполне, но хуже еще, что им доверять нельзя, что они трусы! Трусы! Не иметь мужества выразить свое мнение прямо в комиссиях и в Отделении и, прячась за спину других, подпустить „чернячок“, – я, мол, тоже не за большевиков».[80] Президиум АН СССР нашел выход из сложившейся ситуации, решив провести повторные выборы с участием вновь избранных академиков, но это решение требовало утверждения Общего собрания.

Чтобы засвидетельствовать лояльность Академии наук советской власти после провала выборов коммунистов, Ольденбург вынужден был немедленно отреагировать на письмо Тальгрена и написать опровержение не только от себя, но и от лица Жебелева, что подтверждают записи в дневнике Елены Григорьевны.[81] 14 января 1929 г. Жебелев составил краткое обращение в адрес финского коллеги, где вынужден был пойти на явную ложь: якобы он сам просил снять с него обязанности

17, д. 201, л. 116–117. В советской прессе опубликовано под названием: Открытое письмо проф. Тальгрена // Известия. 1929. 24 янв.

[80] ПФА РАН. ф. 208, оп. 2, д. 57. л. 81 об.

[81] Там же, л. 94.

товарища председателя ГАИМК еще с 15 ноября 1928 г.; что его объяснения о статье в пражском сборнике Ленинградское бюро СНР признало удовлетворительным, поставив автору на вид «недопустимость <…> участия в таком издании, где имеется статья М. И. Ростовцева, вступительные строки которой носят ярко выраженный политический антисоветский характер, для чего, по моему убеждению, не может быть места в научном издании». «Не могу не выразить крайнего своего недоумения, что Вы, поддерживающий столь оживленные связи с советскими учеными, сообщили в газеты сведения, не дав себе труда предварительно тщательно проверить их», – заключил он.[82] Но лаконичность этого письма в данной ситуации не устраивала Ольденбурга, и он, как и прежде, отверг авторский текст и написал свой, 16 января лишь подписанный Жебелевым: «К сожалению, мы не учли того, что издание *Кондаковского Семинария* не осталось, как вы это говорите, на почве чистой науки, а в лице М. И. Ростовцева в самой резкой и оскорбительной для советских ученых форме бросило чисто политический вызов с полным осуждением тому послереволюционному советскому строю, в котором и на который мы работаем. Широкая общественность горячо откликнулась на происшедшее, потребовав объяснений у нас, напечатавших свои статьи в издании, которое уже одним напечатанием вызова М. И. Ростовцева, нам при посылке наших статей неизвестного, показало, что оно носит не чисто научный характер».[83]

Письмо самого С. Ф. Ольденбурга А. М. Тальгрену от 16 января 1929 г. содержало упреки в адрес финского ученого в фактической неверности приводимых им сведений, обращении к международной научной общественности через голову АН СССР и содержало достаточно резкую отповедь из-за вмешательства иностранца во внутренние дела советской науки. «Вы указываете на *Seminarium Kondakovianum*, как на чисто научное издание, – писал С. Ф. Ольденбург. – Статья проф. Ростовцева во втором томе этого издания имеет вступление чисто политического характера, глубоко возмутительное с точки зрения каждого лояльного советского гражданина. <…> Советские ученые сами умеют поддерживать те заграничные научные сношения, которыми они дорожат, и в помощи <…> они не нуждаются. <…> Не могу не выразить Вам глубокого сожаления по поводу того, что подвергая сомнению искренность заявлений Советской власти о содействии науке и культуре,

---

[82] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 111.

[83] Там же, л. 105–106. Опубл.: Ответ акад. С. Жебелева проф. Тальгрену // Известия 1929. 24 янв.

Вы не пожелали узнать мнения по этому вопросу наиболее компетентных людей, самих ученых. <…> Советская власть не только заявляет о том, что ставит науку базою Советского строительства, а делает все от нее зависящее для введения науки в жизнь и для содействия научной работе. Независимо от этого тот широкий интерес к науке, который проявляется у нас в массах, служит для наших ученых лучшим залогом того, что наука у нас не только не угнетена, а пустила могучие корни. Это особенно ясно из того, что у нашей молодежи, у тех, кто является сменою нам, сильнейшая тяга к науке. Это ясно видим не только мы, но и те из иностранцев, которые судят о нас и нашей работе беспристрастно».[84] Письма С. А. Жебелева и С. Ф. Ольденбурга в тот же день были отправлены А. М. Тальгрену.

Письмо финского ученого стало известно председателю ГАИМК акад. Н. Я. Марру лишь 17 декабря (он находился в научной командировке в Карелии). «Когда Академия истории материальной культуры ставила перед собой вопрос о привлечении Вас в число ее сотрудников, – писал Марр Тальгрену, – она, конечно, в полной мере осознавала все положительные стороны такого сотрудничества с Вами, высокий научный авторитет Ваш являлся для нее залогом, что Вы примете, как данное, наши общественные взгляды. Со своей же стороны мы, работники советской науки, не считали себя в праве подвергать критике основы социального и политического строя Вашей страны, как бы далеки они ни были нам. Однако, это наше последнее и, казалось, совершенно естественное предположение оказалось неосуществившимся. В своем письме в Главнауку <…> Вы сочли для себя возможным войти в обсуждение вопроса об академике С. А. Жебелеве и, таким образом, совершенно открыто доказали, как мало считаетесь Вы с тем учреждением, с которым Вы связаны и с руководителем которого не признали необходимым обменяться по этому поводу своим мнением. Может быть, если бы Вы запросили меня, то я сумел бы доказать Вам, что теоретические взгляды каждого исследователя находятся в неразрывной связи с идеологией того класса, к которому он примыкает, и что поэтому Ваша критика, Ваш протест являются абсолютно недопустимыми для морального достоинства советского ученого. Но Вы пошли другим путем и тем самым открыто показали, как глубоко наше расхождение с Вами». [85] 20 января Е. Г. Ольденбург записала: «Опять

[84] ПФА РАН, ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 103 с об. См. также: Письмо акад. С. Ф. Ольденбурга проф. Тальгрену // Известия. 1929. 24 янв.

[85] Письмо акад. Н. Марра проф. Тальгрену // Известия. 1929. 24 янв.

волнения – Марр ответил лично на письмо Тальгрена. Сергей полагает, что Марр должен был показать свой ответ, боится, что письмо его очень резкое и может навлечь неудовольствие заграничных ученых на русских ученых, но Воронов очень доволен резкостью письма Марра».[86] Нетерпимый и конфронтационный тон его был благосклонно встречен властями, и 24 января «Известия» опубликовали письмо Тальгрена и ответные письма Жебелева, Ольденбурга и Марра.[87]

Информативна и достаточно откровенна переписка коллег С. А. Жебелева с оценкой хода его дела и общей ситуации в АН СССР в конце 1920-х гг. Стараясь помочь Жебелеву, Ростовцев попытался привлечь внимание своих западных коллег к положению ученых в СССР и вызвать широкий общественный резонанс с осуждением политических методов воздействия на науку. 23 декабря он писал английскому историку Э. Миннзу: «Единственные, кто мог бы помочь, это немцы. Они <...> не очень склонны вмешиваться; но все же они одни могли бы что-либо сделать. К ним советские прислушиваются. Заявление Виганда и (министра) Becker'a, например, а также Rodenwaldt'a и Sarre частным образом, в письмах Луначарскому (но не Марру; этот безумный еще распалился) могут сыграть известную роль. Одно указание на то, что дело нехорошо без известной реакции в Европе, может много помочь».[88] Мне не удалось установить, послали ли немецкие ученые письма в защиту Жебелева; вероятно, все же послали, так как открытое письмо Тальгрена и ответы на него были напечатаны в советской прессе лишь месяц спустя после публикации письма Тальгрена в Финляндии.

В личном деле Жебелева сохранился подлинник ответного письма Тальгрена Ольденбургу от 19 января 1929 г., написанного на русском языке: «Многоуважаемый академик, благодарю Вас за Ваше письмо. Я был обрадован известием о том, что С. А. Жебелев продолжает работать в Академии. Последствия его статьи, помещенной в *Seminarium Kondakovianum*, – поскольку они касались его лично – вызвали среди заграничных ученых очень тяжелое впечатление, вследствие чего я позволил себе выразить его в моем открытом письме. Если бы я не вы-

[86] ПФА РАН. ф. 208. оп. 2. д. 57. л. 111.

[87] См.: Письмо профессора Тальгрена и достойный ответ советских ученых // Известия. 1929. 24 янв.

[88] Фонд Западных рукописей Библиотеки Кембриджского университета (Великобритания). Minns Papers. Add. MS 7722. Благодарю Г. М. Бонгард-Левина за разрешение процитировать указанное письмо.

ступил, то с таким обращением выступили бы ученые некоторых стран, и вследствие чего оно получило бы международный характер. Наука международна и реагирует. Я с удовольствием буду сообщать своим коллегам в других странах те фактические данные, которые сообщили мне и Вы, и С. А. Жебелев. Мне хорошо известно, что Ваша молодежь энергично и удачно работает в области науки и это сознание мне очень приятно. Да будет ее будущее светлым!»[89] И. И. Шитц оставил собственный комментарий к событиям: «Академический скандал разрешается. На днях финский ученый Тальгрен обратился с письмом по поводу *Семинариума Кондаковианум* (так. – *И. Т.*), газеты напечатали это письмо рядом с тут же помещенным „достойным ответом русского ученого“, именно Жебелева, который, сказав „а“, вынужден сказать и „б“, все гуще и гуще доказывая свою „советскость“. Кстати пристегнулся и Марр, с излияниями совсем уж неубедительными и даже грубоватыми. А Европа смотрит! Тальгрен имя очень крупное».[90]

Продолжалась эпопея с академическими выборами. 17 января состоялось экстраординарное Общее собрание АН СССР: 28 академиков голосовали за обращение в СНК СССР с просьбой о разрешении переизбрать трех кандидатов, не получивших требуемого Уставом большинства в две трети, 9 голосовали против (И. П. Павлов, В. Ф. Левинсон-Лессинг, Е. Ф. Карский, И. П. Бородин, Б. М. Ляпунов, П. А. Лавров, Д. М. Петрушевский, Б. Я. Владимирцов, П. Н. Сакулин), несколько человек воздержались.[91] Повторное голосование по забаллотированным на выборах кандидатам прошло гладко, чему способствовала искусно нагнетаемая атмосфера недовольства действиями АН со стороны общественности. Избранием в январе – феврале 1929 г. в свой состав первых коммунистов – историков Н. М. Лукина, Д. Б. Рязанова и М. Н. Покровского, литературоведов П. Н. Сакулина и В. М. Фриче, философа А. М. Деборина (Иоффе), государственных деятелей Н. И. Бухарина и Г. М. Кржижановского, – АН СССР выполнила важнейшее условие своего дальнейшего существования при советской власти.

М. И. Ростовцев узнал о происходящих на родине событиях, и 24 февраля 1929 г. попросил Тальгрена выслать ему все материалы по «делу» Жебелева: «Очень бы хотелось иметь текст Вашего письма и текст

---

[89] ПФА РАН. ф. 2, оп. 17, д. 201, л. 115 с об.

[90] *И. И. Шитц*. Указ. соч., 83 (запись от 25 января 1929 г.).

[91] Известия. 1929. 25 янв.; *Ф. Ф. Перченок*. Указ. соч., 186–187; *П. К. Коковцов*. Указ. соч., 152–153; 154–155.

ответов Жебелева, Марра и Ольденбурга. Чтение хотя и неприятное, но не бесполезное. Если есть у Вас лишние копии, пришлите. Глубоко жалко мне Сергея Александровича. Лжет человек, не переставая, и все знают, что лжет, но всё же заставляют его лгать – просто для собственного удовольствия. Для Ольденбурга лгать естественно. Он всю жизнь только это и делал. Но Сергей Александрович любит правду, и ему лгать, конечно, очень тяжело. А Марр просто забавен. Убедил себя в том, что он большевик, и поверил этому, как поверил фантому своему яфетическому».[92] Своими впечатлениями Ростовцев поделился и с А. А. Васильевым в письме от 29 февраля 1929 г.: «Положение в Академии не только сложно, но и глубоко противно. Все построено на сплошной лжи. Сергей Александрович, пишущий возмущенное письмо по адресу Тальгрена, который имел неосторожность сказать свое мнение о том, что выделывают обезьяньи морды, управляющие русской наукой! Что Ольденбург пишет такие письма, естественно. Он лгал всю жизнь, лжет и теперь. Что Марр поверил сам в свой большевизм, тоже не удивительно. Глупо только, что в своем ответе Тальгрену он читает нотацию мне, думая, что я ему не отвечу. Но заставить Сергея Александровича сказать еще раз ложь, явную для всех, это верх подлости и подлости ненужной. Все равно лжи Сергея Александровича никто не поверит. Положение в Академии я предвидел давно и давно тебе об этом говорил. Коготок увяз, всей птичке пропасть! Уступка за уступкой привела к естественному результату. Это только первый шаг. Раньше для большевиков гимны Академии были сладки: они ожидали иного, и им было бы нелегко заставить Академию петь гимны. Теперь они знают, что *чего бы они ни потребовали,* отказа не будет».[93] Получив все материалы по «делу» Жебелева от Тальгрена, Ростовцев ответил финскому коллеге 14 апреля 1929 г.: «Какое печальное зрелище эти ответы, полные лжи! Вся Советская Россия пропитана ложью. Лгут правители и заставляют нагло лгать своих рабов. Любопытно, что письма Ольденбурга и Жебелева напечатаны на той же машинке и, очевидно, написаны под диктовку одного человека, одним и тем же стилем, и только подписаны Жебелевым и Ольденбургом. Впрочем, это безразлично, а важно то, что оба лгут. Письмо Марра производит удручающее впечатление. Этот человек явно невменяем. Вся первая часть его письма – сплошной бред безумца. Вторая же часть – просто примитивно глупа.

[92] Письма М. И. Ростовцева А. М. Талльгрену / Публ. Г. М. Бонгард-Левина, И. В. Тункиной // Скифский роман, 513.

[93] *Г. М. Бонгард- Левин, И. В. Тункина.* М. И. Ростовцев и А. А. Васильев, 270.

Жалкая картина полного разложения людей когда-то честных, прямых и хороших ученых. Для меня лично особенно *интересна* была классификация моей статьи в *Seminarium Kondakovianum II* как статьи политической. В первых пяти строках я сказал несколько слов очень общих и даже не резких. Вообще я говорю обо всем этом в гораздо *более резких* тонах. Совершенно ясно, что притягивание моей статьи за волосы [–] какая-то идиотская увертка для того, чтобы оправдать действие, вызванное чем-то другим, вероятно, моим выступлением в Осло,[94] в чем Жебелева обвинить даже советское правительство не могло. Знаете ли Вы, почему они держат *четвертый месяц в тюрьме Бенешевича*? Это тоже прекрасная иллюстрация свободы Советской науки. Одно в письме Ольденбурга правда. Это, что молодежь стремится к знанию. Но что ей дают вместо знания? Это другой вопрос».[95]

Негативная оценка поведения Жебелева в ходе «дела» дана в письмах В. И. Вернадского к сыну – он считал, что в сложившейся ситуации С. А. Жебелев «не сумел сохранить свое достоинство».[96] По воспоминаниям М. И. Максимовой, виновник политического скандала тяжело переживал все перипетии собственного «дела» и вынужденное публичное отречение от Ростовцева: «В жизни Сергея Александровича эти события <…> сыграли немалую роль, и не только потому, что они отняли у него достаточное количество сил, духовных и физических, но и оттого, что он долго не мог установить, какие скрытые враждебные силы действовали в данном случае против него, и это его сильно волновало. И только после того как он наконец пришел к определенному выводу и у него, по-видимому, не осталось в данном случае никаких сомнений (а произошло это довольно скоро после окончания дела), он сразу успокоился, словно ему после долгих усилий удалось решить какую-то мучившую его трудную научную проблему. Все встало теперь на свое место, и Сергей Александрович обратился к текущим делам».[97] Несколько лет спустя после событий конца 1928 – начала 1929 гг. в собственном автонекрологе (1932 г.), говоря о прошлой дружбе с Ростовцевым, Жебелев писал: «Я пуб-

---

[94] Речь идет о резком выступлении М. И. Ростовцева против М. Н. Покровского, главы советской делегации на VI Международном историческом конгрессе в Осло (август 1928 г.). Подробнее см.: *И. В. Тункина.* М. И. Ростовцев и Российская Академия наук, 99–101.

[95] Письма М. И. Ростовцева А. М. Талльгрену, 514.

[96] См.: Пять «вольных» писем В. И. Вернадского…, 435–436.

[97] *М. И. Максимова.* Из воспоминаний о С. А. Жебелеве // Советская археология № 3 (1969), 88.

лично отрекся от него, отрекся, конечно, вынужденно, в силу сложившихся, но нисколько не оправдывающих меня обстоятельств и соображений, не делающих чести моему мужеству и являющихся в моих глазах одним из самых мрачных эпизодов моей жизни».[98] Из интервью Г. В. Вернадского, данного им Л. Грэму 21 июля 1964 г. известно, что Жебелев вскоре после «дела» написал Ростовцеву письмо, в котором просил извинений. Михаил Иванович всю эту историю принял близко к сердцу и сильно переживал из-за унижений, перенесенных другом.[99] Показательно, что окончательный выбор между родиной и эмиграцией Ростовцев сделал лишь десять лет спустя после отъезда из России, сразу после описанных событий, приняв в 1929 г. американское подданство.

Так закончилось «дело» Жебелева, инспирированное властями с целью оказать давление на членов Академии наук. Оно стало первым звеном в цепи последующих, более трагичных для АН СССР событий, заслонивших его по серьезности последствий, – проверки комиссии Рабоче-крестьянской инспекции во главе с Ю. П. Фигатнером (июнь–август 1929 г.), вызвавшей массовые чистки и отставку административного аппарата, и «академического дела» (1929–1931), которые повлекли за собой коренную реорганизацию главного научного учреждения страны. Прошло совсем немного времени, и сталинский террор обрушился на тех, кто выступал обвинителем по «делу Жебелева». Начался разгром русской исторической науки в ходе руководимой новоиспеченным академиком М. Н. Покровским кампании по «гневному обличению контрреволюционеров-историков» (октябрь 1930 – январь 1931 гг.), – кампании, затронувшей и С. А. Жебелева. Но это уже совсем другая история.

---

[98] См.: Историографические этюды С. А. Жебелева (Из неизданного научного наследия). Автонекролог / Публ. И. В. Тункиной и Э. Д. Фролова // ВДИ № 2 (1993), 177.

[99] См.: *L. R. Graham*. The Soviet Academy of Sciences…, 107–108, n. 71.

Список сокращений

ВАРНИТСО – Всесоюзная ассоциация работников науки и техники на помощь социалистическому строительству.

ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры.

ЛОКА – Ленинградское отделение Коммунистической академии.

НИИАиИ – Научно-исследовательский институт археологии и искусствознания.

ОГН – Отделение гуманитарных наук.

ОНУ – Отдел научных учреждений.

ПФА РАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской АН.

РА ИИМК– Рукописный архив Института истории материальной культуры.

РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

РАО – Русское археологическое общество.

СНР – Секция научных работников.

ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ ДРУЗЕЙ-ФИЛОЛОГОВ:

А. И. Доватур – А. Н. Егунов – Я. М. Боровский

Публикация и примечания
А. К. Гаврилова и В. В. Зельченко

Ниже впервые публикуются письма, свидетельствующие о дружбе трех выдающихся представителей классической филологии в советское время. Ученикам С. А. Жебелева и И. И. Толстого – А. Н. Егунову (1896–1968) и А. И. Доватуру (1897–1982), а также ученику Ф. Ф. Зелинского и А. И. Малеина Я. М. Боровскому (1896–1994) пришлось продолжать традицию петербургского антиковедения в трудных условиях. Большинство публикуемых писем А. И. Доватура Я. М. Боровскому написаны еще из лагеря; по понятным причинам, письма Я. М., посланные в ИТЛ, не сохранились. Из писем А. И. возникает тем не менее образ Якова Марковича – точно так же, как и из писем А. Н. Егунова к Доватуру (тут, напротив, нам неизвестны письма самого А. И. – материалами из архива А. Н. Егунова, недавно переданного в ИРЛИ, пока воспользоваться не удалось) отчетливо возникает образ обоих старых соратников по переводческому содружеству АБДЕМ.

Наконец, несколько писем А. Н. Егунова Я. М. Боровскому 60-х годов дают штрихи к деятельной обстановке тех лет и к дружескому тону в этой паре филологического треугольника. Хотя в наших руках не оказалось писем Я. М., хочется надеяться, что в целом первая и тре-

тья части публикуемой переписки дают достаточно определенное представление о нем.

Письма, адресованные Я. М. Боровскому, сохранились в той части архива Якова Марковича, которая находится ныне в Bibliotheca Classica Petropolitana. Письма А. Н. Егунова А. И. Доватуру хранятся в фонде последнего в архиве Петербургского филиала Института российской истории РАН (ф. 17); за содействие в работе с ними мы благодарны А. Н. Васильеву, который составил и готовит к печати монографический очерк жизни и творчества А. И. Доватура.

А. И. Доватур – Я. М. Боровскому
(письма 1945–1947 гг.)

1

[Горьковская ж. д., ст. Сухобезводное,
больница № 3][1]
21 XII 45

Дорогой Яков Маркович,

Ваша открытка от 1 августа дошла до меня с большим опозданием. Занятость не позволила мне ответить сразу – не удивляйтесь, что ответ приходит к Вам чуть ли не через полгода.

Прежде всего благодарю за память, затем – за добрые пожелания. Не забывайте меня и пишите: ведь мне нельзя думать о встрече с вами раньше конца 47-го года.

Из Вашего давнишнего письма я узнал о смерти трех близких и дорогих мне людей – Сергея Александровича, Софии Венедиктовны и Александра.[2] Из кого сейчас состоит кафедра? Вы, Иван Иванович, Ольга Михайловна, Сол[омон] Як[овлевич], Иос[иф] Моис[еевич]?[3] Где Таня Ч[икалина]?[4] Костя Лампсаков?[5] Мария Ефимовна Сергеенко?[6] Андрей Борисов?[7] Ольдерогге?[8] – Писал Вам не раз и очень удивлен, что Вы получили только одно письмо.

Искренний привет Марии Алексеевне,[9] всем членам кафедры.

Крепко жму руки.

Аристид Д.

[1] В 1937–1947 гг. А. И. исполнял роль медстатистика в лагерной больнице – под началом главного врача Н. И. Зубова, солагерника и друга (о нем см.: *А. И. Солжени-*

цын. Бодался теленок с дубом. М. 1996, 401–414). Этим же адресом помечены следующие шесть писем.

[2] С. А. Жебелев (1867–1941) и А. В. Болдырев (1896–1941) погибли от истощения в блокаду, С. В. Меликова-Толстая (1885–1942) умерла в эвакуации в Казани.

[3] Упоминаются И. И. Толстой (1880–1954), О. М. Фрейденберг (1890–1955), в то время заведовавшая кафедрой, С. Я. Лурье (1891–1966) и И. М. Гронский (1897–1970).

[4] Татьяна Николаевна Чикалина (1909–1942) – бывшая ученица А. И., преподаватель кафедры классической филологии; вместе с Университетом эвакуировалась в Саратов, где защитила кандидатскую диссертацию (одним из оппонентов был Я. М. Боровский, откликнувшийся на это событие латинским стихотворением «Nunc age si quando fer opem mihi, candida Musa…») и вскоре умерла от сыпного тифа.

[5] К. П. Лампсаков – ученик С. Я. Лурье, занимавшийся, как когда-то его учитель, Беотией и некоторое время помогавший С. Я. в работе над изданием Демокрита.

[6] О Марии Ефимовне Сергеенко (1893–1987) см.: *А. К. Гаврилов, Н. Н Казанский.* К 100-летию М. Е. Сергеенко // Вспомогательные исторические дисциплины 24 (1993), 316–328.

[7] Андрей Яковлевич Борисов (1903–1942) – старый знакомый А. И., гебраист (ученик П. К. Коковцева), с 1934 г. – преподаватель ЛИФЛИ – ЛГУ, с 1938 г. – научный сотрудник Эрмитажа; скончался по пути из блокадного Ленинграда. О нем см.: *С. Д. Милибанд.* Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М. 1975, s. v.

[8] Дмитрий Алексеевич Ольдерогге (1903–1987) – один из основателей африканистики в России, член-корреспондент АН СССР с 1960 г. (см.: *С. Д. Милибанд.* Указ. соч., s. v.). Близкий друг А. И., в 1973 г. опубликовавшего статью в сборнике к 70-летию Ольдерогге (Древнегреческая поговорка об Африке // Основные проблемы африканистики: Этнография, история, филология. Л. 1973, 299–303).

[9] М. А. Боровская (1891–1992) – жена Я. М.

2

22 X 46

Mon cher ami Jacques!

Отвечаю на Ваше письмо открыткой, которая будет опущена в Москве и имеет т[аким] обр[азом] много шансов не задержаться в дороге. Сейчас вы, конечно, уже приступили к занятиям. Позади и летний отдых, и самое начало учебного года, когда чувствуешь себя чуть-чуть не по себе: студенты как следует не схвачены в руки, есть еще некоторое взаимное недоверие, Вы присматриваетесь к ним и они к Вам. – Отношение Москвы к Вашей книге[1] мне не совсем понятно: с моей точки зрения, Ваш учебник – sui generis, он ни с кем и ни с чем не соперничает et ne fait ombrage à personne. В цепи учебных книг я определил бы его так (может быть, даже к легкому неудовольствию авторов): незаменимый основной учебник для *второго* года обучения и справочник на всю жизнь. – Благодарю за розыски моей статейки.[2] Думаю, что она или совсем не напечатана, или вышла в конце 1937 года, хотя Плас-

сар[3] обещал мне поместить ее в начале 1938 г. Пишите обо всем. Поклон всем. Искренний привет М. А.

Ваш А. И. Доватур

[1] *Я. М. Боровский, А. В Болдырев.* Латинский язык. Л. 1940.

[2] А. И. хотел выяснить судьбу своей французской работы «Угроза Демарата», незадолго до ареста переданной им в *Revue des études grecques* (сотрудничество А. И. с этим парижским журналом началось еще в 1932 г.). Статья была напечатана (*A. Dovatour.* La menace de Démarate: Hérodote VI, 67 // REG 50 (1937), 464–469). Об этом см. след. письмо.

[3] А. Плассар (Plassart) – французский филолог-классик и эпиграфист, редактор «Revue des études grecques».

3

8 XI 46

На днях получил Вашу открытку, из которой узнал, что мой маленький Демарат все-таки родился.

Благодарю Вас и за поиски и за сообщение. Эминентный эрудит, о котором там упоминается – С. Я.[1]

Теперь задним числом испытываю досаду за то, что в бытность мою в Саратове я оформил другую статью – об одном фрагменте Аристотеля – не так, как оформлен Демарат.[2] Думая о возвращении в Ленинград, я сделал ее приблизительно для Докладов или Известий АН (в расчете на покойного С. А.).[3] Следовало бы думать о другом. Итак, сам виноват.

Ваша открытка в одном отношении показалось мне весьма предосудительной. *Впервые* Вы *ничего* не сообщаете о себе (кроме того, что Вы прочли статью одного незначительного автора[4] – малосущественный момент в Вашей биографии). Такую тенденцию считаю нужным решительно пресечь! – Привет М. А. и всем знакомым. Жму Ваши руки.

Ваш А. Д.

[1] С. Я. Лурье. В одном из примечаний к статье (*A. Dovatour.* Op. cit., 468, n. 2) упомянут «un éminent érudit», предложивший А. И. иную трактовку геродотовского пассажа об угрозе Демарата.

[2] Эту работу А. И. написал по-русски, предназначая для публикации в СССР. В октябре 1937 г. он был арестован, и статья об Аристотеле в печати не появилась. Квалификационная работа А. И. по окончании аспирантуры в 1925 г. называлась «Аристо-

тель, фрагмент 485 и его источник». См. также: *А. И. Доватур.* Аристотель, фрагмент 611, 24: Поправка к тексту // Советская археология 28 (1958), 140–145.

[3] С. А. Жебелев. В 1928 г. две небольшие статьи А. И. были напечатаны в «Докладах АН СССР-В» (№ 4, 57–58; № 11, 233–236).

[4] Речь идет об упомянутой выше статье самого А. И.

4

10 XII 46

Дорогой Jacques!

Не сразу отвечаю на Вашу открытку. Не сочтите это за признак неблагодарности за Ваши заботы и хлопоты по разысканию моей статейки. Благодарю Вас и за сведения о юбилее Лукреция.[1] Если бы, действительно, вы нашли возможным со временем прислать мне томик Известий Ленингр[адского] Ун[иверсите]та, посвященный Лукрецию,[2] я был бы очень признателен. – В конце декабря будущего года, если все будет благополучно, я отсюда выбываю. О некоторых деталях – в связи с этим обстоятельством – я писал своему двоюр[одному] брату.[3] Много неясного, а то, что ясно – не очень отрадно. – Пишите о себе, М. А., о членах кафедры. – Как Ив. Ив. и академическое кресло?[4]

Ваш А. Доватур

[1] См.: *И. М. Тронский.* Двухтысячелетие со дня смерти Лукреция // Вестник Ленинградского университета № 1 (1947), 203–205.

[2] Вероятно, А. И. имеет в виду «Ученые записки ЛГУ» № 63 за 1941 г. (серия филол. наук, вып. 6; выпуск открывается переводом Боровского из Лукреция, I, 1–101). Судя по следующему письму, это издание А. И. получил, в числе прочих, от Я. М. Не исключено, однако, что речь идет о двухтомнике Лукреция в издании АН СССР, первый том которого вышел в 1946 г., а второй в это время готовился к печати (*Лукреций.* О природе вещей. Т. I–II. Л. 1946–47; во втором томе помещены три статьи Я. М. Боровского).

[3] Александр Николаевич Дейч (1899–1986) – видный астроном, профессор Пулковской обсерватории, много помогавший А. И. после освобождения. В г. Рени (близ Измаила), где вместе росли А. И. и А. Н. Дейч, память обоих увековечена теперь мемориальной доской.

[4] В 1946 г. Иван Иванович Толстой, член-корреспондент АН СССР с 1939 г., был избран действительным членом Академии по отделению языка и литературы.

5

9 II 47

Mon cher ami!

Получил Ваше последнее известие: ответ на мой вопрос о С. Я. Хортике.[1] Теперь решил твердо – до отъезда отсюда ни о ком

не спрашивать: ведь в 90 случаев получаю однотипный печальный ответ.

У меня все по-старому. Приближается – хотя еще довольно далек (8 мес.) – день отъезда. Дальше – полная неизвестность. Ваши открытки и письма поддерживают мою бодрость. В целом же все так неясно, что я до сих пор не могу составить себе определенного плана действий.

Благодарю Вас за присланные отчетики о научной сессии. Впечатление: в целом филологическая секция производит более благоприятное впечатление, чем другая (mea quidem sententia – из последней выделяется – в положительную сторону – работа Скржинской).[2] Если я не совсем уж отупел здесь, – филологическая работа и содержательнее, и конкретнее (результат реальной работы над материалом, а не парение в сомнительных высотах). Заинтересовали, естеств[енно], работы по классич[еской] филологии (И[ван] И[ванович], И[осиф] М[оисеевич], С[оломон] Я[ковлевич]). Работа О[льги] М[ихайловны] недоступна моему низменному уму, также и вышедшая из-под шинели О. М. работа M[lle] Поляковой.[3] Привет М. А.

Ваш А. И. Доватур

[1] О Сергее Яковлевиче Хортике нам известно лишь то, что он был выпускником Петришуле в Петербурге и участником семинара Ф. Ф. Зелинского.

[2] «Другая» секция – историческая; о Елене Чеславовне Скржинской (1897–1981) см.: *В. И. Мажуга.* Исторический источник как предмет истории культуры (Об исследовательском методе Е. Ч. Скржинской) // Вспомогательные исторические дисциплины 18 (1986), 3–24; библиография работ Скржинской: Византийский временник 44 (1983), 268–269. Впоследствии у Аристида Ивановича училась дочь Е. Ч., Марина Владимировна Скржинская.

[3] Варьируя знаменитый афоризм Достоевского, А. И. описывает влияние О. М. Фрейденберг на ее учениц – в данном случае на Софью Викторовну Полякову (1915–1994), известного впоследствии литературоведа и переводчика. По нашему предположению, речь идет о статьях: *О. М. Фрейденберг.* Проблема греческого фольклорного языка // УЗ ЛГУ № 63, серия филол. наук, вып. 7 (1941), 41–69; *С. В. Полякова.* Ораторское actio как параллель к драме // Там же, 87–98.

6

31 III 47

Мой дорогой Jacques!

Наскоро пишу Вам эту открытку в ответ на Ваше письмо от 21/II, на днях мною полученное.

Прежде всего благодарю за заботу о моих делах. Переводы, о которых Вы пишете, конечно, – прекрасная работа, которая на первых порах вполне бы меня удовлетворила.[1] Помимо всего прочего, о чем приходится думать в первую очередь, – во вторую это было бы проверкой, могу ли я еще что-нибудь делать (вопрос для меня очень серьезный – балерина, не танцевавшая десяток лет; фехтовальщик, не бравший в руки рапиру, etc., etc., etc.). – Кажется, я не писал Вам, что преподаю лат[инский] яз[ык] на курсах медсестер.[2] Еще в 43–44 гг. пытался кое-что набрасывать для себя, пользуясь кое-чем, сохранившимся в памяти,[3] – но этим и ограничивалась моя работа по филологии. Согласитесь, есть над чем задуматься. – Жду Ваших писем. Привет М. А.

Ваш А. Доватур

[1] Вероятно, имеются в виду заказ на переводы некоторых латинских сочинений М. В. Ломоносова, которыми А. И. после освобождения занимался в Луге, оставаясь анонимным.

[2] Со слов самого А. И. эти латинские занятия описывает А. И. Солженицын в третьей части «Архипелага ГУЛАГ» (гл. 18): «Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатистика, а еще раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в лагере-то – по-латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке – и сияет как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладострастно стучит».

[3] По-видимому, речь идет о лагерных набросках (по устным сообщениям А. И. – французских) будущей статьи «Оргеториг и Ариовист» (ВДИ № 3 (1957), 104–121).

7

5 VIII 47

Благодарю Вас за те дружеские открытки, дорогие Мария Алексеевна и Яков Маркович, которые я на днях получил. – Спешу ответить на поставленные мне вопросы чисто практического порядка. Необходимой одеждой я обеспечен даже сейчас; жду, кроме того, некоторых вещей от своей сестры. – Здоровье мое, к счастью, не расстроено пребыванием в здешнем климате. Достаточно сказать, что за все эти годы я только два раза лежал в больнице: один раз 1½ мес[яца] (в 1942 г.) и один раз ½ мес[яца] (в 1945 г.). Проверка легких в рентгеновском кабинете дала утешительные результаты. – По правде сказать, меня больше пугает другое: Сергея Александровича и Софию Венедиктовну, которые больше других *могли* и *хотели* поддержать меня там, где эта поддержка мне нуж-

на, – я больше не встречу; остаются лица, к которым я едва ли могу в одинаковой степени применить оба подчеркнутых глагола.

Отъезд отсюда раньше 28 октября становится почти бесспорным, хотя насколько раньше – остается пока неясным (на ½ мес., 1 мес., даже 1½ мес.?)[1] – Крепко жму Ваши руки.

Искренне преданный Вам

А. И. Доватур

P. S. Б. А. Ларину,[2] если Вы с ним знакомы, скажите, что четыре года тому назад я встретил его брата.

[1] А. И. был освобожден 2 октября 1947 г. с запретом жить в Москве, Ленинграде и еще шести крупных городах («минус восемь»).

[2] Борис Александрович Ларин (1893–1964) – известный русист, во времена оттепели (1954–1958, 1960–1963) – декан филологического факультета ЛГУ. Окончил (в 1914 г.) университет Св. Владимира в Киеве, где некоторое время учился и А. И.

8

[Луга]
14 XII 47

Мой дорогой Яков (Jacques)!

Только что получил Ваше письмо. Разумеется, сейчас же переделываю счет. Жду возвращения хозяйки,[1] которая все это заверит.

Сколько хлопот я Вам доставил со всем этим делом! И как вообще все тяжело для тех, кто не течет по правильному, установленному руслу (сравнение натянутое, но по существу верное).

Вероятно, среду и четверг проведу в Ленинграде; дольше нельзя – из-за выборов, – надо быть заранее здесь. – Постараюсь сдать накопившиеся карточки Л. Р. Зиндеру, их будет штук 500, а книга не просмотрена даже наполовину.[2]

Иван Иванович обещал переговорить еще раз в Университете – в понедельник или во вторник (т. е. в начале истекшей недели). По-видимому, опять никаких результатов, – иначе Вы бы что-нибудь знали.

Положение мое начинает меня *слегка* тяготить (после своих путешествий я потерял способность что бы то ни было переживать сильно). Опять зовут работать в Шафраново (туберкулезный курорт в Калининской области), не ставят сроков, не торопят. Это надо иметь в резерве, но все-таки не хотелось бы, чтобы это было meae sedes…

senectae.[3] – После 21 приеду на более продолжительное время и тогда обязательно постараюсь увидеться с Вами.

Привет М. А.

Ваш А. Доватур

P. S. Счет на этот раз написан на бумаге худшего качества!

[1] Имеется в виду хозяйка квартиры в Луге, где А. И. поселился после освобождения.

[2] Лев Рафаилович Зиндер (1904–1995) – известный лингвист. Работу, о которой идет речь, равно как и упоминаемый выше счет, ближе идентифицировать не удалось.

[3] *Hor. Carm.* II, 6, 6.

А. Н. Егунов – А. И. Доватуру
(письма 1956–1968 гг.)

1

24 VII 56

Дорогой Аристид!

Рад был получить Ваше письмо и узнать из него, что Вы невредимы и не были, к нашей всеобщей радости и к счастью для филологии, уподоблены протодиакону Стефану.[1] Будем надеяться, что и обратный переезд совершится тоже благополучно. Отдыхайте, набирайтесь сил, дорогой друг.

А я здесь очень замечаю Ваше отсутствие – без Вас, без Вашей оживленности, сердечности, содержательности как-то скучно; словно на кладбище, хоть вон беги…

Пишите почаще, все интересно: и далекий край, и жарища (nec Armeniis in oris stat glacies iners menses per omnes,[2] не правда ли?), и люди. Как Вы там проводите день? Наверное, не бездействуете?

Я получил уже две статейки (в общей сложности 15 стр.): латинскую Фаренгейта и английскую Галлея. Легкие ли такие попались, но я их перевел за 4 дня без напряжения и сидя дома, без пособий. Правда, я не знаю, что такое sal Armoniacus. Нашатырь, что ли? Ну что ж, в незнании придется откровенно признаться работодателю. В библиотеку я еще не записан.

Уже вторые сутки льет дождь, это приятно бывшему обитателю безводной пустыни Сахары,[3] а раз нет ни службы, ни пальто, то ничто не мешает, сидя безвыходно дома, наслаждаться звуком падающей за открытым окном воды.

Ваши деньги потрачены пока что на одну треть. С пропитанием я, впрочем, извернулся бы, но к вещам и подступа нет; зима не за горами, а я впервые в жизни оказался совершенно голым. Впрочем, извините за этот «густой быт». Чтобы совлечь с себя бытовизм, хочу предстать перед Вами, хоть отчасти, и в другом виде (см. прилагаемый листок).[4] Примите, каково бы оно ни было, на добрую память; к тому же одно из них входит в комплекс видимого, быть может, с Вашего балкона.

Пожалуйста, мои приветы Раисе Ивановне,[5] наилучшие пожелания молодому поколению.

Очень жду Ваших писем.

Ваш А. Егунов

* * *

По неулегшимся волнам
гарцует прошлого ковчег,
набитый туго двойниками:
семь пар нечистых, чистых семь,
всего же сотня – слабый счет
преувеличен зеркалами.
Внутри хозяин-самовар
дает предутреннейший пар,
любимая статуя на диване.
Коллекция уюта. Голубок
клюет мои заломленные руки.
Оливковая ветвь в окно стучит,
давая знать, что пляшет сельский вид
и все дружочки, и друзья, и други,
и сам ковчег, и перед ним Давид.

1936

* * *

Я не люблю воспоминаний неодетых –
хватает пестрых лоскутков на свете,
но для торжеств, справляемых сейчас
на небесах в прозрачный этот час,
в костюм лазоревый, небесного покроя,
невольно облекается былое.
Не для того, чтоб облачною ложью
переиначить золотистость Божью,
но безобразящей не терпят наготы
златовоздушные порывы и мечты,
и молодость небывшая, и ты.

1947

[1] См. *Деян.* 6–7. Этот же, не совсем ясный для нас, шутливый намек повторен в письме от 2 сентября, после возвращения А. И. Доватура из Еревана (куда адресованы письма 1–2 настоящей публикации): «Как понять, что Вы *почти* благополучно прибыли? Из письма вижу, что Вы живы и, кажется, здоровы. Неужели все-таки были some attempts of dilapidation?»

[2] *Hor. Carm.* II, 9, 4–6.

[3] Большую часть лагерного срока А. Н. отбывал в Джезказгане (Казахстан).

[4] Оба прилагаемых к письму стихотворения вошли в рукописный сборник Егунова

«Елисейские радости» (см.: *Андрей Николев (Андрей Н. Егунов).* Собрание произведений / Под ред. Г. Морева и В. Сомсикова. Wien 1993. 286; 293). Первое из них, «По неулегшимся волнам…» было впоследствии переработано (по-видимому, под влиянием дружеской критики А. И. Доватура – см. письмо 2); в окончательном варианте ст. 1–2: «И неулегшиеся волны / колышат прошлого ковчег», ст. 5: «уединенье! слабый счет», ст. 14: «и сам ковчег, и все друзья, и други», ст. 15 исключена. См.: Указ. изд., 349.

[5] Младшая сестра А. И. Доватура (по профессии врач), у которой он гостил в Ереване.

2

6 авг. 56

Дорогой Аристид!

Благодарю Вас за письмо, надеюсь, не последнее и не самое короткое. Кроме моих приветов Раисе Ивановне, Вы должны ориентировать меня относительно родственных отношений: 1) 18-летний племянник, подавший мое письмо; 2) племянница-студентка, с которой Вы занимаетесь лат., итальянским (!), фр., нем. и англ. яз.; 3) племянник, с которым Вы занимаетесь русск. и нем. яз. (идентичен с 18-летним?). А я-то думал, что там только та прелестная девочка, чью фотографию я видел у Вас на столе.

Из всего этого делаю вывод, что Вы немало заняты. А как же летний отдых, прогулки, купанье, леса, луга и пр.? Неужели Вы проводите время в комнатах? Есть ли сад? Меня в самом деле интересует пейзажная сторона. Ведь Арарат должен быть оттуда виден – а это уже переживание, не правда ли? Комментаторы не должны думать, будто мне не известно, что Давид плясал перед ковчегом завета, а не перед Ноевым ковчегом, но в силу комплексного мышления все ковчеги возникают в сознании сразу и сливаются вместе.[1]

Был за это время и на Богоявленском кладбище, где похоронена Тамара[2] (дороги туда мне никогда бы не найти, если бы не Зина – ее сестра), и на Шуваловском, где лежат наши родственники и Коля Васильев со всей своей семьей (мой одноклассник и брат Нюши, т. е. Анны Николаевны, у которой я теперь обретаюсь).[3]

Собирание справок для пенсии (а это и было причиной моего приезда сюда, иначе я, пожалуй, и не решился бы приехать) продвигается успешно, но еще не закончено. Заочно, т. е. из других мест, это было бы труднее и почти безнадежно. Кое-что приходится восстанавливать свидетельскими показаниями, например, период 1919–1921 гг. Здесь помог Яков Маркович (который и вообще-то с поразительной участ-

ливостью относился ко мне все эти годы) и, из Москвы, Domina loquax.[4] Но по какой арифметике ни считать, все же с 1919 по 1941 г. выходит только 22 года. Неизвестно, зачтут ли мою «деятельность» на юге, в степях. Еще хуже, что никак нельзя установить размер зарплаты за любые 5 лет. Будет незаслуженно, если дадут пенсию по самой низшей норме, т. е. 300 р. А вот если бы 400–500, то можно было бы, покинув «блеск и суету большого света», т. е. вообще всю эту Северную Пальмиру, устроить себе где-нибудь житие в пустыньке – совершенно серьезно.

У меня здесь нет чувства оседлости. И все поумирали, и нет своей жилплощади. Правда, Анна Николаевна ласкает и балует меня, но ведь надо же «иметь совесть» (это выражение, вероятно, Вам знакомо?), да и ее сыновьям (их двое – 28 и 21 года; младший сейчас на целине; старший готовится к аспирантскому экзамену (фольклор, Акад. Наук); мы с ним занимаемся англ. яз.)[5] может понадобиться жилплощадь, так что мое пребывание я рассматриваю как временное, конечно.

Еще год назад я никак не предполагал, что мне доведется побывать в родном городе. Нынешнюю побывку рассматриваю как прощание с ним – а с ним за день не простишься, нужны месяцы. К числу таких прощальных развлечений относится и посещение былых квартир, т. е. не квартир, конечно – кто меня туда пустит? – а дворов, подъездов, и подъем по лестнице до былой нашей квартиры. За всю жизнь, начиная с детских лет, таких мест накопилось немало, в разных частях города. Ощущение не скорбное, а какое-то странное, словно ты выходец с того света или, напротив, заживо странствуешь по елисейским краям.

Вы меня простите, дорогой Аристид, за эти «замогильные записки» – мне не хотелось бы ни на секунду омрачать Ваши солнечные, ослепительные дни на далеком юге.

Здесь чуть не весь месяц дожди, и не то, чтобы петербургский мелкий дождичек, а иной раз прямо-таки тропические ливни; но всякого рода влага приятна былому обитателю засушливых областей. Правда, «друг степей калмык» принужден бывает неделями жить на таблетках – акклиматизация дается ему нелегко.

Перевел Эйлера, «Об упругости воздуха». Конечно, высшая математика не моего ума дело. Латинист он замечательный, по крайней мере сравнительно с Фаренгейтом. Эту неделю без переводов, но приглашают зайти в ближайший четверг.[6]

Да, чтобы не забыть: в чем догматические отличия армяно-грегор[ианской] церкви от греческой или римской[?] Они монофизи-

ты? И после какого вселенского собора они отделились? Там, на месте, это проще выяснить. Красиво ли их пение?

Жду от Вас писем. Да не за горами и Ваше возвращение, конечно, благополучное. Брат помнит и приветствует Вас.[7] Ната[8] недавно в письме (уже из Москвы – они всей семьей туда перебрались) пишет: «Какой хороший человек Аристид, я его помню».

А я вот не соображу, о ком это она… Впрочем, ясно, что она, очевидно, впала в древнюю историю на старости лет.

Приветы от меня Вашим родным – и знакомым и незнакомым.

Искренне Ваш

А. Егунов

[1] Легкое пародирование взглядов на «особое мышление» древних, которые получили у нас широкое хождение в 20-х – 40-х гг.

[2] Т. В. Данилова, жена Егунова; была подругой А. И. Вагиновой – жены поэта, через которого и познакомилась с А. Н.

[3] Анна Николаевна Гипси, сестра Николая Николаевича Васильева – соученика Егунова по Тенишевскому училищу, который также был репрессирован и погиб в 1942 г. в блокадном Ленинграде. После войны А. Н. Гипси разыскала следы Егунова через Я. М. Боровского; по ее предложению А. Н. заключил с нею фиктивный брак, что позволило ему вновь получить прописку в Ленинграде.

[4] Имеется в виду Анна Ивановна Болтунова (1900–1991) – филолог-классик, эпиграфист. Латинские прозвища были в ходу в Петербургском классическом семинарии (напр., И. И. Холодняк – Frigidarius); А. И. Доватур охотно раздавал их своему окружению, в том числе и далекому от латинской учености.

[5] Дмитрий Михайлович Балашов (р. 1927), ныне – известный автор исторических романов.

[6] Основными заказчиками переводов для академических изданий (которые служили немалым подспорьем классикам, возвратившимся из лагерей и ссылок) выступали Институт истории естествознания и техники и Комиссия по изданию трудов М. В. Ломоносова.

[7] Александр Николаевич Егунов (псевд. Александр Котлин, 1905–1980) – писатель-маринист; так же, как и А. Н., прошел через лагеря и интернирование.

[8] Племянница А. Н. Наталья Андреевна (р. 1906), некоторое время преподававшая английский язык на филфаке ЛГУ.

3

21/VIII 57 г.
8^{05} утра

Дорогой мой, ненаглядный друг!

Нужно бы прибавить: и глубокоуважаемый – но это само собой разумеется. Итак, «наша взяла»! Тут и священная тень Жебелева,

и многотрудное прошлое, и где-то, сбоку припека, Ваш покорный и непутевый слуга.

Вы не можете представить, дорогой Аристид, – впрочем, наоборот, Вы именно можете представить, – как радостно я себя чувствую, глядя на Вашу книгу (с портретом автора на обложке?)[1] Вчера вечером меня не было дома, вскрыл я бандероль только сейчас, утром. И содержимое бандероли превзошло все мои ожидания. Слава Богу! Живите еще на благо филологии, которая не должна же исчезнуть у нас, продолжайте традиции подлинно-научной мысли!

Обнимаю Вас от всей души!

Ваш А. Егунов

P. S. За чтение книги примусь сегодня же. Конечно, Вы не можете ожидать от меня каких-либо суждений. Я помню Ваши слова: «суди, дружок, не свыше сапога»...

Благодарю Вас и за прошлую присылку. Цицерон и Афины – уж не в плутарховой ли его биографии?

Все еще продолжаю радоваться!

А.

[1] *А. И. Доватур.* Повествовательный и научный стиль Геродота. Л. 1957 (на обложке – бюст Геродота).

4

31/I 59

Дорогой Аристид!

Ваше дружеское письмо дошло до меня только сегодня – виною я сам, так как только по субботам заглядываю на почту. Великая Вам благодарность за внимание; впрочем, иного я, зная Вас, и не ожидал.

Кнефа[1] я нашел попросту в новом греческом словаре, который, конечно, есть и у Вас. Статью в Pauly – Wiss[owa] я прочитал, боюсь, что более подробное примечание будет у нас урезано. Письмо Фр. Вольфа я уже сделал, и как было интересно через груду книг ознакомиться с ним как с человеком. Много примечательного. Теперь сижу над Винкельманом.[2] Начитавшись подробных описаний его гибели, хожу сам не свой – слишком уж впечатляет.

Вы правы, литературоведческого вокруг меня бывает ежедневно в изобилии,[3] но собственно филологического, по нашей части, обще-

ния я не имею и живо ощущаю эту недостачу. Но, как говорится, не так живи, как хочется, а как и т. д.

Не могу сообразить, как выразить по-латыни и по-гречески «сектор взаимосвязи русской и зарубежных литератур». Помогите, сделайте милость, в свободную минуту. Это письмо заменяет телефонный разговор: телефона в нашей квартире нет, а выползать вечером на улицу, в телефонную будку, мне затруднительно хотя бы по возрасту – приходишь часов в 7, достаточно измочаленный.

У меня на совести мой Вам театральный долг.[4] Знаете ли Вы его сумму? У меня записано – 32 р.! Всего проще было бы вручить их – в конверте, для приличия. Но понимаю, что эта форма здесь нетактична. Присматриваю для Вас уже давно что-нибудь не противоречащее Вашей библиотечке, но на ту беду на Литейном бываю крайне редко. Надеюсь все же, что удастся найти, а пока прошу извинить эту задержку.

Пропуск слов и букв, дрожащий почерк – все это показывает, не правда ли, что я уже не первой молодости, поэтому простите за помарки.

Τίς [δ᾽] οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μὲν ἐστι κατθανεῖν,
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομίζεται;

(*Eur. fr. 638* [N.])

Еще раз благодарю Вас

Ваш А. Егунов

[1] Кнеф (Κνῆφ) – египетское божество, изображавшееся в виде змеи; в письме Фр. А. Вольфа, которое А. Н. готовил к публикации, обсуждался вопрос о египетском происхождении змеи – атрибута Асклепия. См.: Неизданные письма иностранных писателей XVIII–XIX веков из ленинградских рукописных собраний / Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.; Л. 1960, 230; 233.

[2] Указ. изд., 162–166.

[3] С осени 1956 г. А. Н. работал в Пушкинском Доме, в секторе взаимосвязи русской и зарубежных литератур.

[4] Речь идет о билетах на «Гамлета» в исполнении Мемориального Шекспировского театра (декабрь 1958 г.), которые А. Н. уступил одной из коллег.

5

29/VII 59

Дорогой Аристид Иванович!

Сейчас, сидя утром в «моей» комнате, лучше которой и не выдумать и которую, увы, придется рано или поздно покинуть – ἔσσεται

ἦμαρ[1] – или вследствие моих непрекращающихся телефонных переговоров (они пока что все в той же стадии), или из-за внезапного возвращения ее владелицы с Камчатки, и наслаждаясь сознанием, что мне не надо спешить в то заведение, которое на моем языке все чаще и чаще именуется «застенком», я вдруг мысленно вернулся к нашей последней встрече и еще раз понял, как мне полезно, психологически, общение с Вами: я тогда подкрепляюсь тем, чего я обычно не вижу вокруг себя, и мне хотелось бы заимствовать от Вас те черты бодрости, волевой дисциплины и добродушия, которых мне так явно не хватает.

Еще раз благодарность за Илиаду; ожидание Вашей карточки – но только добренькой.[2]

Зюдерманланд, отправившись отдыхать в Зеленогорск, оставил обещанную карточку, которую ему не довелось вручить лично во время, к сожалению, несостоявшейся липовой прогулки.[3]

Ваш А. Егунов

[1] *Hom. Il.* IV, 164 sq. = VI, 448 sq.

[2] На многих фотографиях (особенно без очков) лицо А. И. неожиданным для его друзей образом выглядит весьма сурово.

[3] Прогулка по липовым аллеям Елагина острова («очень сочувствую Вашей работе над надписями, но не мешает и воздухом подышать»), намечавшаяся на 14 июля, не состоялась из-за поездки А. И. в Лугу. В том же письме-приглашении от 9 июля читаем: «Герцог Зюдерманландский, должно быть, тогда же вручит Вам обещанную свою карточку, если только вернется из Таллина». Герцог Зюдерманландский – возможно, Валерий Иванович Сомсиков (ум. 1994) – близкий друг А. Н. и хранитель его архива, по делам службы (садово-паркового ведомства) ездивший в прибалтийские края.

6

14/II 61

Глагол «похотствовать», рядом с «похотничать», дан у Даля s. v. Оттуда Шульц, вероятно, его и взял.[1]

Сенеку весь день перелистывал – еще не кончил, так что цитаты пока не нашел, надеюсь на завтра. Зато нашел, среди прочего интересного, касающееся темы об отставке: «Omnis eius (Divi Augusti) sermo ad hoc semper revolutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores suos, etiamsi falso, dulci tamen oblectabat solatio: aliquando se victurum sibi» (*De brevitate vitae,* V).

Вне беседы: Вы не должны предполагать, что вчера был «званый вечер». Если кто невзначай заглядывает ко мне в любое время – конеч-

но, без всяких приглашений, – я это ценю как знак преданности. Вот и сейчас тот же (не-)гость.

Итак, завтра все как один на затмение![2]

Ваш А. Егунов

Статья М. Е. Сергеенко[3] доставила удовольствие при чтении.

[1] В каком именно тексте А. И. обнаружил смутивший его глагол «похотствовать», неясно. Ни в переводах Ю. Ф. Шульца, ни в гимназическом латинско-русском словаре Г. Ф. Шульца его найти не удалось.

[2] «Семь последних лет полоса полного солнечного затмения не проходила по территории нашей страны. Завтра произойдет полное солнечное затмение, которое будет наблюдаться в ряде городов СССР. <…> Это интересное явление начнется в Ленинграде в 10 часов 11 минут и закончится в 12 часов 30 минут» (Ленинградская правда. 1961. 14 февр.).

[3] Вероятно, речь идет о работе: *М. Е. Сергеенко.* Неизвестные врачи древней Италии // ВДИ № 4 (1960), 113–120.

7

31/V 61

Дорогой Аристид Иванович!

Хочу поймать Вас на слове: Вы сказали, что и мне не возбраняется иной раз брать билеты в театр.

10-го июня, прослушав об именах существительных с суффиксом «ог», отчего бы не прослушать божественного Моцарта?

Знаю, что Вы будете крайне утомлены, но как раз свежий воздух в парке и музыка могут содействовать отдыху.

Отговориться Вам трудно: это и суббота, и начало там не в 7, а в 8, так что заседание, начавшись в 5, успеет кончиться – в крайности Вы опоздаете на 1-й акт, но все же услышите Voi che sapete, – и кроме меня никого не будет.

Хочется повергнуть к Вашим стопам маленькую книжку о Моцарте и либретто этой оперы.[1]

Ваш А. Егунов

[1] «Свадьбы Фигаро». Приглашение в оперу или на музыкальные концерты было традиционным для А. Н. жестом дружбы. В середине 60-х в ДК им. С. М. Кирова по инициативе А. Н. слушали с хороших немецких пластинок многие вещи, особенно часто Вагнера. После этого устраивался чай дома у А. Н.

8

15/VIII 62

Дорогой Аристид Иванович!

Сообщаю Вам весть, быть может (лучше сказать: наверное) радостную для Вас, как для абдемита. Абдему суждено пропеть свою лебединую песнь – Гелиодор пойдет еще раз[1] (я получил подтверждение от Гос[ударственного] Изд[ательства] худ[ожественной] лит[ературы], из Москвы – и притом без всяких моих искательств). Подробности и сроки сообщу Вам по заключении договора.

Ваш А. Егунов

P. S. Пока что – это не имеет отношения к Гелиодору – наслаждаюсь найденными в песках Египта стихотворениями, кажется, Гомера (см. следующую стр.).[2]

[На следующей странице]

I. βασιλεὺς ποτ' ἦν ἐν Θούλῃ
πιστὸς ἔστ' εἰς ᾅδου,
θνήσκουσα τῷ ἡ κούρη
δῶκ' ἔκπωμα χρυσοῦ.

II. κορύφαις μὲν ἀπαίσαις
κάτεσχε σίγα·
ἐπὶ δ' ἀκρεμόνεσσι
σίγαισ' ἄηται·
ὀρνέων δὲ θρόος κατ' ὕ-
λαν εὕδει· σὺ δὲ βαῖον ὄμ-
μεννον, ὄδωτα, καὶ σὺ κοιμάσῃ.

[1] Роман Гелиодора «Эфиопика» в переводе содружества АБДЕМ (А. Болдырев, А. Доватур, А. Егунов, А. Миханков; последнего затем заменил Mustela – Э. Визель) под редакцией, со статьей и примечаниями Егунова вышел в издательстве *Academia* в 1931 г.; второе издание – М. 1965 («Библиотека античной литературы»).

[2] Следуют переводы стихотворений Гете: «Der König in Thule» (1774; первая строфа) и «Wandrers Nachtlied» («Über allen Wipfeln...», 1780). Второй из них принадлежит У. фон Виламовицу (Was ist übersetzen? // *Euripides.* Hippolytos / Griechisch und deutsch von U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin 1891, 17 = *U. von Wilamowitz-Moellendorff.* Rede und Vorträge. Berlin [4]1925. Bd I, 20). автор первого нами не разыскан; возможно, он был сделан самим А. Н. Стихотворные переложения с новых языков на греческий,

в том числе и лирическими размерами, практиковались АБДЕМом еще в 20-е годы: так, В. И. Эрль сообщил нам о переводах двух фрагментов из стихотворений Вагинова, которые были поднесены автору со следующей надписью: «Косте Вагинову, одному из самых любимых поэтов, эти два вновь открытых орфических отрывка – присутствующие и отсутствующие абдемиты».

9

17/I 63

Дорогой Аристид Иванович!

Согласно эдиционной этики, которая когда-то существовала и, конечно, должна и впредь существовать, без согласия автора – respective переводчика – нельзя вносить в текст никаких изменений.[1] Вы дали мне carte blanche в смысле стилистическом, для приведения всего к общему знаменателю, и я этим довольно широко пользуюсь. Встретились, однако, и смысловые места, правда, сущие мелочи (см. прилагаемые листки), на изменение которых требуется Ваша санкция. Они вызваны различием изданий и, частью, невниманием машинистки. Уделите им минутку внимания и, в память Абдема, извините меня, что отрываю Вас от более существенных занятий.

Чтобы Вы не тратили лишнего времени на ответ, буду считать Ваше молчание, как говорится, знаком согласия, не так ли? Но был бы благодарен за указания.

Я рассматриваю эту работу как лебединую песнь Абдема и стараюсь спеть ее как можно аккуратнее, в память отошедших, а кропотливо это безголосое пение ужасно, иногда часами бьешься над одной фразой, подыскивая русские выражения. Это не то, что *тогда*, когда я попросту и не читал – да и тактично ли было бы, возможно ли было бы тогда выступать мне с правкой работ унив[ерситетских] моих сотоварищей? Учтите тогдашнее соотношение сил – вернее, репутаций.

А теперь, на склоне дней, Вы, надеюсь, не будете на меня в претензии? Тем более, что соотношение сил и поныне не в мою пользу.

Отдавая Вам должное в смысле учености и человечности,
пребываю к Вам неизменно благосклонный

Андрей

[1] Речь идет о редактировании перевода «Эфиопики» (см. предыдущее письмо). Искренне и постоянно отдавая должное учености и характеру А. И., А. Н. иногда подтрунивал над русским слогом его ученых работ. Так, в середине 60-х годов он иногда говорил: «А ведь А. И. большие успехи делает в русском языке».

10

21/IV 66

Дорогой Аристид Иванович!

Сейчас, утром, получил Ваше письмо от 19/IV и очень благодарен Вам за внимание! Вы даже дали себе труд резюмировать эту статью!

Мистическая сторона заключается в том, что, работая ежедневно над переводом,[1] я вчера вечером (ночью) сделал как раз 389 b–c, так что сегодня мне предстоит 389 c–d и т. д. И вдруг получаю от Вас резюме статьи, касающейся этого самого пассажа – согласитесь, что это необыкновенно.

Что касается самой статьи,[2] то, несмотря на марку заграничности и [солидность] журнала, с ней никак нельзя согласиться. Стоит только перечесть всю теодицею, начиная с конца 2-й книги, и затем начало 3-й вплоть до разбираемого места (а переводчик ведь поневоле внимательнейший читатель), чтобы сказать, что статья эта не только не является спорной, но попросту, говоря резко, абсурдна. Эдак можно прицепиться к любому месту «Политии». Связь мыслей здесь превосходна, хотя и облечена в непринужденно-разговорную форму. А ссылка на неведомого редактора сочинений Платона, который, без всякого пиэтета и плохо разбираясь, вставлял в них что попало, возвращает нас к худшим временам старомодной гиперкритики текста.

Отметание статьи нисколько не означает низкой оценки Вашей благородной внимательности и самоотверженной затраты времени на резюмирование. Не забывайте меня и впредь Вашими благодеяниями! С удовольствием предвкушаю и Вашу долгожданную эпифанию.

С благодарностью

Ваш А. Егунов

[1] «Государства» Платона. Перевод был опубликован посмертно в изд.: *Платон*. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3, 1. М. 1971, 89–454 (переиздание в томе 3, 2 «Законов», переведенных А. Н. в 20-е годы, при жизни переводчика, как ни странно, не планировалось).

[2] *F. Solmsen*. Republic III, 389 b2–d6: Plato's draft and the editor's mistake // Philologus 109 (1965), 182–185 (= *F. Solmsen*. Kleine Schriften. Bd II. Hildesheim 1968, 55–58).

11

25/II 67

Дорогой Аристид Иванович!

Средний возраст активного (не историографического) существования научной книги оказывается ниже среднего человеческого возраста

в нашей стране, т. е. 69 лет. Для книги приходится взять в среднем 50 лет. Много ли книг 1900 года насущны и посейчас? Плоды других муз (стихи и переводы – да, переводы) бывают долговечнее, не только первоклассные (вот «Политии» Карпова 104 года).[1]

«Антиковедение», очевидно, попытка создать русский аналог к Altertumswissenschaft. Нужда в этом ощущается, но что эта попытка неудачна и безвкусна, Вы вполне правы. К тому же «антики» имеет по-русски комический оттенок, ср. у Лескова «Печерские антики» (кажется, я не вру). <…>

Я понимаю, что визит Дмитрия Павловича[2] был для меня высокой честью (к Вашим я как-то более привычен), но и эта честь не обладает волшебной силой сделать меня здоровым и бодрым и вызвать из небытия несуществующую статью[3] – то, о чем я тогда писал Вам, остается в силе, это решено и подписано, «приговор окончательный и обжалованию не подлежит», – «не серчайте» на меня за это, а я совершенно уверен, что дорогой нам наш покойный юбиляр вполне понял бы меня и был бы на моей стороне. Итак, n'en parlons plus.

В знак того, что Вы не серчаете, жду Ваших посещений. Из изд[атель]ства ожидаю после 1/III.

Будьте по-прежнему жизнедеятельны, не забывайте приморского старца[4]

А. Егунова

[1] Карпов, Василий Николаевич (1798–1867) – философ, стихотворец, переводчик Платона, и в том числе «Государства» (Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные проф. Карповым. Т. 1–6. ²СПб.; М. 1863–1879).

[2] Д. П. Каллистов (1904–1973) – ленинградский историк античности (см. его некролог, написанный А. И. Доватуром: ВДИ № 4 (1973), 225–226). Интерес встречи состоял не только в том, что Каллистов был весьма дружен с А. И., но и в том, что Д. П. – тоже бывший зэка (Соловки в начале 30-х гг., по делу о Космической академии).

[3] Для сборника к столетию С. А. Жебелева. Настойчивые просьбы А. И. увенчались успехом: статья Егунова «Письма Еврипида» была опубликована в сборнике следом за статьей Доватура «Присяга афинских архонтов» (Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л. 1968, 115–120 и 121–129 resp.).

[4] С 1960 г. А. Н. жил в Гавани, на Весельной улице, самое название которой любил (вероятно, сказывалась биографическая связь: отец А. Н. был полковником по Адмиралтейству) и в шутку переводил как φιλήρετμος ὁδός.

12

28/II 68

Дорогой Аристид Иванович, я ощутил потребность написать своей дрожащей (уже!) от дряхлости рукой несколько строк, чтобы выразить

радостное впечатление от замечательно удавшегося собеседования (термин, употребленный, помните, Яковом Марковичем на Вашем банкете) в прошлое воскресенье. Сашу Сомса[1] я встретил вчера – он в полном восторге. Думаю, что и другой Саша тоже.[2] Оно и немудрено: среди распространенной кислоты отношений, всякого самопревознесения и взаимоотрицания разве не радость светлый европеизм, кристальность духа, мудрая бодрость? Уделяйте почаще от щедрот Вашей личности, особенно тем, кто склонен к небытию.

Вот, собственно, и все – но ведь это очень много, не так ли?

Ваш А. Егунов

[1] Александр Иванович Сомсиков – младший брат В. И. Сомсикова.
[2] По-видимому, А. К. Гаврилов, посещавший А. Н. на Весельной в 1965–1968 гг.

А. Н. Егунов – Я. М. Боровскому
(письма 1961–1966 гг.)

1

22 II 61

Дорогой Яков Маркович!

Вы тогда, на докладе по «проблемам», промелькнули, как метеор, так что не удалось условиться, когда же убогая хижина у самого синего моря – впрочем, вид πολυφλοίσβοιο θαλάσσης[1] в это время года непрезентабелен – будет иметь наконец честь и удовольствие видеть Вас в своих стенах. И хорошо, если бы Вы захватили стихи в честь Ломоносова,[2] чтобы их прочесть как следует, не торопясь.

Т[ак] к[ак] дозвониться в Пушк[инский] дом трудно: тел[ефон] всегда занят, то прилагаю при сем открытку для Вашего ответа. Ее я могу получить, вероятно, в воскресенье 26-го (вряд ли в субботу), так выходит по расчету времени.

Что Вы скажете насчет понедельника, 27-го (я свободен: библиотечный день) или вторника, 28-го (до 5 часов в Ин[ститу]те)?

Так как найти дорогу в первый раз трудно среди новостроек, мне хотелось бы зайти за Вами на филфак, чтобы затем отправиться вместе. Если и понедельник, и вторник Вам неудобны, то укажите любой день, кроме, пожалуй, среды, I/III.

По четвергам и пятницам я в Ин[ститу]те до 5 часов.

Итак, надеюсь Вас скоро видеть.

Привет Марии Алексеевне.

Ваш А. Егунов

[1] *Hom. Il.* I, 34 et alibi.

[2] In Michaelis Lomonosovi diem natalem ducentesimum quinquagesimum (с русским переводом П. Н. Беркова) // Литературное творчество Ломоносова. М.; Л. 1962, 315–317; см. также: *Я. М. Боровский, А. В. Болдырев*. Учебник латинского языка. [4] М. 1975, 317–320.

2

14 III 66

Дорогой Яков Маркович!

Разрешите Вас очень поблагодарить за наслаждение чудесной латынью Вашей статьи.[1] Это из сборника в честь Ф. Ф. Зелинского?

Припоминаю, что вы когда-то давали мне читать подобное. Другой вариант? Меня пленяет нарративная часть – воспоминания о Ф. Ф.

Относительно живой латыни делаю вывод, что, следовательно, допускаются выражения, которые были бы нелепы или даже непонятны Цицерону: universitas nostra, aedes universitatis, series G[uilelmo] B[udaeo] dicata… И если им широко раскрыть двери, что получится из латыни? Вот трудный вопрос.

Дерзновенно спрашиваю, хорошо ли, в смысле языка, is: «locum… quo is planius intellegatur» (стр. 285). Грамматически конечно, но в духе ли языка? Впрочем, вы меня простите за невежественность.

Еще одно: повидло и тогда, и теперь мы не называли мармеладом. Это немцы так называют. У нас мармелад то, что можно кусать. Эти несущественные впечатления примите за доказательство внимательного чтения статьи, как она того и заслуживает.

С наилучшими пожеланиями Вашей латинской музе

Ваш А. Егунов.

Привет Марии Алексеевне! Аттический обед с его также и духовной пищей (рассказы Аматы Фаддеевны[2] и воспоминания Елены Александровны[3] о Вяч. Ив[анове]) был для меня прямо праздником.

[1] Ad Ciceronis Ligarianam spicilegium // Eos 54 (1964), 284–288; *Я. М. Боровский, А. В. Болдырев*. Указ. соч., 313–317.

[2] А. Ф. Зелинская (1888–1967), дочь Ф. Ф. Зелинского (см. биографический очерк: *Л. Вольфцун*. Amata mea // Звезда № 4 (1997), 178–184).

[3] Е. А. Миллиор (1900–1978) – историк, литературовед, писательница (о ней см.: Вестник Удмуртского университета: Специальный выпуск. Ижевск 1995); студентка В. И. Иванова в Бакинском университете.

3

30 IV 66

Дорогой Яков Маркович, как жаль, что мы с вами разминулись, право, это очень досадно для меня.

Что касается праздничных дней, то некоторые уже явственно проступившие черты дряхлости порой сокращают ареал моего распространения, хотя я всегда охотно бываю в уютной атмосфере вашего дома. Передайте мой привет и благодарность Марии Алексеевне.

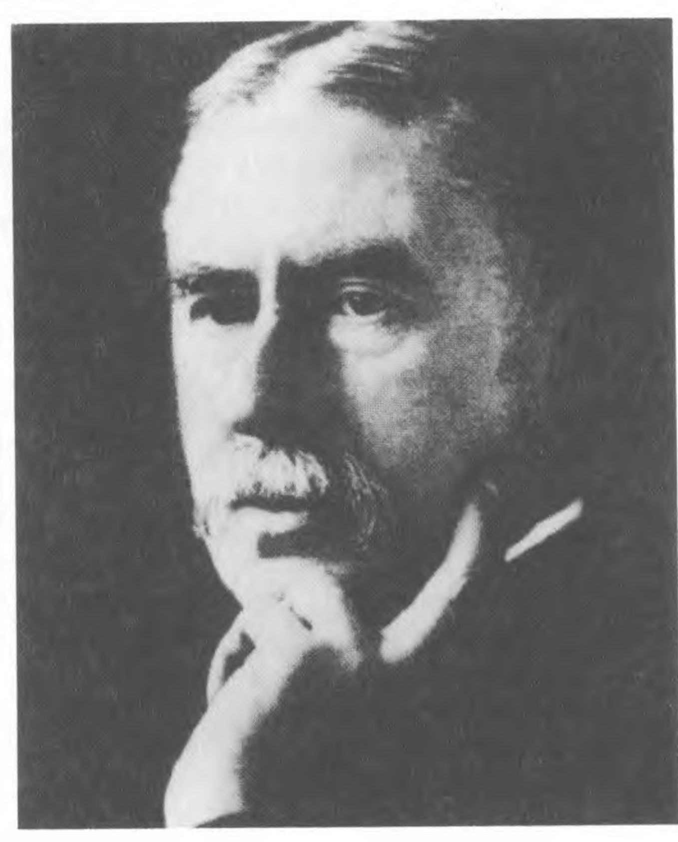
Сижу над политией, хотелось бы мне успеть (спеть? по Кратилу?) ее сделать (лебединая песнь?). Трудностей много.

Не забывайте преданного Вам

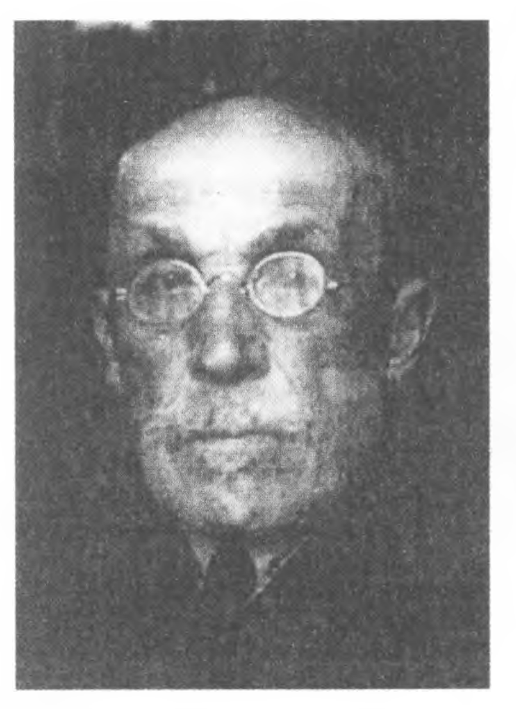
А. Егунова.



Родольф Агрикола
(1443–1485)



Альфред Эдвард Хаусмен
(1859–1936)



Сергей Александрович Жебелев
(1867–1941)

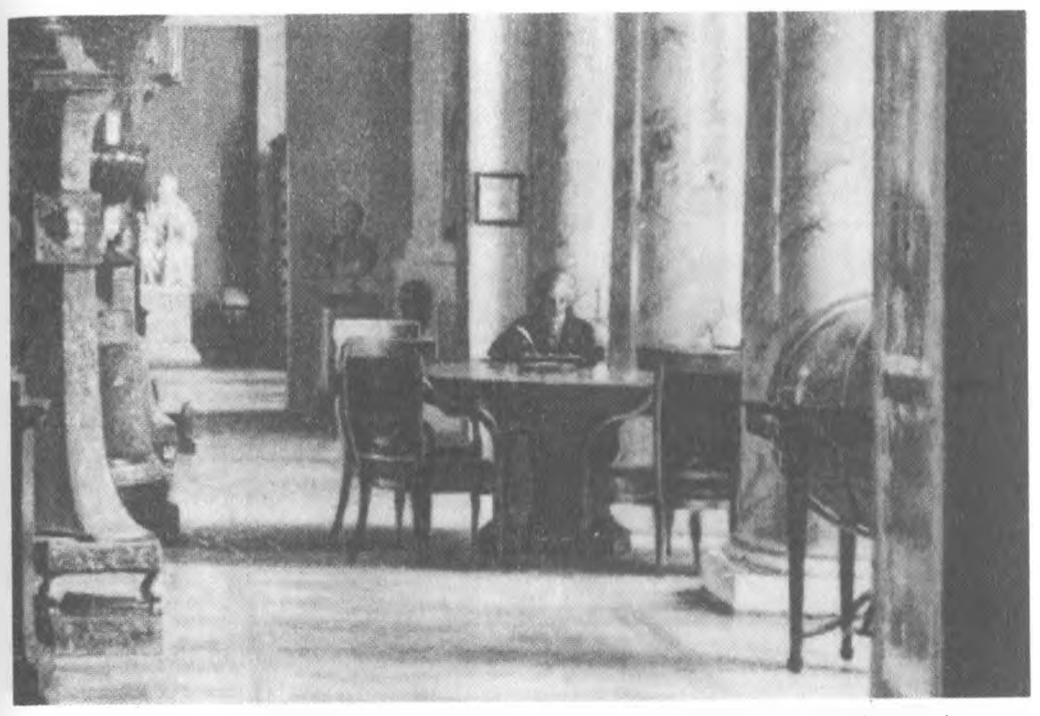


Григорий Филимонович Церетели
(1870–1939?)

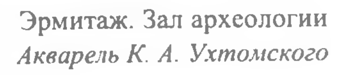


Евгений Мартынович Придик
(1865–1935)

Рис. Э. К. Липгарта



А. В. Тыранов "Перспективный вид эрмитажной библиотеки" (*деталь*)



Эрмитаж. Зал археологии
Акварель К. А. Ухтомского



Генрих Карл Эрнст Келер (1765–1838)

Гравюра К. Я. Афанасьева по рис. Ф. Крюгера



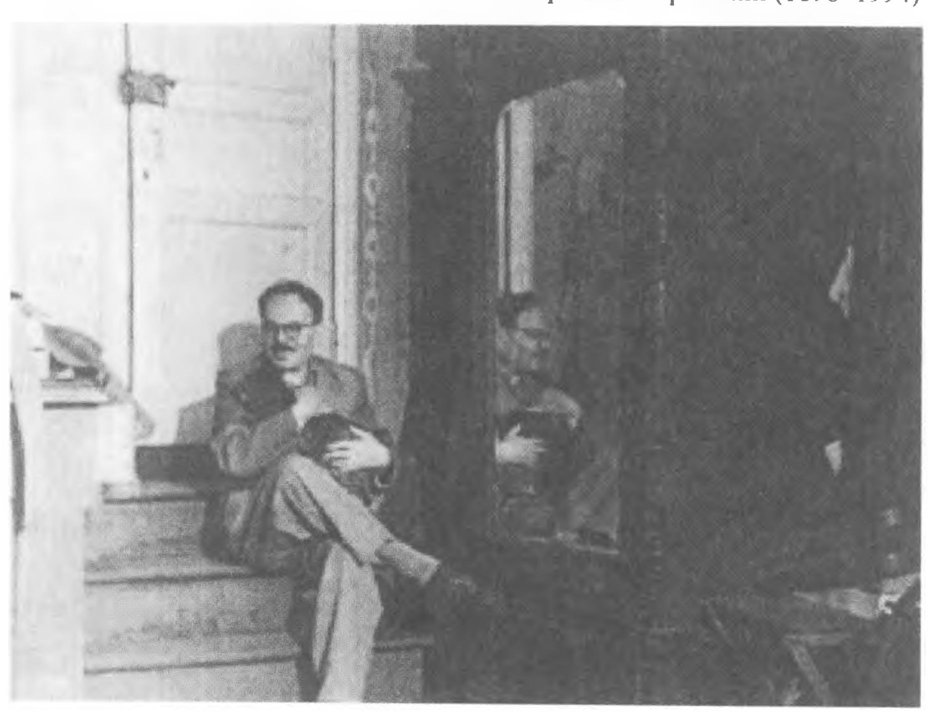


Аристид Иванович Доватур
(1897–1982)



Андрей Николаевич Егунов
(1895–1968)

Яков Маркович Боровский (1896–1994)



пахнучею и ѿ цвѣтов и ѿ яблокъ лесны
хъ. а ни пьютъ ни ядатъ только нюхаю.
а покамѣста оу нихъ тѣ запахи есть по
тамѣста и живутъ. ѿ атанасии.
Люди есть атанасiи живутъ на полуно
щи ѿ окiяна моря. оу ших оу них столь ве
лики что покрываеть ими все свое тѣло.
ѿ поподеѣхъ. Люди попадеи живутъ на
море мъ окiяномъ. главы оу нихъ челове
чьи. а руки и ноги. как конские ноги. а хо
датъ на всѣхъ четырех ногахъ. ѿ оурида
Люди оуридии живутъ в дальных тата
рских землях. а имѣютъ ѡбращатися
из члвка в волка. а из волка паки в человѣк.
ѿ пилменахъ. Люди есть зовомии пилмени
живутъ во индiйских земляхъ. росто
невелики только лакоть единого и недолго
вѣчны только по, и. лѣтъ вѣкъ ихъ. а же
ны ихъ родятъ ѿ пяти годъ. а дерутся
съ журавлями и о корму а гнѣзда ихъ изла
хъ а стреляютъ из луков. ѿ жатиминах.
Люди зовомии катаини, живутъ во ин
дiйской странѣ по горою и мане мѣсти
тѣ люди велики какъ волотове. а имѣю
тъ по ѡдному ѡку а иные слѣпы. а мнятъ
что инѣтъ на земли таких людей что
бы оу нихъ было по два ѡка. а родомъ тѣ
люди добрѣ хороши а молятся слнцу и иму.
ѿ ширитехъ. Люди ширитове живу
тъ ѿ татарской землѣ бе оуши. только

Фрагмент рукописи Русского хронографа редакции 1617 года *(БАН. Архангельское собрание. С-139. Л. 29 об. – 30)*

лише дыры за ушеи имѣюта. О троглодитѣхъ.
Людие троглодити живутъ во фригийской
стране питаются ядомъ змеи. О мантихорахъ
Люди мантикоры живутъ во индѣи. кора-
невиухъ сверанахъ зубы у нихъ от приро-
ды. главы у нихъ человѣчии. а тѣло льво-
во зверя. О монокелѣхъ. Люди моно-
мерозовоми а инде монокули. о бродной
ногѣ. а коли слнце печетъ и онъ можетъ
покрытися ногою яко ... О ...
Люди зеновии а поталии родать ...
на ногихъ и на рукахъ. бороды у нихъ до-
лги и половина члка а древа конь. а у то-
ихъ волосъ на главахъ нѣтъ. а живу-
тъ в водѣ. Многоже иныхъ всякимъ
чюднымъ родствомъ. яко во фрицкси
и во индийскихъ и во сирскихъ странахъ.
у иныхъ песии главы. а иные безглавъ а
на грудехъ зубы и на лиссахъ очи. а ин-
ые о двоу лицахъ. а иные очесы решче.
а иные пошти рогъ на главахъ носятъ
а у иныхъ пошти не растетъ у рукахъ и оу
ногъ. а все тѣ люди на вселенную пошли
от единаго члка рекше Адама. и за оумно-
женіе грѣховъ такова оучиниша. може-
мъ разумети что от женылотовъ, и от
прочихъ иже множество окаменѣвш.
О вѣрѣ. и о греческихъ племенахъ. Гла. ві.
Еверъ убо единъ иже не приложилъся ко
оумию столпотворенія. и его ради и да
от языце еврейскомъ и от прочихъ

Вакханки. *Рис. Ю. В. Андреева*



Юрий Викторович Андреев
(1937–1998)

Фаддей Францевич Зелинский
(1859–1944)





Вячеслав Иванович Иванов
(1866–1949)

Шарж М. В. Добужинского

Титульный лист первого издания поэмы *Fata Telemachi...* (Берлин, 1743)

SVMMI VIRI
FRANCISCI SALIGNAC
DE LA MOTTE
FENELON
FATA
TELEMACHI
FILII VLYSSIS
REGIS ITHACAE
LATINO CARMINE REDDITA
VOLVMEN PRIMVM
CONTINENS LIBROS XII. PRIORES.



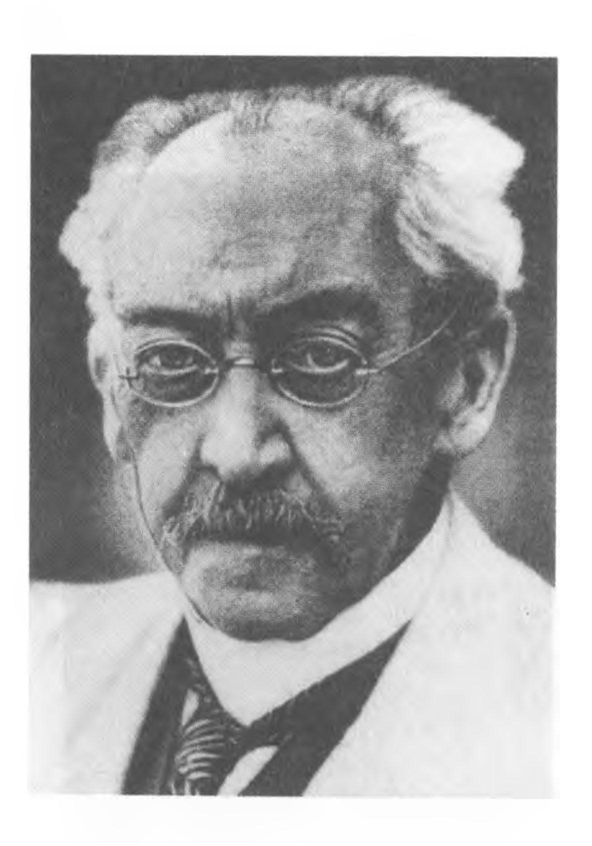
BEROLINI,
SVMT. IO. ANDR. RVDIGERI
CIↃ IↃCC XXXXIII.



Наталья Дмитриевна Численко (1930–1993)
в студенческие годы

Карл Лерс (1802–1878)





Адольф фон Гарнак (1851–1930)

PERSONALIA



Евгений Мартынович Придик (1865–1935)

Н. А. Павличенко

Е. М. ПРИДИК, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛОЛОГ И ЭПИГРАФИСТ

К истории создания третьего тома IOSPE

В Москве, в Институте археологии РАН, уже несколько десятилетий хранится рукопись, которая оказала ощутимое влияние на развитие эпиграфики в нашей стране, хотя никогда не публиковалась. Обычно эту рукопись называют третьим томом *Inscriptiones Orae Septentrionalis Ponti Euxini (IOSPE)*, а среди специалистов принято называть ее «граковским сводом» керамических клейм.[1] На титульном листе рукописи указаны два автора: Б. Н. Граков и Е. М. Придик. Имя московского историка Бориса Николаевича Гракова хорошо известно всем, кто занимается античной археологией и эпиграфикой. Второе имя, сейчас полузабытое, принадлежит филологу-классику, которому в начале нашего века Петербургская Академия наук поручила собирание материала для свода надписей «на керамических клеймах и предметах хозяйственной утвари».

О личности этого человека, о его судьбе мало известно. Почему? Это легко объяснить, если назвать годы его рождения и смерти: 1865–1935.[2] Время, на которое пришлись годы жизни Е. М. Придика, было

[1] *Е. М. Придик, Б. Н. Граков*. Корпус керамических клейм Северного Причерноморья // Архив ИА РАН, Р-2, № 2157–2298.

[2] В нескольких изданиях годом смерти Придика неправильно назван 1936 г. (Эрмитаж: История и современность. М. 1990, 186; Филологический факультет Санкт-Петербургского университета: Справочник. СПб. 1995, 99).

временем перелома и смуты. Выпускник Юрьевского университета 80-х годов прошлого века, он принадлежит к поколению тех ученых, чья научная карьера была прервана октябрьскими событиями 1917 г. Многие его современники или умерли вскоре после революции – как В. В. Латышев, А. И. Марков, А. В. Никитский, – или же покинули страну, как М. И. Ростовцев. Из его сверстников и младших коллег почти никто не дожил до конца войны – очень многие погибли в результате сталинских репрессий или позже, в блокадном Ленинграде. За исключением нескольких упоминаний (в книге о Б. В. Фармаковском,[3] в обширной монографии, посвященной жизни и творчеству М. И. Ростовцева,[4] а также в справочниках научных работников Ленинграда) никаких свидетельств о Е. М. Придике, по-видимому, в печати не появлялось. Люди, лично знавшие этого человека, не оставили воспоминаний о нем; некрологов нет; какие бы то ни было сведения отыскиваются только в архивах – так что не удивительно, что о Евгении Мартыновиче Придике можно сказать: был ученый, мы знаем его имя и названия нескольких его работ, а больше ничего. Или почти ничего.

Е. М. Придик родился в Ревеле в 1865 г.[5] Позже он писал в анкетах, что происходит «из солдатских детей». Его отец был отставным унтер-офицером Преображенского полка, мать – эстонской крестьянкой. На пятом году Придик был усыновлен генералом Ф. Ф. фон Вендрихом, давшим ему хорошее домашнее воспитание, так что, поступая в гимназию, Е. М. свободно владел русским, немецким, французским и английским языками.[6]

В 1888 г. он успешно оканчивает историко-филологический факультет Дерптского университета со степенью кандидата древнеклассической филологии и отправляется в Берлин, где в течение двух семестров продолжает свои занятия. Одновременно с ним в Берлине у тех же профессоров занимался и его старший брат Александр.

Кроме Е. М., в семье было еще трое детей. Старший брат Евгения Александр Придик (он родился в 1864 г.), также филолог-классик, впоследствии преподавал в Дерптском университете на кафедре древнеклассической филологии и греческих и римских древностей (приват-

---

[3] *Т. И. Фармаковская.* Борис Владимирович Фармаковский. Киев 1988.

[4] Скифский роман. М. 1997, 454, прим. 3.

[5] Биография Е. М. Придика до поездки в Афины излагается здесь по его Личному делу, хранящемуся в архиве Эрмитажа (РА ГЭ, ф. 1, оп. 13, д. 686, л. 2 сл.).

[6] По устному свидетельству внучки ученого К. А. Орловой, Ф. Ф. фон Вендрих был родным отцом Е. М. Придика.

доцент с 1892 г., штатный доцент с 1897 г.), где «по поручению факультета <...> читал лекции по истории греческой прозы, греческой эпиграфике, греческому синтаксису, истории греческой литературы и истории греческой эпической поэзии».[7] В 1904–1917 гг. он был экстраординарным профессором кафедры греческой словесности историко-филологического факультета Варшавского университета.[8] Научные интересы А. Придика не ограничивались узкофилологической тематикой – в Варшавском университете он читал, например, курс античного искусства (с 1910 г. он являлся заведующим кабинетом гипсовых фигур и статуй историко-филологического факультета).[9] А. М. Придик был автором большого числа научно-популярных статей об археологических раскопках в Греции и Риме, а также о греческой эпиграфике и папирологии. Его научные публикации немногочисленны – по большей части это курсы лекций, прочитанные в Варшавском университете.[10]

В архиве Академии наук хранится черновик пространного отзыва о научных трудах А. М. Придика, написанного А. В. Никитским[11] в 1903 г. по поручению декана историко-филологического факультета Дерптского университета (Никитский в то время уже оставил Дерпт и был профессором Московского университета). Так как об Александре Придике нам известно еще меньше, чем о его младшем брате, нелишним будет привести здесь выдержки из этого документа. В целом отзыв достаточно нелестный; к примеру, вот что Никитский писал о магистерской диссертации А. М. Придика *De Cei insulae rebus* (Дерпт 1892): «Работа была начата по мысли известного знатока надписей Ульриха Келера и исполнена под его руководством (устным и в письмах). Насколько помню, не наводя теперь справок, „диссертация“ встретила в немецкой критике только одобрительные отзывы. <...> Я также нахожу, что книга о Кеосе – одна из лучших работ типа немецких докторских диссертаций. Но немецкие критики, думаю, применяют особый

---

[7] Биографический словарь Юрьевского Университета. Т. III. Юрьев 1903, 449–450.

[8] Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Варшавского университета за 1904–1905 академический год. Варшава 1905, 59.

[9] Обозрение преподавания предметов на 1910–1911 г. // Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Варшавского университета за 1909–1910 учебный год. Варшава 1910, 34.

[10] Библиографию печатных работ А. М. Придика, вышедших до 1917 г., см. в указателе А. И. Воронкова (Древняя Греция и Древний Рим. М. 1961, по ук.). Кроме того, нам известна его статья: Der Mitregent des Königs Ptolemaios II Philadelphos // Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis 5 (1924), 3 sqq.

[11] Александр Васильевич Никитский (1859–1921) – филолог-классик, эпиграфист, историк.

масштаб к этим Erstlingsschriften, не желая обескураживать автора-новичка и иногда лишь in spe прозревая в нем будущего исследователя. Они сами заявляют, что многие диссертации – простая макулатура. Они умеренно отзываются о такой диссертации, которая в сущности часто только трудолюбивый шаблонный подбор материала, хотя бы в ней обнаруживалось почти абсолютное невежество автора в смежных областях и масса детальных промахов. <…> Я предпослал предшествующие строки потому, что, повторяя одобрение немецких рецензентов по отношению к „Кеосу“ А. М. Придика как к немецкой „диссертации“, я с точки зрения всесторонней тщательности филологического изучения нахожу в книге немало недостатков и отчасти даже сомневаюсь, прошла бы она в точном русском переводе в качестве магистерской диссертации в ином русском Университете (хотя, конечно, бывают разные диссертации и иногда проходят). <…> Книга, конечно, очень облегчает изучение кеосских древностей и истории, но полагаться на собственные выводы автора там, где они не следуют прямо и без рассуждений из источников, я, по крайней мере, не решился бы за единичными исключениями…»[12]

О вышедшей в 1902 г. в Юрьеве книге «Шестая речь Исея: Исследования в области аттической генеалогии и аттического гражданского права», которую А. М. Придик напечатал в качестве докторской диссертации, Никитский отзывается еще более резко:[13] «Признаю, что книга дает очень полный свод и разбор необходимых для объяснения VI речи Исея материалов, свидетельствует о немалой массе затраченного, хотя и нередко непроизводительного, труда и о старательном в пределах возможности, впрочем, часто ударяющемся в ненужные мелочи изучении литературного вопроса, а равно говорит и о стремлении автора выставить и развить до мелочных деталей все спорные вопросы, связанные с VI речью Исея, причем, впрочем, детальная разработка была уже подсказана разноречивыми мнениями предшественников. Но автор писал зараз и докторскую русскую диссертацию и такое „монографическое исследование“, на которое другие „без вреда“ могли бы прямо ссылаться даже без переисследования подлинной речи; я же нахожу, что его книга не удовлетворяет ни той, ни другой задаче. <…> Вся книга в целом может быть полезна для того читателя, близкого к делу, который будет относиться к ней с принципиальным μέμνασ᾽ απιστεῖν, т. е.,

[12] ПФА РАН, ф. 84, оп. 1, д. 59, л. 1–2; 4.

[13] В том же году Никитский опубликовал пространную отрицательную рецензию на эту работу А. М. Придика (ЖМНП [1903, апрель], отд. II, 401–456).

иначе говоря, решится шаг за шагом повторить проделанную А. М. Придиком работу с большей точностью и всесторонностью суждения. В заключение я должен заметить, что общее направление в работах А. М. Придика мне более симпатично в сравнении с направлением господ, предпочитающих писать на узкие темы, требующие одного механического труда, в роде *Quaestionum grammaticarum capita duo*. Работы последнего типа могут быть прекрасно выполнены и не учеными, при небольшой усидчивости и выдержке, но зато прекрасное выполнение их еще нисколько не говорит в пользу авторов как талантливых ученых. Между тем А. М. Придик в своих книгах берется за темы более широкие, сталкивающие его с разными областями филологии и с разнообразными и трудными вопросами отдельных областей. Безукоризненное выполнение таких работ, конечно, несравненно труднее. Нельзя не вспомнить, впрочем, что все мы можем приносить некоторую пользу науке, только работая над соответствующими нашим силам работами. Если А. М. Придик по примеру последнего труда будет в изучении крупных вопросов тратиться на безразличные мелочи и несущественные подробности, то трудно ожидать в будущем большой продуктивности. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне казалось бы, что он обладает бóльшим талантом в критике, как он выражается, деструктивной, чем в конструктивной, созидающей нечто более прочное».[14]

Но вернемся к младшему брату. Е. М. Придик сдает экзамен на степень магистра древнеклассической филологии в 1890 г., а три года спустя, также в Дерпте, защищает магистерскую диссертацию на тему «De Alexandri Magni epistularum commercio». Летом 1894 г. министерство народного просвещения командирует его в Грецию для приготовления к профессуре.

Как мы видим, биография вполне обычная для университетского филолога-классика. Единственное, что, по-видимому, отличало его от других филологов – это интерес, как бы мы теперь сказали, к смежным дисциплинам: не только лапидарной, но и керамической эпиграфике и нумизматике. Находясь в Греции, он публикует несколько новых надписей и вновь найденные керамические клейма, принимает активное участие в работах на западном склоне Акрополя, проводимых германским Археологическим институтом в Афинах под руководством проф. В. Дерпфельда.[15] Вероятно, его склонность к подобным занятиям была известна окружающим, и летом 1897 г., когда заграничная коман-

[14] ПФА РАН, ф. 84, оп. 1, д. 59, л. 5–6; 8.

[15] См. приложенный ниже список печатных работ Е. М. Придика, №№ 2–4.

дировка для приготовления к профессорскому званию уже заканчивалась, Е. М. Придик получил письмо от В. В. Латышева с предложением заняться собиранием материала для издаваемого в то время Латышевым корпуса *Inscriptiones Orae Septentrionalis Ponti Euxini (IOSPE)*.

История издания этого сборника такова. В 1876 г. Императорское Русское Археологическое общество (РАО) решило собрать в одном сборнике греческие надписи, найденные на юге России.[16] Выбранная для этой цели комиссия (в нее вошли А. Я. Гаркави, И. В. Помяловский и Ф. Ф. Соколов) составила план сборника, но никаких практических шагов предпринято не было. В 1882 г. по рекомендации Помяловского и Соколова РАО предлагает заняться составлением этого корпуса надписей В. В. Латышеву, в то время находившемуся в научной командировке в Греции.[17]

Латышев энергично взялся за эту работу и уже в 1885 г. выпустил в свет первый том, включающий лапидарные надписи Тиры, Ольвии и Херсонеса, а в 1890 г. – второй, в котором были собраны боспорские надписи. В следующий том должны были войти причерноморские граффити и керамические клейма, но заниматься керамической эпиграфикой Латышев отказался. В сентябре 1890 г. в письме Совету РАО он писал: «К моему искреннему сожалению отчасти мои служебные обязанности,[18] а главным образом состояние моего зрения не позволяет мне принять на себя труд списывания надписей с ручек...»[19] Латышев предложил РАО либо ограничиться изданием в своем корпусе уже опубликованных в разных изданиях клейм, либо пригласить других лиц для копирования вновь поступившего материала, с тем, чтобы он сам производил лишь окончательную обработку и издание. Через семь лет, в 1897 г., в Совет РАО посту-

[16] По первоначальному плану, в корпус должны были войти и греческие надписи, найденные на Кавказе, но впоследствии И. В. Помяловский собрал их в отдельном издании (Сборник греческих и латинских надписей Кавказа. СПб. 1881).

[17] Ответное письмо В. В. Латышева И. В. Помяловскому сохранилось в рукописном архиве Института истории материальной культуры РАН (далее – РА ИИМК): ф. 3, д. 152, л. 1; см. также: История Императорского Русского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования (1846–1896). СПб 1900, 132; *И. И. Толстой.* Памяти Федора Федоровича Соколова. СПб. 1910, 6–8. Ср. также: *Э. Д. Фролов*. Кавалер ордена Белого Орла // *В. В. Латышев.* Очерк греческих древностей. Т. 1. СПб. 1997, III–XIII.

[18] 12 сентября 1890 г. Латышев становится помощником попечителя Казанского учебного округа.

[19] РА ИИМК, ф. 3, д. 152, л. 36. Понимая, что столь значительный труд вряд ли кто-нибудь возьмется исполнять безвозмездно, Латышев предложил платить за каждую списанную ручку от двух до пяти копеек.

пает еще одно письмо.[20] Латышев сообщает, что собранные клейма в последние годы «лежат без движения» и приводит еще одно обстоятельство, которое мешает ему взять на себя издание III тома. Как нам представляется, здесь Латышев назвал наконец истинную причину своего отказа от работы с керамическими клеймами. Он пишет, что после выхода в свет первых томов корпуса в результате археологических раскопок накопилось много новых лапидарных надписей, которые он бы хотел собрать в IV томе сборника, что, по его словам, «в настоящем моем положении[21] представляется для меня гораздо менее затруднительным, а для науки не менее полезным». Обработку III тома Латышев предложил передать «другому надежному лицу», а именно Е. М. Придику.

Ответ Придика сохранился в архиве РАО:

> …Спешу выразить Вам искреннейшую свою благодарность за лестное предложение быть Вашим сотрудником при издании Вашего столь славного сборника надписей, с радостью готов взять на себя этот труд и постараюсь оказаться достойным возложенного Вами на меня доверия. Как велик материал, я не знаю, но, если это возможно, берусь подготовить этот том к печати в течение одного года: я работы не боюсь, и у меня, слава Богу, хватает сил работать довольно интенсивно. От души Вам благодарен за обещание выхлопотать мне от императорского Русского Археологического общества субсидию, без которой я, конечно, этой работой не мог бы заняться, т. к. у меня личных средств никаких нет, и поездки на юг ведь тоже будут стоить немалых денег. Я вполне полагаюсь на Ваше любезное содействие. Вы всегда так много обо мне заботились, что я, право, не знаю, как быть Вам признательным. Об одном хотел бы спросить и просить Вас. Что, этот год, в течение которого я буду заниматься изданием III тома *IOSPE*, также будет считаться годом службы, или нет? Если так, то нельзя ли будет причислить меня к какому-нибудь государственному учреждению, чтобы не потерять этот год? Извините, пожалуйста, нескромность моей просьбы, но, если возможно, пожалуйста, не откажите.
>
> Здесь в Афинах жизнь довольно возбужденная: как мало изменились греки с древних времен!
>
> <…> Дай Бог, чтобы эта несчастная война,[22] которая вконец разорит бедную страну, скоро кончилась. Да, люблю я Грецию, как свою вто-

[20] РА ИИМК, ф. 3, д. 152, л. 53.

[21] С 1893 г. В. В. Латышев – ординарный академик Императорской Академии наук и вице-директор Департамента народного просвещения.

[22] Антитурецкое восстание на Крите, начавшись в 1896 г., привело к греко-турецкой войне 1897 г. Неподготовленная к этой войне Греция потерпела поражение и была вынуждена уплатить Турции значительную контрибуцию.

рую родину, и мне ужасно жаль бедного народа, которому приходится ужасно страдать за бессовестную политику Делиянниса[23] <...>. С нетерпением буду ждать мне ответа насчет того, предоставляет ли Императорское Русское Археологическое Общество мне издание III тома и даст ли мне субсидию, и в каком именно размере.

Я же честь имею оставаться Вашего Превосходительства преданным и покорным слугою.

Евг. Придик[24]

Любопытно, что, рекомендуя Е. М. Придика, Латышев немного приукрасил его биографию, сообщив Совету РАО, что после защиты магистерской диссертации тот состоял приват-доцентом Дерптского университета. В действительности, как написал Придик в автобиографии, «заболев летом 1892 г. язвой желудка, я на время вынужден был прекратить научные занятия и с осени 1892 г. по июнь 1894 г. состоял воспитателем сыновей барона Унгерн-Штернберга в Ревеле».[25]

РАО согласилось передать Придику работу на составление III тома.[26] Ученая командировка продлевается ему еще на год, уже внутри страны, для поездок по южнорусским музеям. Кроме того, ему выделяются специальные средства из средств РАО на 1897 и 1898 годы.

Первоначально предполагалось, что свою работу Е. М. начнет в находящихся под покровительством Императорской археологической комиссии (ИАК) археологических музеях Керчи и Севастополя, но обстоятельства сложились иначе. В письме к академику А. Ф. Бычкову[27] (от 18 июля 1897 г.) Е. М. пишет:

Я <...> желал бы посидеть на месте некоторое время. Жена моя[28] также совсем утомилась, а оставлять ее одну на чужой стороне было бы для меня весьма печально, особенно так как она не владеет русским язы-

---

[23] Теодор Делияннис (1826–1905) – политический и государственный деятель; неоднократно, в том числе и в 1895–1897 гг., занимал пост премьер-министра Греции.

[24] РА ИИМК, ф. 3, д. 152, л. 51–52.

[25] РА ГЭ, ф. 1, оп. 13, д. 686, л. 2.

[26] РА ИИМК, ф. 3, д. 152, л. 55–59.

[27] Афанасий Федорович Бычков (1818–1899) – археограф, хранитель отделения рукописей и старопечатных церковно-славянских книг Публичной библиотеки, впоследствии (1882–1899) – директор Публичной библиотеки. С 1893 г. – председатель отделения русского языка и словесности АН. В 1885–1899 гг. – помощник председателя РАО.

[28] В Германии Е. М. женился на Марианне Карловне Вильберг, дочери германского консула в Афинах.

ком и совсем пропала бы здесь в Петербурге. Кроме того, я человек совсем бедный, и ассигнованных мне обществом 1200 руб. ассигнациями не хватило бы на жизнь, особенно в таком дорогом городе, как Петербург. Мне придется и давать уроки, чтобы быть в состоянии жить вместе с женой, а уроков в середине зимы я едва ли получу. Поэтому всепокорнейше прошу Ваше Превосходительство, не позволите ли Вы мне начать свои занятия здесь в Петербурге? Я думаю теперь поселиться в Санкт-Петербурге, давать уроки и прилежно обрабатывать материал для III тома надписей. Барон Тизенгаузен[29] с величайшей любезностью изъявил свое согласие выписать херсонесские и керченские ручки сюда, в Санкт-Петербург. Весною следующего года я думаю на несколько месяцев ехать на юг, чтобы собрать не списанные еще в частных и общественных музеях надписи и окончить обработку тома к изданию. <…>

Вы можете быть уверены, что я постараюсь оказаться достойным возложенных на меня надежд и, если возможно, кончить свою работу в течение одного года.[30]

Разрешение остаться и начинать работу в Петербурге было получено, и Е. М. быстро берется за дело. Из сохранившегося в делах РАО отчета (от 1 января 1898 г.) видно, что за первые полгода он обработал более шести тысяч клейм на амфорах и черепице.[31] Затем работа, по-видимому, замедлилась. Из-за чего это произошло?

В том, что он затягивал издание III тома, Придика упрекали непрестанно. В 1901 г., когда вышел уже четвертый том латышевского сборника, РАО неоднократно просило его ускорить обработку материала для третьего тома.[32] Более чем через двадцать лет, в 1923 г., С. А. Жебелев отмечает в своей книге «Введение в археологию», что издание этого тома находится «на мертвой точке».[33] В советское время о Е. М. Придике сложилось устойчивое мнение как об эпиграфисте, который не смог выполнить данное РАО и лично Латышеву обещание, так как переоценил свои силы.

На наш взгляд, кажущаяся необязательность Придика объясняется материальным положением ученого. Дело в том, что, кроме жалованья, личных средств у Е. М. не было. Чтобы содержать семью, ему посто-

---

[29] Владимир Густавович Тизенгаузен (1825–1902) – нумизмат; в 1894–1900 гг. был товарищем председателя ИАК.

[30] ПФА РАН, ф. 764, оп.2, д. 617, л. 1–1 об.

[31] РА ИИМК, ф. 3, д. 152, л. 67–68.

[32] Там же, д. 402, л. 77.

[33] *С. А. Жебелев.* Введение в археологию. Ч. 1: История археологического знания. Пг. 1923, 139.

янно приходилось искать заработки, что не могло не сказаться на научных занятиях.

По-видимому, выделенной РАО субсидии было действительно недостаточно для жизни в Петербурге, и почти сразу же после возвращения из Афин Е. М. начал искать постоянное место работы. В конце сентября 1897 г. он подает прошение о назначении на должность ученого секретаря Русского археологического института в Константинополе,[34] но получает отказ. Вместо него был назначен Б. В. Фармаковский. В мае 1898 г., незадолго до окончания выплаты упомянутой субсидии от РАО, он был назначен ассистентом хранителя отделения монет Эрмитажа. Тогда же он подает прошение директору Императорского Эрмитажа с просьбой определить его на первую открывшуюся вакансию.[35] В августе 1899 г. он становится хранителем Эрмитажа по отделению античных монет. В этой должности Е. М. оставался до конца 1903 г., когда после скоропостижной смерти Г. Е. Кизерицкого его назначили старшим хранителем отделения древностей.[36]

Говоря об Эрмитаже того времени, нужно иметь в виду, что он относился к министерству Императорского двора и научная работа затруднялась как малочисленностью сотрудников, так и не всегда достаточной их профессиональной подготовкой. Когда Е. М. стал старшим хранителем, в отделении числился только один хранитель – инженер путей сообщения барон П. И. Мейендорф, а также писец граф Р. Стейнбок. Первоочередной задачей нового хранителя стала инвентаризация и систематизация собрания отделения древностей.

Почти одновременно с началом работы в Эрмитаже Е. М. начинает преподавать в университете – в должности приват-доцента «по предмету древнегреческой словесности, истории и древности».[37] Со студентами младших курсов он читает многих греческих авторов – Аристофана, Эсхила, Софокла, Геродота, Полибия, Феокрита, Лисия, Демосфена и др., обращая особое внимание на реалии и привлекая, где

---

[34] *Е. Ю. Басаргина.* Русский археологический институт в Константинополе: архивные фонды // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб. 1995, 77.

[35] РА ГЭ, ф.1, оп. 13, д. 686, л. 30.

[36] Там же. С. А. Жебелев в некрологе Я. И. Смирнову (Seminarium Kondakovianum. Т. II. Прага 1928, 15, прим. 1) заметил между прочим, что после неожиданной смерти Кизерицкого «многие имели основание ожидать, что на его место будет назначен Я. И. Смирнов, но назначенным оказался хранитель нумизматического отделения Е. М. Придик».

[37] Отчет о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского университета за 1899 г. СПб. 1900, 14.

возможно, лапидарные надписи. Кроме того, он читает лекции по греческой эпиграфике и по теории метрики с разбором Эсхила и Софокла.

После 1898 г. работа Придика над III томом *IOSPE*, по-видимому, ограничивалась только сбором материала. Летом 1901 г. он ездил с этой целью в специальную командировку, посетив Одессу, Севастополь, Керчь, Симферополь, а также Москву.[38]

Насколько можно судить по архивным материалам, время с 1899 по 1917 г. было для Е. М. самым спокойным и самым плодотворным. Нагрузка в Университете была не столь велика (3–6 часов в неделю), так что все время и силы Е. М. отдавал Эрмитажу. Практически все его работы этого периода являются публикацией материалов отделения древностей Эрмитажа или сообщают о новых музейных поступлениях. В качестве представителя Эрмитажа он выступает с докладами на международных археологических съездах (1905 г. – Афины, 1909 – Александрия и Каир, 1912 – Рим, 1918 – Лондон). Большинство его публикаций этого времени посвящено нумизматике, и только в 1917 г. вышел в свет «Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках и на черепицах Эрмитажного Собрания».

Почти сразу же появились рецензии на эту книгу: Г. Г. Гельд (Гермес, 1918, авг. – дек., 146) говорит об «образцовой тщательности» издания и трудолюбии автора, собравшего ценный материал. Соломон Рейнак (Revue Archéologique, 5e série, 17 (1923), 198) отмечает, что Придик уже давно обещает выпустить корпус керамических клейм и пока что публикует лишь малую часть клейм, найденных в России – 1500 экземпляров эрмитажного собрания. Указав на огромное, исчисляющееся тысячами экземпляров, количество клейм, например, в музее Александрии, он задает справедливый вопрос – стоят ли подобные издания затраченного на них труда? Рецензия Хиллера фон Гертрингена (Berliner Philologische Wochenschrift 43 (1918), 1020) ценна для нас тем, что он дополняет музейный «инвентарный» каталог Придика научным комментарием к встречающимся в клеймах именам.

После революции жизнь и работа Придика поневоле определялась происходившими в стране событиями. Е. М. по-прежнему много преподает – и в Университете, и гимназии Св. Анны,[39] – но когда в конце

[38] Отчет о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского университета за 1901 г. СПб. 1902, 74.

[39] Е. М. преподавал древние языки и был членом ученого совета Annenschule с 1914 по 1924 г.

1918 г. в Эрмитаже проводилась реорганизация, вместо него хранителем отделения был избран О. Ф. Вальдгауэр. Какими бы обстоятельствами не было обусловлено такое решение, нетрудно предположить, что могло означать в то голодное время для Е. М. неизбрание. 11 ноября 1918 г. Придик оставил должность хранителя, но по распоряжению нового директора Эрмитажа С. Н. Тройницкого продолжал ходить на службу. 18 декабря он был избран (по рекомендации О. Ф. Вальдгауэра) специальным ассистентом по эпиграфике отделения археологии России, а в начале января 1919 г. возвращается в отдел нумизматики и глиптики хранителем античных монет.

Тогда же, в январе, Е. М. пишет заявление с просьбой выплатить ему денежное содержание за время с ноября по декабрь,[40] когда он числился на службе. На этом прошении есть резолюция комиссара Эрмитажа Н. Н. Пунина, которая позволяет вполне почувствовать эпоху:

> Считаю, что самый факт неизбрания является достаточным для того, чтобы полагать неизбранное лицо отчисленным, во всяком случае, если такого приказа не было, могу его написать. Ни государственные учреждения, ни комиссар никогда не будут препятствовать тому, чтобы лица, добровольно желающие принести свой труд, были бы в состоянии это сделать. Прошу по данному делу заключения директора или Совета.
>
> Пунин. 28 февраля 1919 г.

В это же время – отчасти потому, вероятно, что работа учебных заведений, ввиду происходящего в стране и в городе, была не вполне регулярной и таким образом высвободилось время для научных занятий, отчасти же потому, что Придик нуждался в заработке, – Е. М. становится временным сотрудником отдела античности и христианства Российской государственной археологической комиссии (РГАК). В новой должности он снова обрабатывает керамические клейма из собраний ГИМа и Румянцевского музея.[41] В сентябре 1919 г., после того как РГАК прекратила существование, он опять-таки в качестве временного научного сотрудника начинает работать в Российской академии истории материальной культуры.[42] И в РГАК, и в РАИМК Е. М. занима-

[40] РА ГЭ, ф. 1, д. 686. л. 21; Протоколы заседаний Совета Эрмитажа, год 1919 // РА ГЭ, ф. 1, д. 64, оп. 5, л. 2; 176.

[41] РА ИИМК, ф. 2, оп. 3, д. 538, л. 1; 4–8.

[42] Журнал заседаний Совета РАИМК: 12 заседание от 18 сентября 1919 г., § 108 // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1 (1919), д. 4, л. 26 об.

ется одной и той же темой – третьим томом *IOSPE*. Он, в частности, обрабатывает несколько крупных частных коллекций – Н. Ф. Романченко и Н. П. Лихачева.[43] Как писал в ежегодном отчете тогдашний руководитель разряда древностей греческих колоний юга России РАИМК В. В. Латышев, «работа настолько продвинута вперед, что в других, более благоприятных условиях можно было бы уже приступить к печатанию…»[44] Но в конце 1921 г., после того как почти одновременно умерли сначала Латышев, а затем сменивший его на посту руководителя разряда А. В. Никитский, отдел был расформирован, а Е. М. «было предложено перейти на сдельную работу».[45] Обработка свода клейм опять отходит на второй план. Е. М. публикует две статьи – о российских клеймах и об именах астиномов в керамических клеймах, – но о публикации всего тома не могло быть и речи.

В следующем году для Е. М. и его семьи возникла угроза высылки из страны. В его личном деле сохранилась копия обращения директора Эрмитажа в управление Петросовета с просьбой удовлетворить ходатайство Е. М. Придика о разрешении ему остаться в республике:

> 24 апреля 1922 г.
>
> В отдел управления Петросовета
>
> Государственный Эрмитаж обращается в управление Петросовета с просьбой удовлетворить ходатайство хранителя Государственного Эрмитажа Е. М. Придика о разрешении ему остаться в республике. Означенное ходатайство объясняется полной незаменимостью означенного лица для Государственного Эрмитажа. Е. М. Придик является по своей специальности, как знаток античной нумизматики, единственным представителем этой научной дисциплины в Петрограде, и его отъезд неминуемо должен отразиться на работе музея, ставя его в тяжелое положение.
>
> Директор[46]

Кроме того, Эрмитажу пришлось поручиться за лояльность Придика к существующему строю:

---

[43] РА ИИМК, ф. 2, оп. 1, д. 15, л. 6.

[44] План работы разряда древностей греческих колоний юга России ГАИМК // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1. д. 14, л. 1.

[45] Журнал заседаний правления РАИМК: 40 заседание от 5 ноября 1921 г., § 729 // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1 (1921), д. 5, л. 96. Сокращение Придика, вероятно, было связано с проводимой в 1921 г. кампанией по сокращению штатов научных учреждений. Личный состав РАИМК было предложено сократить на пятьдесят процентов (Журнал заседаний правления РАИМК: 38 заседание от 31 октября 1921 г., § 694 // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1 (1921), д. 5, л. 92).

[46] РА ГЭ, ф. 1, оп. 13, д. 686, л. 225.

1 июня 1922 г.

Поручительство

Государственный Эрмитаж дает свое поручительство в лояльности по отношению к правительству РСФСР хранителя Государственного Эрмитажа Е. М. Придика (ул. Воинова, д. 34).

Директор[47]

Разрешение жить и работать на родине было получено, но это не стало концом неприятностей.

В 1922 г. Придик передает заведование отделом античных монет в Эрмитаже А. Н. Зографу,[48] но продолжает вести научную работу в отделе до 1930 г. (он занимался составлением каталога римских монет). В 1924 г. он был уволен из Университета. Причины увольнения не вполне ясны, так как университетское личное дело Придика, по-видимому, было утрачено, и в архиве Университета хранится только заведенная в двадцатые годы личная карточка.[49] Судя по ней, до 1 декабря 1924 г. Е. М. был профессором[50] кафедры греко-римской филологии факультета общественных наук (ФОН), где преподавал на литературно-художественном и общественно-педагогическом отделениях. Например, из отчета, представленного в РАИМК в 1920 г., следует, что в 1920–1921 учебном году он читал в Петроградском университете «восемь лекций еженедельно по Эсхилу, по греческой метрике, практические занятия по греческой стилистике и греческому синтаксису (перевод Цезаря, *De bello Gallico* l[iber] IV, с латинского на греческий и переводы на греческий легких русских текстов), по греческим лирикам, по истории греческой литературы и т. п.».[51] Кроме того, он читал шесть лекций в бывшем Историко-филологическом институте.[52]

---

[47] Там же, л. 226 (также копия).

[48] *И. Г. Спасский.* Нумизматика в Эрмитаже: Очерк истории // Нумизматика и эпиграфика 8 (1970), 189.

[49] Архив СПбГУ, ф. 1, личная карточка № 974.

[50] В начале 1920 г. в Петроградском университете учреждается единый факультет общественных наук (ФОН). Весь его личный состав предложено было разделить на профессоров и преподавателей. То или иное звание присваивалось факультетом в зависимости от научных и учебных заслуг и опытности кандидатов. Е. М. Придик, который после отмены должности приват-доцента числился преподавателем I Петроградского университета, стал профессором филологического отделения ФОН по кафедре греко-римской филологии (ЦГИА, ф. 7240, оп. 14, д. 132, л. 43–45; 51).

[51] Отчет о деятельности члена разряда древностей греческих колоний юга России РАИМК Е. М. Придика за конец 1920 г. // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1, д. 15, л. 8.

[52] В ноябре 1918 г. Историко-филологический институт был переименован в Педагогический институт при Петроградском университете.

В 1925–29 гг. Е. М. числился сверхштатным профессором археологического отделения и вел занятия по античной и восточной нумизматике.

О том, как сам Придик характеризовал обстоятельства последних лет его работы в Университете, можно судить по его письму к С. А. Жебелеву:

9 ноября 1928 г.

Дорогой Сергей Александрович!

Спасибо Вам за Ваше любезное приветствие ко дню празднования моей 30-летней службы в Эрмитаже и за Ваше милое письмо. Я очень жалею, что Вы лично не могли присутствовать на торжестве. Оно носило такой интимный семейный характер, во всех сердечных и искренних приветствиях звучало столько любви и благодарности со стороны моих коллег, что я вынес впечатление, что я не даром жил и не даром работал. Из всех частей России и из-за границы я получил более сорока адресов, приветствий и писем от таких светил, как Виламовитц, Виганд, Гиллер, Гиль, Реглинг, Геблер и др., что я действительно был счастлив. Грустным для меня было только одно, что Университет, в котором я преподавал 25 лет, не счел нужным участвовать в приветствии, но другого отношения я и не мог ожидать.

Вы в своем письме коснулись раны, давно зажившей и зарубцевавшейся. Я Вас раньше всегда считал своим другом, был у Вас и даже несколько раз гостил у Вас на даче. Вы, стало быть, поймете, как тяжело мне было увидеть Вас в рядах своих врагов и участников той травли, начавшейся против меня после отъезда дорогого Михаила Ивановича, – изгнание из Эрмитажа, лишение меня любимой моей кафедры греческого языка в Университете, сокращение в Академии Истории Материальной культуры, где я больше работал, чем многие другие, и продолжаю работать и до сих пор безвозмездно, свято сдерживая данное покойному В. В. Латышеву обещание. Я безропотно, мужественно переносил эти обиды, хотя наедине часто плакал как ребенок. Вы можете быть уверены, что я Вас давно простил и что я верю в искренность Ваших слов, в которых многие, слышавшие Ваше письмо, сомневались. Не мое дело судить о моих заслугах, я честно работал и буду работать на пользу науки, пока Бог дает мне силы, всегда готовый помогать всем, кто нуждается в моей помощи. И я был бы очень рад, если бы и Вы в искренность моих слов поверили. Еще раз искренне Вам спасибо.

Искренне преданный Вам

Евг. Придик[53]

---

[53] ПФА РАН, ф. 729, оп. 2, № 99. О некоторых обстоятельствах, упоминаемых в письме, см. статью И. В. Тункиной в настоящем выпуске альманаха.

В 20-х годах Е. М. Придик принимал участие в составлении *Corpus Tumulorum*.[54] В рамках этого проекта в 1925–27 гг. он перевел на немецкий язык книгу М. И. Ростовцева «Скифия и Боспор» (Scythien und Bosporus. Bd I. Berlin 1931).[55]

В 1934 г., т. е. за год до смерти, Е. М. уступает ГАИМК собранный и подготовленный им к печати эпиграфический материал для III тома *IOSPE*, а также права на его публикацию, за пять тысяч рублей. Всего им было сдано 17810 карточек с клеймами. После смерти его вдова передала еще 1794 карточки.[56] Этот несомненно вынужденный, вызванный скудостью средств поступок сохранил для нас собранную в результате многолетнего труда картотеку клейм для третьего тома. Иначе он, вероятно, разделил бы участь архива Е. М. Придика, пропавшего – после того, как умерли жена и дочь Е. М. – во время блокады Ленинграда.

В 1944 г. картотека Придика была затребована из Ленинградского отделения Института истории материальной культуры в Москву и передана Б. Н. Гракову. На ее основе в послевоенные годы им была подготовлена рукопись III тома *IOSPE*, включившая южнорусские клейма на амфорах и других сосудах, а также на черепице.[57] После того как Граков завершил свою работу, картотека клейм была возвращена в Ленинград – в рукописный архив ИИМК, где она и хранится в настоящее время.

На наш взгляд, эти почти двадцать тысяч карточек полностью готовой к публикации картотеки являются лучшим памятником Е. М. Придику. Даже теперь эта картотека не потеряла своей научной ценности, так как каждая карточка снабжена точной прорисовкой клейма, по которой можно уточнить чтение неправильно восстановленных или утраченных клейм.

Конечно, Е. М. не опубликовал своего корпуса клейм, но это не может умалить значение его многолетнего подвижнического труда.

---

[54] *В. Ю. Зуев.* Судьба эрмитажника: Г. И. Боровка (1894–1941) // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского: Тезисы докладов. СПб. 1996, 29.

[55] Подробнее об этом см.: *Г. М. Бонгард-Левин.* М. И. Ростовцев и Э. Х. Миннз: От Скифии до Китая и Японии // Скифский роман. М. 1997, 316–317.

[56] Дело о приобретении от Е. М. Придика его картотеки по эпиграфике юга СССР (Начато 14. 04. 1934 г. – кончено 29. 05.1936 г.) // РА ИИМК, ф. 2, оп. 1 (1934). д. 107 л. 1–4.

[57] РА ИИМК, ф. 33, дело фонда.

Список печатных работ Е. М. Придика

1. De Alexandri Magni epistularum commercio: Dissertatio inaugurialis ad magistri honores ab amplissimpo historicorum et philologorum ordine Dorpatensi rite impetrandos. Юрьев 1893.
2. Надписи из Фессалии // Известия Русского археологического института в Константинополе 1 (1895), 79–137. Отд. изд.: Одесса 1896.
3. Amphorenhenkel aus Athen // Mitteilungen des Kaiserlichen Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 21 (1896), 127 f.
4. Neue Amphorenhenkel aus Athen // Ibid. 22 (1897), 148.
5. Греческие заклятия и амулеты из южной России // ЖМНП (1899, декабрь), отдел классической филологии, 115–124.
6. Надписи из Малой Азии // ЖМНП (1900, апрель), отдел классической филологии, 18–37.
7. Гностический амулет неизвестного происхождения // Commentationes Nikitianae: Сборник статей по классической филологии в честь П. В. Никитина. СПб. 1901, 226–231.
8. Эпиграфические заметки // ЖМНП (1901, июль), отдел классической филологии, 32–39.
9. Анадольский клад золотых статеров 1895 г. // Известия Археологической комиссии 3 (1902), 58–62.
10. Римские монеты. СПб. 1902.
11. Греческие и римские монеты: Пособие для ознакомления с основными началами нумизматики. СПб. 1905.
12. Zwei bemalte Terracotenvasen der Kaiserl. Ermitage // Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. 18 (1907), 172–175.
13. Греческие надписи из коллекции В. С. Голенищева // ЖМНП (1908, январь), отдел классической филологии, 1–21.
14. Мельгуновский клад 1763 года. СПб. 1911 (Материалы по археологии России 31).
15. Два серебряных ритона из коллекции Имп. Эрмитажа // ΠΡΟΠΕΜΠΤΗΡΙΑ: Сб. в честь Э. Р. фон Штерна. Одесса 1912, 167–178 (Записки Одесского общества истории древностей 30). Отд. отт.: Одесса 1912.
16. Новые кавказские клады // Доклады, читанные на Лондонском Международном конгрессе историков в марте 1913 г. А. Фармаковским и Э. Р. Штерном. Пг. 1914, 94–110 (Материалы по археологии России 34).
17. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках и на черепицах Эрмитажного собрания. Пг. 1917.
18. Zu den rhodischen Amphorenstempeln // Klio 20 (1925), 303–331.
19. Eine gefälschte Kupfermünze des Kaisers Silvanus // Zeitschrift für Numismatik 36 (1926), 175–182.
20. Die Astynomennamen auf Amphoren- und Ziegelstempeln aus Süd-Rußland // Sitzungsberichte der Preußisch Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 22 (1928), 64–68.

21. Miliarense, Folis und Centenionalis: Zur Münzreform Diokletians und Konstantins des Großen // Numismatische Zeitschrift. N. F. 22 (1929), 64–68.
22. Neuerwerbungen römischer Münzen im Münzkabinette der Ermitage // Zeitschrift für Numismatik 40 (1930), 69–86.
23. Неизданный золотой медальон Константина Великого в Гос. Эрмитаже // Доклады АН СССР, серия В, № 1 (1930), 11–17.
24. Zur Münzreform des Kaisers Aurelian // Numismatik 2/3 (1933/34), 160–163.
25. Керамические надписи из раскопок Тиритаки и Мирмекия в 1932–34 гг. // Археологические памятники Боспора и Херсонеса. М.; Л. 1941, 173–193 (посмертно).

Григорий Филимонович Церетели (1870–1939)

И. Ф. Фихман

Г. Ф. ЦЕРЕТЕЛИ

Данная заметка, посвященная научной и педагогической деятельности Г. Ф. Церетели в Императорском Юрьевском университете, была написана в 1987 г. по заказу Тартуского государственного университета для готовившегося тогда издания «Преподавательский состав Тартуского университета. 1902–1918: Биографический словарь», который должен был продолжить «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802–1902). Под ред. Г. В. Левицкого» (Т. I–II. Юрьев 1902–1903). Этим объясняется ее небольшой объем, сжатый характер и отсутствие примечаний в первоначальном тексте. По понятным причинам издание не увидело света и вряд ли увидит; поэтому автор с радостью принял предложение прислать статью о пребывании Г. Ф. Церетели в Юрьеве для издающегося в столь любимом автором Санкт-Петербурге альманаха «Древний мир и мы».

К сожалению, обстоятельства не позволили написать новую статью на эту тему, поэтому текст печатается без изменений. В 1990 г., однако, автору удалось побывать в Тбилиси, ознакомиться с новыми материалами, поступившими в фонд Г. Ф. Церетели в Институте рукописей АН Грузии им. К. С. Кекелидзе (архив близкого друга Церетели К. К. Магалашвили) и побеседовать с грузинскими коллегами, интенсивно занимающимися изучением и публикацией материалов, касающихся Г. Ф. Результатом оказалась большая статья «Г. Ф. Церетели в петербургских архивах: Портрет ученого», написанная по

предложению И. П. Медведева и опубликованная в сборнике «Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге» (СПб. 1995, 226–258). Кроме того, упоминания и новые сведения о Г. Ф. Церетели имеются в некоторых других статьях этого сборника, а также в ряде материалов о М. И. Ростовцеве, которому уделяется столь большое и заслуженное внимание в русской историографии последних лет, в особенности на страницах «Вестника древней истории» (как известно, Ростовцев и Церетели учились в университете примерно в одни и те же годы, у одних и тех же учителей, и поддерживали тесные отношения – правда, не всегда безоблачные; а в 1914–1918 гг., после перевода Г. Ф. Церетели из Юрьевского университета в Санкт-Петербургский, они работали на одной кафедре и совместно вели семинар по изучению греческих папирусов). Поэтому автор решил снабдить текст примечаниями уточняющего и поясняющего характера и заменить старую краткую библиографию новой, более полной, учитывающей новейшие публикации в той мере, в какой они были доступны.*

Церетели (Zereteli, Ceretheli) Григорий (Gregor) Филимонович родился 12 (24) марта 1870 г. в Санкт-Петербурге, умер в Тбилиси (?) в 1939 г. (?).[1] Специалист по классической филологии, палеографии, папирологии, автор ряда работ и обобщающих трудов по истории греческой литературы, издатель и переводчик античных и средневековых литературных и документальных текстов, глава советской па-

* Далее – *Фихман*, с указанием страницы. – *Ред.*

[1] Точная дата и место смерти Г. Ф. Церетели не установлены. В Грузии долгое время было принято считать, что он умер в 1938 г. – однако по свидетельству А. Махарадзе, автора последнего письменного свидетельства о Г. Ф., он был жив еще весной 1939 г. Об обстоятельствах третьего (и последнего) ареста Г. Ф. Церетели, о суде над ним и о его трагической смерти см.: *Фихман*, 241–242. Сейчас, когда архивы бывшего НКВД Грузии, по-видимому, доступны, грузинские коллеги могли бы уточнить многие подробности жизни и смерти Церетели, так как там, безусловно, имеется «досье» на столь «подозрительную» личность, как Г. Ф. – бывший дворянин, неоднократно бывавший за границей и поддерживающий связь с иностранными коллегами; человек, в силу вспыльчивого характера и неосторожности не воздерживавшийся от критических замечаний в адрес «власть имущих»; трижды арестовывавшийся; и т. д. Автор данной заметки сумел изучить в Тбилиси только материалы упомянутого выше фонда Церетели; личное дело Г. Ф. несомненно имеется в архиве Тбилисского университета, материалы о нем, вероятно, – в архиве Музея Грузии, в архивах ряда деятелей грузинской науки и культуры и т. д.; см.: *Фихман*, 230–232.

пирологической школы, основоположник грузинской классической филологии.

Отец Г. Ф., Филимон Григорьевич Церетели, родился в Грузии, по окончании Петербургской Духовной Академии работал в Главном Военно-судном управлении в Санкт-Петербурге, на Кавказе, в Варшаве, уволен по болезни в 1882 г. в чине тайного советника. Мать, Анна Ивановна Лучак – дочь тайного советника И. А. Лучака.[2] Г. Ф. был вторым ребенком в семье, старшая сестра Елена Филимоновна стала впоследствии женой академика Б. А. Тураева.[3] До переезда в Грузию в 1920 г. он считал себя русским, о Грузии в переписке говорил как о «родине моего отца»; после переезда причислял себя к грузинам.[4] Исповедание православное.

Г. Ф. учился полгода в Первой Варшавской гимназии, а затем шесть лет в гимназии Санкт-Петербургского Историко-филологического института (аттестат зрелости № 514 подписан заведующим гимназией, будущим академиком В. В. Латышевым).[5] По окончании гимназии Г. Ф. поступил в 1888 г. на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности классическая филология, где «слушал курсы по греческому и латинскому языку, греческой и римской литературе, греческой и римской истории, греческим и римским древностям, философии, теории и истории искусств, сравнительному языкознанию, санскритскому языку, русскому языку и словесности, славянской филологии, истории западно-европейских литератур» у крупнейших ученых – В. К. Ернштедта, Ф. Ф. Зелинского, В. В. Латышева, П. В. Никитина, И. В. Помяловского, В. И. Ламанского, Н. П. Кондакова, С. Ф. Платонова и др. Из учителей наибольшее влияние на формирование Г. Ф. как ученого оказал академик В. К. Ернштедт, которого он очень любил и память

---

[2] О семье Церетели см.: *Фихман*, 233, прим. 28. О роли матери в жизни и воспитании Г. Ф. мало что известно. (В фонде Церетели среди небольшого числа чудом сохранившихся дореволюционных материалов имеются стихи, посвященные матери.) Большую роль в воспитании и формировании мировоззрения Г. Ф. сыграла сестра его матери Зиновия, ярая шовинистка (см.: *Фихман*, 258).

[3] Г. Ф. Церетели очень любил свою сестру («Лелю»), которая часто упоминается в его переписке, и поддерживал тесную связь с ее мужем, академиком Б. А. Тураевым («Борей»), который и приобрел в Египте для Г. Ф. Церетели его коллекцию папирусов (см.: *И. Ф. Фихман*. Введение в документальную папирологию. М. 1987, 54; *Фихман*, 230, прим. 8)

[4] Об отношении Г. Ф. к Грузии, менявшемся со временем, см.: *Фихман*, 277, прим. 6; 229, прим. 10; 233, прим. 27; 239, прим. 55; 258.

[5] Там же, 233.

о котором свято чтил.[6] Работа, написанная Г. Ф. на последнем курсе («Из истории греческой стенографии»), получила золотую медаль, а сам он был удостоен Историко-филологической испытательной комиссией диплома первой степени (диплом № 8881 от 6 октября 1893 г.).[7] В ответ на постановление Историко-филологического факультета об оставлении Г. Ф. для приготовления к профессорскому званию (одновременно были рекомендованы и будущие академик В. Н. Перетц и член-корр. АН СССР А. Е. Пресняков),[8] он оставлен в декабре 1893 г. на два года по кафедре классической филологии. В то же время его назначили преподавателем древних языков десятой Санкт-Петербургской гимназии (в 1893 г. – сверхштатным, в 1896 г. – штатным, в 1897 г. – классным наставником). В январе 1898 г. Г. Ф. был утвержден в чине коллежского асессора, в октябре того же года произведен в надворные советники.

В декабре 1898 г. он командируется за границу «с ученой целью», сперва на два года (1899–1901), а затем, после блестящей аттестации его деятельности за рубежом, данной В. К. Ернштедтом, еще на один год.[9] Г. Ф. работал в крупнейших научных центрах Европы – Берлине, Вене, Венеции, Флоренции, Риме, Неаполе, Мюнхене, Париже, Лондоне, Оксфорде, Афинах, Константинополе, на Афоне (предполагалось и посещение Мадрида), ознакомился с важнейшими коллекциями рукописей и папирусов, установил личные связи с виднейшими учеными – папирологами У. Вилькеном, Ф. Кребсом, В. Шубартом, К. Вессели, Дж. Вителли, Б. П. Гренфеллом, А. С. Хэнтом и др., с филологами-классиками Г. Дильсом, У. Виламовицем-Меллендорфом, с византинистом К. Крумбахером и т. д. В Берлине параллельно с работой в Музее над папирусами, во время которой «его редкое умение разбирать и восстанавливать пострадавшие от времени и неудобочитаемые греческие папирусы обратило на себя внимание берлинских знатоков этого дела» (В. К. Ернштедт), Г. Ф. слушал лекции, посещал семинары Г. Дильса, У. Виламовица-Меллендорфа и др.[10] Собранный им матери-

---

[6] Подробнее см.: Там же, 244.

[7] Текст диплома: Там же. 233, прим. 32.

[8] Там же, 234, прим. 33.

[9] Там же, 234.

[10] Подробнее см.: *I. F. Fichman*. G. F. Zereteli und die Berliner Papyrussamlung. // Archiv für Papyrusforschung 34 (1988), 54–59; *И. Ф. Фихман*. Становление Г. Ф. Церетели как папиролога // Мацне. Известия АН Груз. ССР, серия языка и литературы, № 3 (1988), 96–104; *I. F. Fichman*. G. F. Zereteli et l'Italie // Aegyptus 69 (1989), 179–193: *Idem*. G. F. Zereteli et l'Allemagne // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 84 (1990), 57–66.

ал лег в основу магистерской диссертации и других позднейших трудов. Вернувшись в Россию, Г. Ф. по выдержании им экзамена на степень магистра греческой словесности и прочтении двух пробных лекций был допущен в 1902 г. к чтению лекций в Санкт-Петербургском университете по кафедре классической филологии в звании приват-доцента с зачислением в состав приват-доцентов университета.[11]

9 августа 1904 г. Г. Ф. обратился к декану историко-филологического факультета Юрьевского университета с просьбой рекомендовать его работу «Сокращения в греческих рукописях, преимущественно по датированным рукописям Санкт-Петербурга и Москвы» (СПб. ²1904) в качестве диссертации на степень магистра классической филологии. Защита состоялась 25 октября 1904 г., утверждена Советом университета 12 ноября 1904 г. (диплом № 176 от 8 декабря 1904 г.),[12] а в январе 1905 г. Г. Ф. был назначен экстраординарным профессором кафедры классической филологии и греческих и римских древностей. Вступительная лекция Г. Ф. («Герод и реализм в александрийской поэзии») была издана в Юрьеве в 1906 г. В декабре 1907 г. Г. Ф. утвержден членом профессорского дисциплинарного суда, 6 июня 1909 г. произведен в коллежские советники, 2 ноября 1910 г. – в статские советники. В 1913 г. защитил на открытом заседании историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора греческой словесности свою монографию «Новые комедии Менандра», вышедшую в следующем году в Юрьеве (оппоненты: Ф. Ф. Зелинский и С. А. Жебелев, диплом № 682),[13] в связи с чем 28 июля 1914 г. назначается ординарным профессором ИЮУ – но уже с 6 октября того же года перемещается ординарным профессором Санкт-Петербургского Университета по кафедре классической филологии,[14] на чем и заканчивается юрьевский период деятельности Г. Ф.

Петроградский период, несмотря на непродолжительность, сыграл большую роль в жизни Г. Ф. и в истории советской науки. Здесь

---

[11] См.: *Фихман*, 234, прим. 37–38.

[12] Текст диплома: Там же, 235, прим. 41.

[13] Текст диплома: Там же, 236, прим. 48.

[14] Перевод оказался делом очень сложным; в его осуществлении приняли активное участие Ф. Ф. Зелинский, С. А. Жебелев, М. И. Ростовцев. Вследствие непонимания сути сделанного ему предложения Г. Ф. страшно рассердился на Ростовцева, но после получения разъяснительного письма от сестры успокоился и согласился; см. подробнее: *Фихман*, 237–238. Эпизод очень хорошо характеризует темперамент Церетели и неоднозначность его отношений с Ростовцевым (Там же, 255, прим. 142; 256, прим. 144).

(в сотрудничестве с акад. М. И. Ростовцевым) он подготовил двух выдающихся специалистов: папиролога, коптолога, византиниста, будущего чл.-корр. АН СССР П. В. Ернштедта[15] и папиролога, историка-античника, будущего профессора ЛГУ и председателя ГАИМК О. О. Крюгера,[16] а также филолога-классика, будущего доцента Тартуского университета К. Р. Вильхельмсона.[17] 1 января 1917 г. Г. Ф. пожалован орденом св. Анны 2-ой степени. По рекомендации академиков В. В. Латышева и М. И. Ростовцева Г. Ф. избран 2 декабря 1917 г. членом-корреспондентом Российской Академии наук (впоследствии АН СССР).

Осенью 1920 г. Г. Ф., по приглашению совета профессоров Тбилисского университета, переезжает в Тбилиси,[18] где работает профессором кафедры классической филологии, директором Фундаментальной библиотеки. Здесь он издает (совместно с П. В. Ернштедом и О. О. Крюгером) ныне знаменитые «Папирусы русских и грузинских собраний» в пяти томах (1925–1935 гг.),[19] труды византийского филосо-

---

[15] О взаимоотношениях Церетели с П. В. Ернштедтом см.: *И. Ф. Фихман*. Г. Ф. Церетели и П. В. Ернштедт: Из истории русско-грузинских научных связей // Византиноведческие этюды. Тбилиси 1978, 99–104; *I. F. Fichman*. Aus der papyrologischen Zusammenarbeit von G. F. Zereteli und P. V. Jernstedt // Archiv für Papyrusforschung 29 (1983), 87–92; *Фихман*, 224.

[16] О взаимоотношениях Г. Ф. Церетели с О. О. Крюгером см.: *Фихман*, 228, прим. 9. Утверждение А. И. Павловской (О роли М. И. Ростовцева в развитии папирологических исследований в России // ВДИ № 1 (1997), 181, прим. 84) о том, что Крюгер провел 18 лет в заключении, не совсем точно: он был сослан в Шортандинский район Казахстана.

[17] О нем см.: *Фихман*, 228, прим. 8.

[18] Там же, 238–239.

[19] Об этом издании см.: *И. Ф. Фихман*. Введение в документальную папирологию..., 57–59; *Фихман*, 229, прим. 10. Издание было задумано еще в Петрограде. Как сообщает А. И. Павловская (О роли М. И. Ростовцева..., 182), Ростовцев в письме к А. А. Васильеву от 22 ноября 1926 г. высказал свое недовольство тем, что ему не послали экземпляр издания и что его имя там не упомянуто: «Что особенно глупо, что первый выпуск Петроградских папирусов (Крюгер и Церетели) я знаю только понаслышке. Между тем, в свое время, все дело было начато по моей инициативе и папирусы разобраны в моем семинаре, о чем Крюгер невольно забыл или боится упоминать». Негодование Ростовцева можно понять, но при этом он допускает ряд неточностей. Упомянутый семинар Ростовцев вел не один, а вместе с Церетели; первый том целиком и полностью посвящен литературным папирусам, которыми М. И. никогда не занимался; издание названо не «Петроградские папирусы», а «Папирусы русских и грузинских собраний», и из 24 изданных папирусов только 7 принадлежат «петроградским собраниям», причем 5 из них были изданы еще в XIX – начале XX вв. (т. е. до того, как Церетели перешел в Санкт-Петербургский университет) как другими учеными, так и самим

фа Иоанна Итала,[20] публикует свои курсы греческой литературы, научные исследования (в СССР и за рубежом), переводы античных авторов. Его кипучая деятельность прерывалась трижды, первые два раза на короткий срок, в третий раз – навсегда.[21]

По характеру и складу ума Г. Ф. был прежде всего ученым, даже кабинетным ученым, поэтому почти все свое время и силы он отдавал научной работе. В Юрьев Г. Ф. приехал уже вполне сформировавшимся исследователем, автором ряда монографических работ, получивших широкое признание и в России, и за рубежом (некоторые его публикации и исследования были изданы в зарубежных журналах и сборниках). В Юрьеве основное внимание он уделял восстановлению текста и реконструкции содержания комедий Менандра по недавно найденным папирусным фрагментам его произведений (что нашло окончательное выражение в его докторской диссертации), а также коллации рукописей интересующих его авторов и произведений (например, «Житие Константина» Евсевия Кесарийского, труды Агафия Миринейского, которые он собирался издавать,[22] в том числе и в содружестве с другим профессором ИЮУ, М. Н. Крашенниковым). Это предполагало работу в ряде зарубежных рукописных хранилищ, для чего Г. Ф. получал ежегодно во время каникул заграничные командировки. Благодаря им он посетил в разные годы Вену, Берлин, Бонн, Бреславль (Вроцлав), Венецию, Геную, Дрезден, Лейден, Мюнхен, Прагу, Рим и др., что позволило ему расширить круг научных связей, познакомиться с К. Де Боором, А. Керте, Ф. Сольмсеном и др.[23] Некоторые авторы были изданы уже после отъезда из Юрьева (например, Иоанн Итал),[24] другие вообще не были изданы, в известной мере по вине медлительного М. Н. Крашенникова.[25]

Г. Ф. В крайнем случае упрек можно было адресовать Церетели, как издателю серии и подавляющего большинства папирусов первого тома, но не О. О. Крюгеру, участие которого было незначительно (в отличие от второго тома, полностью подготовленного им). М. И. Ростовцев – активный противник большевистской власти, хорошо информированный о положении ученых в СССР, прекрасно понимал, почему его имя осталось неназванным («боится упоминать!») Наконец, Ростовцев сам не очень объективно относился к советской историографии, хотя ему это ничем не грозило.

[20] См.: *Фихман*, 249–250.

[21] Об арестах Г. Ф. Церетели см.: *I. F. Fichman.* G. F. Zereteli et l'Allemagne…, 65, Anm. 59; *Фихман*, 238, прим. 55; 240–242.

[22] Подробнее о работе над Агафием см.: *Фихман*, 248–249.

[23] См. подробнее работы, отмеченные выше в прим. 10.

[24] См. выше прим. 20.

[25] Об отношении Г. Ф. к М. Н. Крашенинникову см. подробнее: *Фихман*, 236; 243. В 1987 г., работая над архивными материалами Г. Ф. Церетели в Тарту, автор обнару-

Согласно «Обозрению лекций в Императорском Юрьевском Университете», начиная со второго семестра 1905 г. и по 1914 г. Г. Ф. читал лекции по истории греческой литературы (трагедии, комедии, лирической поэзии), папирологии, палеографии (на материале папирусов и пергаменных рукописей), вел занятия по отдельным произведениям античных авторов и по переводу с русского на греческий. На II семинар 1912 г. лекции не были объявлены в связи с заграничной командировкой для оформления диссертации (Г. Ф. был в Швейцарии, где находилась на излечении болевшая туберкулезом его жена). Тематика занятий, как правило, не повторялась. Отдельные семинары были посвящены александрийской поэзии («Избранные произведения поэтов александрий-

жил в протоколах заседаний Совета Юрьевского университета от 3 ноября 1910 г. сообщение декана факультета (им был тогда Крашенинников) о предстоящей публикации в Ученых записках Юрьевского университета издания «*Petri Alexandrini* Chronographia brevis / Nunc primum ediderunt M. Kraschеninnikov et Gr. Zereteli»; см.: *Фихман*, 236, прим. 47 (слова «в 3 университетах» – по-видимому, неправильная расшифровка сокращения «У. З.» в посланной автором рукописи). Поскольку хроника не была издана, автор данной заметки решил, что виной этому была медлительность М. Н. Крашенинникова и что после отъезда Церетели из Юрьева, отношения между ними прервались (в дальнейшей переписке Г. Ф. имя Крашенинникова уже не упоминается). Но, как выяснилось недавно, это не совсем точно. Как пишет Л. А. Герд (Фотоархив В. Н. Бенешевича // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб. 1995, 387), «в папке с материалами для работы над хроникой Петра Александрийца (Ф. 192. Оп. 1. Д. 23) хранятся два письма, проливающие свет на судьбу фотографий для этого неосуществленного издания. Первое из них, адресованное Бенешевичу – это открытка от Г. Церетели (19. IX. 1934 г.). В ней говорится: „Судьба нашей работы по изданию хроники Петра очень плачевна: вся наша рукопись, совсем готовая и бывшая у М. Ник. <...> погибла <...> Никаких снимков, никаких черновиков! Все было у М. Ник., и все разделило с ним его печальную участь" (Л. 140) [Михаил Николаевич Крашенинников был репрессирован и погиб в 1929 г. (?) – *И. Ф*]. Об этом же говорит Бенешевич в черновике немецкого письма. В 1916 г., пишет он, была начата работа над византийским текстом проф. Крашенинниковым вместе с Церетели и самим Бенешевичем [В. Н. Бенешевич, вероятно, ошибается. Как видно из упомянутой выше записи протоколов заседаний Совета Юрьевского университета, издание было подготовлено или почти подготовлено к печати еще в 1910 г.: по-видимому в 1916 г. Крашенинников и Церетели решили привлечь к изданию Бенешевича как выдающегося византиниста. – *И. Ф*]. С весны 1928 г. последний [т. е. В. Н. Бенешевич. – *И. Ф.*] не получал от Крашенинникова никаких известий. Есть мнение, продолжает Бенешевич, что все фотографии и предварительная работа более не существуют (Там же, Л. 133). На обложке тетради с переписанным от руки текстом хроники Бенешевич наклеил две квитанции о посылке материалов 18. XI. 1926 г. в Воронеж М. Н. Крашенинникову (Там же, Л. 1). [Во время первой мировой войны Юрьевский университет был переведен в Воронеж, и на его основе был создан Воронежский университет, где и остался работать Крашенинников. – *И. Ф.*]» Такова печальная судьба хроники Петра Александрийского: все ученые, готовившие ее издание, погибли, став жертвами кровавого террора!

ского периода»), Аристотелю («Афинская полития»), Аристофану («Богатство», «Облака»), Арриану («Анабасис Александра»), Вакхилиду («Оды»), Героду («Мимиамбы»), Еврипиду («Вакханки», «Ифигения в Тавриде»), Ксенофонту («Hellenica», «Симпосий»), Лисию («Избранные речи»), Лукиану («Разговоры мертвых», «Разговоры богов», «Сон», «Харон»), Менандру («Новонайденные комедии Менандра», «Герой», «Самиянка», «Третейский суд»), Платону («Апология Сократа», «Симпосий»), Плутарху («Биография Фемистокла»), Феокриту («Идиллии»), Фукидиду, Эсхилу («Агамемнон»). Из римской литературы представлен только Теренций («Andria»). Нет сведений о качестве и популярности лекций Г. Ф. Судя по высказываниям в переписке, он не любил поверхностных лекций, даже при мастерском изложении материала и внешней эффектности. В лекторе он ценил широту и глубину знаний, точность изложения и убедительность аргументации. К лекциям Г. Ф. готовился очень серьезно, тщательно прорабатывал материал и литературу. Он обладал несомненным литературным даром (делал стихотворные переводы, писал стихи), прекрасно владел русским языком, так что, вероятно, его лекции отличались глубиной содержания и яркостью изложения. Студенты, в особенности неспециалисты, не удовлетворяли его ни уровнем подготовки, ни усердием, что не могло не вызвать раздражение фанатично влюбленного в науку и трудолюбивого профессора.

Целиком поглощенный наукой, Г. Ф. вряд ли принимал активное участие в общественно-политической жизни – тем более, что и Юрьев, и университетское окружение вызывали у него отношение резко отрицательное, постоянно проявлявшееся в переписке с С. А. Жебелевым.[26] Г. Ф. не придерживался передовых взглядов: в письмах молодых лет он причислял себя к «национальной» партии (в смысле умонастроения), позволял себе шовинистические высказывания и резкие выпады в адрес ряда народов, как живущих на территории Российской империи, так и вне ее (например, немцев, австрийцев, англичан, евреев, исключение – итальянцы)[27] но в то же время никогда не признавался в верноподданнических и монархических симпатиях. Г. Ф. живо волновали судьбы России (часто представлявшиеся ему в мрачном виде), однако даже в 1905–1907 гг. он не включался в активную политическую деятельность, не одобряя, по видимому, ни революции, ни ее жестокого подавления: «… Была сперва одна орда – революционная, а теперь

[26] См.: *Фихман*, 256, прим. 146.
[27] Подробнее см.: Там же, 256–258.

8 Зак. 3004

появилась другая – правительственная, причем последняя ни в чем не уступает первой!» (письмо к С. А. Жебелеву от 24 января 1906 г. по поводу обысков в университете).

Г. Ф. был человеком очень сложным. Темпераментный, вспыльчивый, всегда недовольный, в том числе и собой (ретроспективно то, что некогда вызывало раздражение, казалось ему хорошим), самоуверенный и самолюбивый, привыкший высказываться прямо, без обиняков (даже в письмах к любимому учителю В. К. Ернштедту), он, вероятно, сам был многим неприятен, – однако недостатки характера и социальной позиции компенсировались научными достоинствами. Г. Ф. беззаветно любил науку, был ей фанатически предан, ради нее не щадил ни сил, ни здоровья. Прекрасная научная подготовка, острый ум, большое трудолюбие и удивительная работоспособность (при плохом здоровье и зрении) позволили ему внести большой вклад в науку.[28] Его труды сохранили свое значение по сей день, имя его широко известно в ученом мире. По постановлению правительства Грузии для студентов отдела классической филологии филологического факультета Тбилисского университета установлена стипендия им. Г. Ф. Церетели. В Грузии создана комиссия по изданию его трудов, первые тома уже вышли из печати.[29]

Списки трудов: *С. Г. Каухчишвили.* Григорий Филимонович Церетели. Тбилиси 1969, 17–20 (с неполным библиографическим описанием и некоторыми неточностями); *И. Ф. Фихман.* Введение в документальную папирологию. М. 1987, 277–278; 482 (папирологические работы).

Литература: *Ф. А. Петровский.* Григорий Филимонович Церетели и его переводы античных авторов // *Аполлоний Родосский.* Аргонавтика / Пер., введ. и примеч. Г. Ф. Церетели. Тбилиси 1964, 337–346; *И. Ф. Фихман.* Советская папирология и изучение социально-экономической истории греко-римского Египта в 1917–1966 гг. // ВДИ № 3 (1967), 100–102; *С. Г. Каухчишвили.* Указ. соч. (с двумя фотографиями Г. Ф. и фотографией его жены – С. И. Церетели); *I. F. Fichman.* Fünfzig Jahre Papyrologie und Erforschung des griechisch-römischen Ägyptens in die Sowjetunion // Archiv für Papyrusforschung 20 (1970), 134–136; *С. М. Джорбенадзе.* Учреждения АН СССР и Тбилисский университет: Документы и факты. Тбилиси 1974, 94–111; *И. Ф. Фихман.* Г. Ф. Церетели

[28] Там же, 250–253.

[29] См.: *Фихман*, 258. Автор не располагает конкретными сведениями о работе, ведущейся в Грузии над научным наследием и архивными материалами Г. Ф. Церетели, но ему известно, что, несмотря на не очень благоприятные условия, такая работа продолжается.

и П. В. Ернштедт: Из истории русско-грузинских научных связей // Византиноведческие этюды. Тбилиси 1978, 99–104; *I. F. Fichman.* Aus der papyrologischen Zusammenarbeit von G. F. Zereteli und P. V. Jernstedt // Archiv für Papyrusforschung 29 (1983), 87–92; *И. Ф. Фихман.* Введение в документальную папирологию…, 54–58; *I. F. Fichman.* G. F. Zereteli und die Berliner Papyrussammlung // Archiv für Papyrusforschung 34 (1988), 43–52; *И. Ф. Фихман.* Становление Г. Ф. Церетели как папиролога // Мацне. Известия АН Груз. ССР, серия языка и литературы, № 3 (1988), 96–104; *Н. Г. Канчавели.* «От правды… не отступал я никогда»: Штрихи к портрету Г. Ф. Церетели // Литературная Грузия № 7 (1988), 193–208 (сборник документов, в основном писем Г. Ф. Церетели); А. Махарадзе. Реквием // Картули фильм. 1988. № 15/16. 13 апреля (на груз. яз.); *Он же.* Судьба // Тбилиси. 1988. 16 мая (на груз. яз.); *I. F. Fichman.* G. F. Zereteli et l'Italie // Aegyptus 69 (1989), 179–193; *А. Бакрадзе.* «Только одна наука радует меня» // Литературная Грузия № 8 (1989), 205–255 (сборник писем Г. Ф. Церетели к И. А. Джавахишвили); *I. F. Fichman.* G. F. Zereteli et l'Allemagne // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 84 (1990), 57–66; *И. Ф. Фихман.* Г. Ф. Церетели в петербургских архивах: портрет ученого // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб. 1995, 226–228 (итал. перевод с восстановлением пропусков и дополнениями готовится для издания «Istituto papirologico „G. Vitelli“ (Firenze): Communicazioni»); *А. И. Павловская.* О роли М. И. Ростовцева в развитии папирологических исследований в России // ВДИ № 1 (1997), 169–184; *Я. М. Боровский.* О Григории Филимоновиче Церетели // Греко-латинский кабинет 2 (1997), 42–52; *E. G. Schmidt.* Gedenkkonferenz für Gregor Zereteli // Gnomon 70 (1998), 93–94.

Авигдор Чериковер (1894–1957)

Зви Явец

В. ЧЕРИКОВЕР – ИСТОРИК ГРЕКО-РИМСКОГО МИРА

Перевод с английского О. В. Бударагиной

Виктор (на иврите Авигдор) Чериковер является основателем школы античной истории в Иерусалимском еврейском университете, и, в конечном итоге, все преподаватели древней истории и классической филологии в Израиле (а именно в университетах Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы) – его ученики. После безвременной кончины В. Чериковера в 1957 г. его дело продолжили в Иерусалиме – Х. Виршубский, А. Фукс, М. Штерн и М. Амит, в Тель-Авиве – З. Явец и С. Перльман, в Хайфе – А. Гильбоа и Д. Голан.

В. Чериковер родился 15 сентября 1894 г. в Петербурге. Его дедушка и бабушка были родом из небольшого белорусского городка. Они исповедовали традиционный иудаизм, знали иврит и поддерживали идеи сионизма. Отец ученого, Елиазар Чериковер, будучи человеком широких взглядов, воспитывал своего единственного сына в духе просвещенного иудаизма. До шестнадцати лет Виктор получал домашнее образование под руководством отца и уже в раннем возрасте в совершенстве владел русским, ивритом и немецким. В. Чериковер любил русскую и еврейскую поэзию, и я помню, как он с легкостью цитировал на память большие отрывки из Пушкина и Лермонтова, Бялика и Черниховского. С юных лет Виктор научился тонко чувствовать музыку и искусство. Благодаря хорошей подготовке он поступил сразу в предпоследний класс одной из московских классических гимназий. За-

тем В. Чериковер стал студентом Московского университета и закончил его, специализируясь по философии. Продолжив обучение в 1918–1921 гг., В. Чериковер посвятил себя античной истории. Его кумиром в тот период был Р. Ю. Виппер. В 1921 г. Чериковер отправился в Берлин, где учился у Эдуарда Мейера и Ульриха Вилькена, а в 1925 г. защитил диссертацию. Его работа, носившая название *Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Großen bis auf die Römerzeit* и опубликованная в Лейпциге в 1927 г. (Philologus. Suppl. Bd 19, 1), по сей день считается классической.

В 1925 г. Чериковер эмигрировал в Палестину, где стал научным сотрудником Еврейского университета, а спустя год был назначен на должность преподавателя древней истории. Выдающиеся педагогические способности Чериковера не замедлили проявиться, однако профессором он стал только в 1947 г. Продвижение по службе в Еврейском университете было необычайно трудным, и лишь неоспоримый авторитет в международной ученой среде, основанный на научно значимых публикациях на одном из европейских языков, мог убедить таких светил, как Гершом Шолем, Фриц Баэр, Рихард Кебнер и Иосиф Клаузнер, рекомендовать начинающего лектора на профессорскую должность.

Однако молодой В. Чериковер не был занят исключительно собственной карьерой. Он понимал, что без достойного среднего образования недавно основанный Еврейский университет не мог рассчитывать на хороших абитуриентов. В этих целях Чериковер, не оставляя своих научных занятий, издал великолепную серию школьных учебников по истории Ближнего Востока, древней Греции и Рима, средневековой и современной Европы.

В местных научных журналах Чериковер напечатал множество работ на иврите. Нельзя не упомянуть его статью «Палестина при Птолемеях» (1933), которая была опубликована по-английски в Нью-Йорке в 1937 г.; эта работа стала вкладом в изучение Папирусов Зенона. Назовем также блистательную книгу о евреях и греках в эпоху эллинизма, написанную на иврите и увидевшую свет в 1931 г. Впоследствии – к сожалению, уже после смерти автора – она с некоторыми изменениями была переиздана по-английски под заглавием *Hellenistic Civilization and the Jews* (Philadelphia, 1959). Многочисленные публикации на иврите упрочили репутацию Чериковера в Израиле, однако мало кто из зарубежных коллег мог по достоинству оценить эти его работы. Отсюда и медленное продвижение по службе в стенах родного университета, на которое, впрочем, сам Чериковер никогда не жаловался. Его ненавязчивое дружелюбие и душевное благородство вызывали восхи-

щенное уважение со стороны студентов, коллег и научной общественности Израиля.

Несмотря на больное сердце, В. Чериковер продолжал много работать; и усилия ученого были вознаграждены, когда первый том *Corpus Papyrorum Iudaicarum* (Harvard University Press, 1957) с блестящей вступительной статьей Чериковера был восторженно принят во всем мире. К этому времени руководство Еврейского университета уже окончательно признало заслуги Чериковера, и он стал заведовать сразу двумя кафедрами: классической филологии и истории. Здесь, в Израиле, это никого не удивило, поскольку мы были знакомы с теоретическими положениями В. Чериковера еще с 1945 года, когда в Иерусалиме вышла монография «Евреи в греко-римском Египте (на материале папирусов)» (Иерусалим, 1945), – труд, затрагивавший также эпоху поздней империи и византийское время.

Прежде чем перейти к трудам Чериковера, посвященным древней истории, я хотел бы порекомендовать читателям, не владеющим ивритом, две важные статьи ученого, написанные по-английски: «Syntaxis and Laographia» (Journal of Juristic Papyrology 4 (1950), 179–207) и «The Ideology of the Letter of Aristeas» (Harvard Theological Review 51 (1958), 59–85).

В. Чериковер был, в первую очередь, здравомыслящим человеком и никогда не позволял фантазии брать верх над рассудком. Его ясный ум избегал ненужных усложнений. Наслаждением было следить за тем, как Чериковер, анализируя сложные и местами темные тексты, к концу семинарского занятия приходил к удивительно ясному и обоснованному выводу.

Несмотря на то, что большинство публикаций ученого посвящены евреям эпохи эллинизма, Чериковер был прежде всего историком Греции и Рима. Он планировал издание четырех объемистых томов, посвященных соответственно истории классической и эллинистической Греции, республиканского и императорского Рима. Перед самой кончиной Чериковер закончил две первые главы своей греческой истории, повествующие об эгейских цивилизациях, и горел желанием приступить к работе над разделом о гомеровской Греции.

Почему В. Чериковер отдал так много лет исследованию истории евреев эпоху правления Птолемеев, Селевкидов и римлян? Сам он обычно объяснял это тем, что нельзя недооценивать роли провинций, ограничиваясь исключительно изучением Рима и Афин. Однако галлы, германцы, иллирийцы или фракийцы не оставили изложения собственной истории, и нам приходится черпать сведения о них из гре-

ко-римских источников. Евреи же, напротив, написали свою историю, и об Иудее нам известно больше, чем о любой другой провинции державы Птолемеев, Селевкидов или Римской империи. Поэтому В. Чериковер решил посвятить себя еврейской истории, рассматривая ее, однако, в широком греко-римском контексте.

Хотя Чериковер учился у Э. Мейера и У. Вилькена, но, пожалуй, в большей степени он был поклонником М. И. Ростовцева – поскольку последний, хотя отнюдь не симпатизировал марксизму, постоянно подчеркивал важность социально-экономических составляющих исторического процесса, не забывая при этом и о «сложности жизни». «Ни один отдельно взятый аспект истории, – писал Ростовцев во введении к „Социально-экономической истории эллинистического мира“, – не должен рассматриваться как основополагающий и решающий». Проведенный Чериковером анализ восстания Маккавеев в 167 г. до н. э. может служить подтверждением этих взглядов. Ученый последовательно отвергает как религиозную интерпретацию, приписывающую создание независимой Иудеи Божественному промыслу, так и националистический подход, делавший акцент на отваге немногих смельчаков, которые победили превосходящего по численности противника. Не принимает В. Чериковер и точки зрения тех, кто считал Иуду Маккавея не более чем пешкой в игре римлян, утверждавших свои интересы на Ближнем Востоке.

Изучив греческое влияние в Иудее, Чериковер убедительно показывает, что сельское население и низшее духовенство оставались приверженцами традиционной религии, языка и привычек. Позиция более богатых и космополитически настроенных слоев была иной. Они говорили по-гречески, посещали соседние страны и не соблюдали строгих правил иудаизма в отношении пищи. Именно о таких людях идет речь в Первой книге Маккавеев (1:11): «Некоторые люди, не знающие закона, убеждали многих словами: „Пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия“». Для достижения своих целей они желали получить место первосвященника и были готовы добиваться его путем подкупа. Эти люди знали, что Храм был не только священным местом, но и средоточием денежных запасов евреев, вследствие чего первосвященник становился чем-то большим, нежели только религиозным вождем. Иасон пообещал «царю [Антиоху Эпифану] при свидании 360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Сверх того обещал и еще подписать 150 талантов, если предоставлено ему будет властию его… писать иерусалимлян антиохинянами [при условии, что царь сделает его первосвященником]» (*2 Макк.* 4: 7–9).

В двух увлекательных главах книги «Эллинистическая цивилизация и евреи» (с. 117–203) Чериковер поясняет, что Иасон и его последователи намеревались превратить Иерусалим в греческий полис – план, осуществление которого сделало бы сельское население Иудеи гражданами второго сорта. Неудивительно поэтому, что Маккавеи (на иврите Хасмонеи) подняли мятеж не в Иерусалиме, а в небольшом городке Модине. Это восстание было как религиозным, так и национальным. Его вождь Маттафия «собрал к ним хасидов [благочестивых людей], великую силу Израилеву – людей, верных закону» (*2 Макк.* 2: 42). Таким образом, закон Моисея стал боевым кличем народных масс, так же как греческая культура была девизом демократии (с. 197 монографии В. Чериковера). Однако ученый не разделяет точки зрения Эдуарда Мейера и Э. Бикермана, считавших сторонников эллинизации прогрессивно настроенными иудеями, и призывал не преувеличивать их увлечения греческой культурой. В. Чериковер полагает, что политические и финансовые аспекты заявляют здесь о себе гораздо громче, чем культурные. Он оспаривает ставший традиционным тезис, будто восстание явилось ответом на гонения со стороны Антиоха IV Эпифана, настаивая на прямо противоположном: гонения стали реакцией на восстание (с. 191).

Восстанием Маккавеев в равной степени руководили и политические, и религиозные мотивы, поэтому любое их разграничение кажется искусственным. В. Чериковер предпринял попытку изобразить эти события в верном масштабе, видя в них звено «в долгой цепи восстаний в странах Востока против их западных правителей» (с. 207). Пятеро сыновей Маттафии во главе с Иудой Маккавеем продолжили дело отца. Они захватили Иерусалим и в конце концов смогли установить династию, находившуюся у власти вплоть до завоевания страны Помпеем в 63 г. до н. э. Тщательно проанализировав хасмонейский период, Чериковер приходит к выводу о том, что эти борцы за свободу не были противниками эллинизации. Они носили греческие имена (напр., Гиркан или Аристобул); их придворная жизнь не отличалась от жизни эллинистических правителей Ближнего Востока; наконец, они не желали отказываться от сана первосвященника, отчуждая себя тем самым от духовных лидеров страны – фарисеев. Таким образом, их целью было построение эллинистического государства на национальной еврейской основе.

Большинство идей В. Чериковера получило широкое признание в Израиле, Европе и США, а его ученикам остается сожалеть, что главный труд ученого по истории греко-римского мира остался незавершенным.

Юрий Викторович Андреев (1937–1998)

И. Ю. Шауб

Ю. В. АНДРЕЕВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

17 февраля 1998 года на шестьдесят первом году жизни скоропостижно скончался Юрий Викторович Андреев – выдающийся ученый, прекрасный преподаватель и замечательный человек. Его неожиданная мгновенная смерть в расцвете научных дарований (больное сердце не выдержало капризов петербургской погоды) не только потрясла всех знавших его, но и горестно отозвалась в сердцах людей, которые его лично не знали, но были знакомы с его трудами. Юрий Викторович был чрезвычайно скромен, однако масштаб его личности таков, что без преувеличения можно говорить о его кончине как о невосполнимой утрате не только для отечественного антиковедения, но и для российской культуры в целом.

Биография Юрия Викторовича весьма небогата внешними событиями, но это была напряженная и насыщенная жизнь духа.

Юрий Викторович родился 3 марта 1937 г. в семье студентов-дипломников Ленинградского политехнического института. Его отец, Виктор Владимирович, в дальнейшем стал ученым-электротехником; мать, Мария Александровна, работала инженером-газовщиком. По окончании института молодая семья переехала в Пушкин, где обосновалась в комнате матери отца, Марии Эрнестовны. Ранней осенью 1941 г. Андреевы, бросив все, бежали от наступавших немецких войск в Ленинград; здесь они пережили самые страшные блокадные дни.

Будучи людьми образованными, родители во многом способствовали развитию интересов и дарований своего сына. Особенно сильное влияние оказал на него отец, который, имея техническое образование,

глубоко интересовался историей, любил живопись. Но еще большую роль в воспитании мальчика сыграла его бабушка, Мария Эрнестовна. Она являлась для внука живым носителем культурной традиции, она научила его видеть красоту царскосельских дворцов и парков, обучила началам западноевропейских языков (владея немецким, английским и французским, Мария Эрнестовна преподавала английский в Институте иностранных языков).

К своим родителям, близким, да и вообще ко всем тем, кого он любил, Юрий Викторович, несмотря на свою внешнюю мрачноватость, относился не только тепло, но подчас даже трепетно. Потерю в 1954 г. почти одновременно отца и бабушки он пережил как трагедию. Но эти две смерти еще больше сблизили его с матерью, отношения с которой без преувеличения можно назвать взаимным обожанием.

Детство Юрия Викторовича совпало с тяжелыми годами в истории страны; нелегка была и вся его дальнейшая жизнь. По характеру он был типичным интравертом, но не эгоцентриком; любя людей, он слишком часто сталкивался с равнодушием, его обостренное чувство прекрасного и зоркий глаз постоянно оскорбляло уродство, его духовную свободу очень долго сковывали идеологические рамки, его беззаветное служение науке слишком часто встречало непонимание. Все это Юрий Викторович болезненно переживал. Кроме того, его довольно рано стали одолевать серьезные недуги, с которыми он, однако, мужественно боролся.

Учился Юрий Викторович легко и с удовольствием, поскольку природа наградила его не только недюжинным умом и талантом, но и любознательностью и трудолюбием.

Окончив школу с золотой медалью, Юрий Викторович в 1954 г. поступил на отделение истории Древней Греции и Рима исторического факультета ЛГУ. Здесь он с увлечением занимался как антиковедческими дисциплинами и древними языками, так и всеобщей русской историей, очень много читал. Уже на первых курсах университета у Юрия Викторовича определился интерес к тем периодам греческой истории, которые в дальнейшем стали предметами его научных изысканий: крито-микенскому, гомеровскому и архаике.

Учителем Юрия Викторовича была К. М. Колобова, о которой он сохранял добрую память. Об отношении учителя к своему ученику свидетельствует дарственная надпись на оттиске одной ее статьи: «Уважаемому Юрию Викторовичу в надежде на критику».

Занятия проблематикой архаической Греции нашли отражение в дипломной работе Юрия Викторовича, посвященной истории архаического Коринфа: «Социально-экономический характер олигархии Бак-

хиадов». Университет Юрий Викторович так же легко, как и школу, окончил с отличием.

После почти года работы корректором в издательстве ЛГУ Юрий Викторович в 1960 г. поступает в аспирантуру на историческом факультете. За годы аспирантуры он глубоко совершенствует полученную им специальную подготовку и пишет основную часть кандидатской диссертации «Мужские союзы в дорийских городах-государствах». Однако он еще долго совершенствовал свою почти пятисотстраничную работу, прежде чем защитил ее в 1967 г.

В 1963 г. он становится ассистентом, в 1976 г. – доцентом, с 1981 г. – и. о. профессора. На протяжении ряда лет он читает общий курс по истории древней Греции для студентов истфака, ведет спецкурсы и спецсеминары, в том числе: «Источниковедение истории Греции и Рима», «Греческая эпиграфика», «Введение в изучение античности», «Минойский Крит», «Раннегреческая цивилизация», «Древняя Спарта» и др.

В 1976 г. в издательстве ЛГУ вышла в свет монография Юрия Викторовича «Раннегреческий полис», которая подводит итог его многолетним исследованиям в этой области. В ноябре 1979 г. он успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Гомеровское общество», где дается содержательный анализ и принципиально новая оценка большого периода истории Греции, прослеживаются истоки классической греческой цивилизации.

За годы работы на кафедре Древней Греции и Рима Юрий Викторович не только читал лекции, спецкурсы, вел семинары, руководил курсовыми и дипломными работами студентов, готовил аспирантов. На протяжении ряда лет он был руководителем студенческого кружка, участники которого выпускали (с ведома своего учителя) самиздатский журнал «Метродор». Как «принципиальный коллега, пользующийся заслуженным авторитетом среди преподавателей и сотрудников исторического факультета» (так говорится в официальной характеристике), Юрий Викторович в течение ряда лет являлся членом товарищеского суда университета.

В ноябре 1982 г. после долгих и мучительных раздумий Юрий Викторович перешел на работу в ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН), несмотря на то, что незадолго до ухода из ЛГУ был проведен по конкурсу на должность профессора. Если поначалу связи его с кафедрой продолжались, то постепенно они ослабели, что было для Юрия Викторовича предметом печали – он любил и кафедру, где учился и столько лет преподавал, и своих студентов.

В августе 1986 г. Юрий Викторович стал и. о. заведующего группой античной археологии ЛОИА, а затем, когда группа была преобразована в Отдел истории античной культуры, возглавил его.

Наряду с руководством подразделением Института Археологии Юрий Викторович являлся заместителем председателя специализированного ученого совета ЛОИА – ИИМК по защите диссертаций, входил в состав ученого совета при директоре Института.

За годы работы в Институте Юрий Викторович опубликовал около 50 статей, две книги: «Островные переселения Эгейского моря в эпоху бронзы» (Л., 1989) и «Поэзия мифа и проза истории» (Л., 1990), а также выступил автором целого ряда разделов и глав в коллективных трудах «Античная Греция», «История древнего мира», «История Европы» и др.

Многие годы Юрий Викторович сотрудничал с «Вестником древней истории» и как автор, и как член редколлегии. На страницах журнала он опубликовал много статей по различным вопросам античности, а в последние годы – серию работ о ранних цивилизациях Эгейского мира, о его природной среде и культурогенезе, специфике минойской цивилизации, о духовном мире микенского общества и проблемах послемикенского регресса.

Благодаря новизне подхода, глубине исследования и широте охвата материала труды Юрия Викторовича внесли неоценимый вклад в изучение цивилизаций Эгейского бассейна, различных аспектов истории культуры Эллады и наряду с педагогической деятельностью снискали ему всеобщее признание и высокий авторитет. «Юрий Викторович – один из самых уважаемых отечественных антиковедов», – отмечается в официальном приветствии к 60-летию Юрия Викторовича, опубликованном в ВДИ.

Широта научных интересов Юрия Викторовича ярко проявилась уже в его кандидатской диссертации «Мужские союзы в дорийских государствах (Спарта и Крит)»; автор формально ставил себе задачу проследить историю одного из типичных спартанских институтов – сисситий (объединений граждан-сотрапезников), которые наряду с системой спартанского воспитания составляли социальное ядро жизни спартиатов. Однако результатом исследования явилось глубокое проникновение в древнейшую историю Греции через призму одного из первобытных институтов – мужских союзов. Поскольку мужские союзы – явление универсальное, то Юрий Викторович обработал огромный этнографический материал, и тот факт, что он назвал краткой справкой свое исследование, содержащее оригинальную классификацию мужских союзов (и, кстати, до сих пор не имеющее аналогов в отечествен-

ной научной литературе), свидетельствует о характерной для него скромности и редкой научной добросовестности.

В этой замечательной, за 30 лет ничуть не устаревшей, но, к сожалению, до сих пор не опубликованной работе раскрылись и другие свойственные Юрию Викторовичу черты: блестящий исследовательский талант, стремление, не боясь трудностей, идти новыми, непроторенными путями, научная честность, выразившаяся в признании им гипотетичности многих своих выводов.

Дорийские государства и прежде всего общественный строй и культура Спарты привлекали внимание Юрия Викторовича на протяжении всего его научного пути. Благодаря трудам Юрия Викторовича история, общественный строй и культура этого самого необычного и загадочного государства Греции стали нам гораздо более понятными.

Пытливый ум ученого побуждает его постоянно обращаться к кардинальным или мало разработанным проблемам, к переломным эпохам в судьбах Эллады. К числу таких принципиально важных тем относится характер полиса как особой формы общины, его возникновение и ранние этапы развития. Этот круг вопросов Юрий Викторович осветил в своей книге «Раннегреческий полис» и в целом ряде статей.

Продолжением исследования проблематики, рассмотренной в его первой монографии, явилась докторская диссертация «Гомеровское общество. Основные тенденции социально-экономического и политического развития Греции в XI–VIII вв. до н. э.». Используя, с одной стороны, данные гомеровского эпоса, а с другой – археологический материал, Юрий Викторович сумел показать, что новый вариант бесклассового общества, возникший в Греции после падения микенской цивилизации, не был простым возвратом к тем примитивным социальным структурам средне-элладской эпохи, из которых выросли первые ахейские государства. Главной специфической особенностью гомеровского общества явилось парадоксальное соединение все еще очень сильных пережитков родового строя с режимом частной собственности. Переход от стадии сельской общины к стадии города-государства, как правило, не сопровождался сколько-нибудь серьезными органическими изменениями в структуре и характере социума. Он продолжал оставаться все тем же предклассовым варварским обществом, но теперь уже в его специфическом городском варианте. «Именно городская полисная община стала той социальной средой, в которой в кратчайший исторический срок была осуществлена коренная перестройка архаических структур варварского общества и вместе с тем подготовлена почва для скорейшего вызревания основных классов нового рабовла-

дельческого общества. Таким образом, сложившись как своеобразная модификация первобытной сельской общины и унаследовав многие ее черты и особенности, полис уже с самого момента своего возникновения становится важнейшим структурообразующим элементом греческой цивилизации, сохраняя свое значение до самого конца античной эпохи».

Основная особенность полиса, по мнению Юрия Викторовича, состоит в том, что государство, которое действует прежде всего как орудие классового господства, здесь сохраняет унаследованную от первобытнообщинного строя форму соседской общины. При этом община не вытесняется и не поглощается государством, как обычно в раннеклассовых обществах, но само государство уподобляется общине или конституируется как община. Полис – это «сублимированная форма общины».

Имя Юрия Викторовича стало широко известно в 1990 г., когда Лениздат стотысячным тиражом выпустил в свет его научно-популярную книгу «Поэзия мифа и проза истории», которая открыла серию «Культура и религия».

В этой книге, несмотря на жанр (а во многом благодаря ему), Юрию Викторовичу удалось изящно, доходчиво и увлекательно изложить свои долго вынашивавшиеся взгляды на сложные взаимоотношения мифа и истории, по-новому интерпретировать целый ряд как хорошо известных, так и малоизвестных мифов. Автор сумел продемонстрировать читателю не только поэзию мифа и прозу истории, но и прозаическую реальность, лежащую в основе мифа, а также поэзию исторического поиска, с помощью которого можно заглянуть в «самые сокровенные и загадочные глубины духовной жизни древнего человека».

Юрий Викторович наглядно показывает, как миф может стать проводником и путеводителем не в поисках руин погибших городов, но в гораздо более сложном путешествии по лабиринтам древних верований. При таком подходе сама мифология превращается в своеобразный археологический объект, в котором постепенно открываются все более древние напластования мифопоэтических образов, древних ритуалов и обычаев и даже исчезнувших культур. Но такой «инструментальный» подход к мифу возможен только тогда, когда историк ясно сознает все своеобразие этого специфического источника информации; только при этом условии возможны настоящая историческая критика или исторический анализ мифологической традиции.

Юрий Викторович заставляет читателя задуматься над тем, какая огромная дистанция отделяет подлинную историю древности от той

псевдоистории, которую с легкостью «реконструируют» древние и современные «исследователи», опираясь на мифологические «данные», но не отдавая себе ясного отчета в том, что эти свидетельства в действительности собой представляют. Так, подлинной заслугой Г. Шлимана является не подтверждение достоверности древних сказаний, но открытие неизвестных ранее науке троянской и микенской культур. Однако в сознании миллионов людей выдающийся дилетант оказался человеком, доказавшим историчность мифа. «В духовном климате рубежа столетий, насыщенном жаждой чего-то мистического, необыкновенного, эти сенсационные события в мире археологии пришлись как нельзя более кстати. К тому времени многие поклонники классической древности уже успели устать от холодной рассудочности позитивистской науки <...>, все подвергавшей сомнению. Воскрешение древних легенд и мифов во всей их вещественной реальности <...> не могло не взбудоражить умы», – объясняет этот феномен Юрий Викторович. Той же духовной атмосферой, насквозь пронизанной ожиданием каких-то сверхъестественных событий, которым суждено было изменить весь облик нашей планеты или окончательно погубить ее, обусловлена, по мысли Юрия Викторовича, популярность мифа об Атлантиде, с начала нашего века приобретшая характер атлантомании.

Несмотря на изобилие самого разного рода и уровня литературы об Атлантиде, Юрий Викторович внес свою лепту в атлантологию. Он наглядно показал, что платоновский рассказ столь же далек от подлинной истории, как описание Лилипутии и Бробдингнега в «Путешествии Гулливера» Свифта. Юрий Викторович выявил мифологический подтекст легенды об Атлантиде, усмотрев его в сказаниях об Атланте и его родичах титанах, а также в преданиях о тельхинах – демоническом племени колдунов с острова Кеос.

Подлинным шедевром научной экзегезы является интерпретация Юрием Викторовичем критского цикла мифов, особенно мифа о Дедале, которому автор посвятил и специальную научную статью. Даже если трактовка крылатой фигуры на ларнаке (глиняном саркофаге) из Армени как Дедала может показаться спорной, стройность и мощь аргументации, приведенной Юрием Викторовичем, убеждают в том, что этот «Леонардо да Винчи бронзового или железного века» (А. Ф. Лосев) в своих истоках был минойским божеством.

Обращение Юрия Викторовича к критским мифам было далеко не случайным. Сближая два столь несхожих между собой народа, как минойцы и греки, вследствие присущей им обоим удивительной способности радоваться жизни во всех ее проявлениях в соединении

с обостренной восприимчивостью к красоте окружающего мира, Юрий Викторович пишет: «Болезненно переживая его очевидное несовершенство, как греки, так и минойцы стремились по мере возможности внести в этот мир элементы гармонии и порядка и постоянно преобразовывали его, если не в действительности, то хотя бы в своем воображении. Отсюда ярко выраженная идеализирующая окрашенность их искусства, наглядно свидетельствующая о явно гипертрофированном эстетическом чувстве, в равной мере свойственном обоим народам». Все эти черты, характерные для греков, тонко подмеченные Юрием Викторовичем у минойцев, были свойственны и ему самому – недаром он так любил оба этих столь разных народа, ища и находя у них и другие черты сходства.

Минойская цивилизация была мила Юрию Викторовичу еще и тем, что, по его мнению, представляла «своеобразный прорыв из „царства необходимости в царство свободы", поскольку именно в ней – единственной из всех цивилизаций эпохи ранней древности, – впервые наметился отход от всегда почти безраздельно господствовавшего в сознании человека сугубо утилитарного, прагматического взгляда на жизнь». Однако он прекрасно понимал, что «полное торжество свободного человеческого духа, заложившего основы европейского жизнеотношения», наступило лишь в период блестящего расцвета классической греческой культуры. Минойцам же в значительной степени было свойственно то, что выдающийся швейцарский исследователь К. Шефольд удачно назвал «рафинированным примитивизмом». Элементами этого феномена были такие столь несимпатичные Юрию Викторовичу черты, как растворение личности в коллективе, атрофия исторического чувства, а также глубоко проанализированная им матриархальность минойской культуры.

Блестяще интерпретировал Юрий Викторович и недавние сенсационные открытия на Крите следов человеческих жертвоприношений и ритуального каннибализма, продемонстрировав свои недюжинные качества психолога. Эти находки позволили ему заглянуть в подсознание минойцев, увидеть «ночную сторону» их мироощущения и культуры. «Теперь стало ясно, что под покровом беззаботного, почти детского упоения жизнью в их душе таился слепой безотчетный ужас перед окружающим миром, иногда толкавший их на проявления крайней жестокости. Стал более понятен и тот странный отпечаток почти истерической взвинченности, который лежит на многих произведениях критского искусства и особенно заметен в сценах на печатях. Изображенные на них фигуры людей и животных нередко как бы вибрируют от

страшного внутреннего напряжения, совершают резкие конвульсивные движения и вытягиваются, как в эпилептическом припадке. Сцены такого рода выдают скрытый невротизм психического склада минойцев, очевидно присущую им раздвоенность, подавляющее их ощущение пограничности и крайней непрочности своего положения в мире на стыке добра и зла, жизни и смерти».

Что касается микенской цивилизации, то Юрий Викторович оценивал ее с одной стороны как ухудшенную, сильно варваризированную «копию» цивилизации минойского Крита, а с другой – как неудачный и, возможно, именно поэтому отвергнутый историей «черновик» классической греческой цивилизации. И по этой причине недолюбливал, как, кстати, и древний Рим.

Не имея возможности подробно останавливаться на всех аспектах обширного научного наследия Юрия Викторовича, нужно отметить, что последние годы он все более и более интересовался проблемами античного наследия в русской культуре, русской культурой как феноменом культуры мировой (преимущественно периодом «серебряного века»), философией истории. В самом Юрии Викторовиче были черты, столь характерные для ярчайших представителей этой эпохи русского ренессанса: мощный интеллект, артистизм натуры, широта взглядов, огромная разносторонняя эрудиция, утонченный эстетизм, трагическое восприятие бытия. (Он, однако, был чужд всякой мистики, к которой так тяготели его духовные собратья начала века.)

Знаменательно, что последний доклад, прочитанный Юрием Викторовичем за несколько дней до смерти, был посвящен одной их ключевых фигур серебряного века – Вяч. Иванову.[1] Кроме этого блестящего доклада, своей публикации ждут глубокие по мысли и изящные по форме эссе о Чаадаеве, «Медном Всаднике», Мандельштаме, Блоке, о Петербурге («Петербургские кошмары»).

Как историк и гражданин, Юрий Викторович не мог оставаться в стороне от осмысления драматических событий нашего времени. Будучи убежденным либералом западного толка, он приветствовал перемены в нашей стране, позволившие ему свободно выражать свои мысли и, кроме того, совершить заграничные путешествия (в Болгарию, Грецию, Англию). Но, любя Россию, он болезненно переживал все ее беды. «Кто бы мог подумать, что мы попадем в такие обезьяньи лапы», – горестно сказал Юрий Викторович незадолго до смерти. Одна-

[1] Печатается в настоящем выпуске альманаха (с. 282–294). – *Ред.*

ко выхода из создавшейся ситуации он не видел. Знаменательно, что статья о будущности России, где он последовательно рассмотрел и отверг как западнические, так и почвеннические перспективы развития страны, осталась незаконченной.

Большую часть своей жизни Юрий Викторович отдал преподаванию. Его лекции, всегда тщательно подготовленные и аккуратно записанные крупным нервным почерком в общие тетради, привлекали не только широтой эрудиции и свободой владения материалом, но прежде всего проблемностью. Говорил он доверительно, легко и свободно даже в большой аудитории, сдержанно жестикулируя и глядя в глаза своим слушателям; лишь изредка обращался он к своему конспекту. Его лекции никогда не были рассчитаны на внешний эффект, хотя и были красиво построены. Юрий Викторович никогда специально не увеселял аудиторию, хотя даже в том, как он говорил, часто проявлялось его тонкое, оригинальное чувство юмора. С юмором, живо и без всякого менторства проводил он и семинарские занятия. Но самым большим удовольствием было чтение с Юрием Викторовичем греческих авторов, особенно обожаемого им за величественную простоту и образную мощь Гомера, конгениального ему в едком остроумии Лукиана и столь близкого по элегическому эстетизму Лонга. Эти занятия сопровождались не только необходимыми комментариями по поводу грамматики и реалий, но и меткими замечаниями об эстетических достоинствах читаемых авторов.

Как научный руководитель Юрий Викторович никогда не был равнодушным, болел душой за своих подопечных, советовал, но не оказывал давления, слабым студентам помогал, сильным или строптивым предоставлял свободу.

Те же качества – заинтересованность, отзывчивость, деликатность, – проявлял Юрий Викторович и в должности руководителя отдела ЛОИА – ИИМК. Он никогда не приказывал. Его принцип руководства можно определить как laissez faire. Будучи предельно честным и принципиальным в науке, он снисходительно относился к человеческим недостаткам; не переносил, пожалуй, только одного – непорядочности.

Важную роль в жизни Юрия Викторовича играла художественная литература, как проза, так и поэзия (из русских авторов он особенно любил Пушкина, Тютчева, Бунина, Блока, Сологуба, Мандельштама, из зарубежных – Шекспира). Не меньшую – живопись, в которой он великолепно разбирался. Кажется, он не пропустил ни одной значительной художественной выставки, устроенной в нашем городе, прекрасно знал коллекции Эрмитажа и других музеев Петербурга

и пригородов. С несвойственным ему жаром Юрий Викторович мог не только рассказывать о замечательных живописных коллекциях Великобритании, которые он повидал, но и спорить о достоинствах того или иного понравившегося ему художника. Так, познакомившись с творчеством Э. Шиле, Юрий Викторович стал утверждать, что мощная экспрессия этого мастера художественно ценнее изысканной роскоши его прежнего венского любимца Г. Климта. Но настоящими кумирами Юрия Викторовича в области живописи были художники итальянского Возрождения, в творчестве которых наряду с исключительным техническим мастерством он ценил воскрешение духа античности. Из русских художников он особенно любил «мирискусников», выделяя среди них многогранного В. Серова и тончайшего К. Сомова.

Юрий Викторович и сам был художественно одарен: писал стихи, хорошо пел, выразительно рисовал пером.

Внешность Юрия Викторовича была столь же неординарна, как и его натура. В его облике поражало сочетание казалось бы несовместимых черт. Из-под мощного лба, венчавшего задумчиво-сосредоточенное (иногда до сумрачности) лицо, внимательно смотрели глубоко посаженные, но мягкие и лучистые глаза. Впечатление грузности от опущенных плеч и втянутой в плечи головы смягчалось плавной жестикуляцией красивых рук, кажущаяся мрачноватость – по-детски доверчивой улыбкой. Смеялся он крайне редко, но зато от души и заразительно. Юрия Викторовича трудно было вообразить спешащим или гневающимся, однако некоторая угловатость движений иногда выдавала присущую ему болезненную чувствительность. Юрия Викторовича на первый взгляд можно было принять за тяжелого человека, но ощущение тяжести исчезало, как только он начинал говорить.

Юрий Викторович обладал не только незаурядной книжной ученостью, но и знанием, каковое приобретается как наблюдением и осмыслением, так и переживанием. Будучи рационалистом, он в большинстве своих работ тем не менее сумел избежать ошибки многих ученых, считающих достоинством исследования оставление читателя равнодушным к своему предмету. Особое достоинство его трудов заключается не только в строгой логике доказательств, но и в изяществе изложения, а также в искренности тона, отражающей продуманное и прочувствованное.

Юрий Викторович глубоко осознавал парадоксальность человеческой жизни. Смерти, с которой мы не желаем и не можем смирить-

ся, мы обязаны лучшими созданиями человечества, ибо что такое творчество, как не попытка живого духа преодолеть всеразрушающую смерть? И не в том ли щемящая притягательность прошлого, что оно умерло? Эту болезненную сладость того, что было, эту сладостную боль того, чего уже не будет, остро ощущал Юрий Викторович, – и тем острее, что не верил в воскресение. Хочется надеяться, что это было самым большим заблуждением его многотрудной, но светлой жизни, отданной служению науке, служению людям.

А. И. Зайцев

Ю. В. АНДРЕЕВ: НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Юрий Викторович Андреев принадлежал к счастливому типу историков, у которых вырисовывающиеся в результате их исследований картины прошлого оказываются связанными какой-то формой внутреннего единства. В центре его научных занятий была ранняя Греция – от микенского Крита до архаической эпохи, – и ее историческое развитие представало перед нами как закономерный, едва ли не необходимый процесс. Глаз Юрия Викторовича останавливается прежде всего на том, что нам сейчас, через две, а то и три тысячи лет, кажется необычным, странным и малопонятным. Поступив в аспирантуру, Ю. В. Андреев избирает темой своей первой большой работы и кандидатской диссертации мужские союзы Спарты и Крита, знаменитые сисситии – основную ячейку общественного устройства этих государств, вызывавшую интерес и удивление уже у древних греков, а затем римлян.

С. Я. Лурье перед второй мировой войной с отвращением наблюдал, как тоталитарные режимы XX века в неизмеримо многообразном эллинском наследии находят нечто родственное себе в антиинтеллектуализме, военной муштре и искусственной бедности зрелой Спарты: он писал о фашистской идеализации древней Спарты, прозрачно намекая в то же время на аналогичные черты в варварской политике коммунистических правителей России. Ю. В. Андреев отнюдь не идеали-

зировал Спарту и в 1991 году прямо писал о ее тоталитаризме (Спартанский эксперимент: «община равных» или тоталитарное государство // Античность и современность. М. 1991, 12–16), но ему хотелось прежде всего не осудить и заклеймить, а понять, и он обращается для этого прежде всего к доисторической древности.

В первой главе своей диссертации Ю. В. Андреев подробно останавливается на установлениях многих дописьменных народов, сходство которых с формами жизни спартанцев давно замечено и этнографами, и исследователями античности. Речь идет о так называемых «мужских союзах», или «тайных союзах», члены которых живут отдельно от женщин и детей в так называемых мужских домах, владеют коллективной собственностью, совершают свои, отдельные от прочих членов племени религиозные церемонии и сосредоточивают в своих руках власть и военную силу. Параллель со Спартой и Критом здесь очевидна, но встает вопрос о том, как возникло это сходство, и здесь мнения исследователей расходятся. Одни считают его типологическим и полагают, что некоторые дорийские племена в условиях непрерывных изнурительных войн выработали формы общественного устройства, аналогичные племенам Африки, Америки и Океании, – формы, укрепившие на какое-то время их военную мощь и позволившие им выжить. Другие исследователи убеждены в том, что предки древних греков, праиндоевропейцы, имели такие же мужские союзы, какие этнографы находят у дописьменных народов; спартанцы и критяне в своих особых условиях сохранили, а затем и развили дальше это установление, в то время как подавляющее большинство греческих племен утратили эти традиции и создали полисную организацию, типичную для древней Греции.

Ю. В. Андреев со всей решительностью принимает точку зрения об унаследованности дорийских союзов из первобытной эпохи и энергичнейшим образом отстаивает ее прежде всего во второй главе кандидатской диссертации («Мужские союзы в поэмах Гомера»). Ведь Греция микенская, Греция так называемых «темных веков», и Греция начала архаической эпохи, т. е. VIII–VII вв. до Р. Х. – это этапы, которые ведут от первобытной эпохи ко времени, когда в источниках предстают перед нами сисситии спартанцев. Если они восходят к праиндоевропейским мужским союзам, то традиция не должна была прерываться в течение всех этих эпох, а мы должны обнаружить эти союзы там, где только позволит состояние источников. К сожалению, ни данные археологии, ни данные табличек микенской хозяйственной отчетности не позволяют проверить правильность этой гипотезы для микенской

Греции. Однако для «темных веков» и начала архаического периода в нашем распоряжении имеются гомеровские поэмы. Правда, в силу особенностей поэтики героического эпоса они не представляют почти ничего для реконструкции конкретных исторических событий, но при критическом отношении дают драгоценный материал для суждения об общественном устройстве, обычаях, нравах того общества, в котором они сложились. Именно для этого обращается к гомеровским поэмам Ю. В. Андреев. Анализируя многочисленные и подробные описания пиршеств у Гомера, он подчеркивает институционализированный характер этих пиршеств и видит в них промежуточное звено между трапезами в «мужских домах» и спартанскими и критскими сисситиями. Сами царские дворцы у Гомера сохраняют черты таких «мужских домов». Ἑταῖροι гомеровских поэм (это многозначное слово трудно перевести иначе, как «товарищи») оказываются трансформировавшимся в условиях рождающейся государственности пережитком тех же мужских союзов.

Однако, обосновав таким образом свой взгляд на происхождение сисситий Спарты и Крита, Ю. В. Андреев не счел свою задачу завершенной, как это часто делают исследователи, ищущие корни разнообразных явлений нашей культуры в седой древности. Юрий Викторович основную часть весьма пространной диссертации посвящает непосредственно Спарте и Криту, показывая, как оформились под влиянием специфических условий возводимые им к первобытной эпохе социальные институты, чем объясняются различия между Спартой и Критом. Центром тяжести диссертации, начинающейся с этнографических параллелей, остается конкретное историческое исследование.

Интерес Ю. В. Андреева к стержневым принципиальным проблемам был отчетливо виден в этой его первой большой работе; поэтому представляется естественным, что его следующая большая работа охватила географически весь греческий мир и оказалась посвященной всему комплексу вопросов, связанных с формированием древнегреческого полиса. Плодом трудов в этой области явились ряд статей, монография «Раннегреческий полис: Гомеровский период» (Л. 1976, изд. ЛГУ) и докторская диссертация, которую Ю. В. Андреев защитил в 1979 г.; автореферат последней дополняет и уточняет содержание монографии.

У греков государственность складывалась дважды: в первый раз в виде микенских монархий, не отличавшихся принципиально от современных им государств Ближнего Востока и погибших в катастрофе, которая постигла восточное Средиземноморье на рубеже XIII

и XII вв. до Р. Х; во второй раз, в IX–VIII вв., возникает уникальное социально-политическое образование – полис, породивший в конечном счете цивилизацию Западного мира.

Каковы же были исторические предпосылки этого уникального исторического развития? Ю. В. Андреев видит их как раз в том, что в IX–VIII вв. греки переходят от догосударственных к государственным формам жизни во второй раз. Родовая община, превратившаяся на Ближнем Востоке в одну из опор деспотических монархий, в Греции оказалась сильно ослабленной сначала в результате ее подчинения правителям микенских государств, а затем в ходе распада этих государств и постигшего греческий мир общего упадка. В основную ячейку общества превратилась хозяйственно самостоятельная семья, в которой сложились традиции, приведшие к формированию полиса – самоуправляющейся общины поселившихся за городской стеной земледельцев-землевладельцев.

Эволюционировали при этом и доминирующие типы поселения. Уже в эпоху средней бронзы сложился тип укрепленного общинного поселка, который можно называть протополисом, сосуществовавшим с дворцами микенской эпохи и пережившим «темные века» после разрушения этих дворцов. Но уже в «Одиссее» при изображении фантастического города феаков Гомер показывает нам, что ему известен также и тип застройки, характерный для типично складывавшегося как раз в эту эпоху полиса – застройки, центром которой является агора как средоточие общественной жизни поселения. Мелкие общины со своими царьками-басилеями сливались воедино, что и порождало предстающую перед нами у Гомера и Гесиода парадоксальную картину – наличие многих «царей» в одном еще только складывающемся полисе.

Однако разработка проблем истории гомеровской Греции потребовала от Ю. В. Андреева не только эрудиции и дара научного анализа и синтеза, но и незаурядного гражданского мужества. Американский этнолог Л. Г. Морган, живший долгое время в индейском племени ирокезов, проникся симпатией к их формам жизни, воспринял их как типичные для народа, находящегося накануне образования государства, и стал искать нечто аналогичное у гомеровских греков, древнейших римлян и германцев времен великого переселения народов. В итоге он постулировал фантом – стадию «военной демократии», т. е. период свободы, равенства и народоправства перед началом государственного быта едва ли не у всех народов.

Фантом этот был подхвачен Фридрихом Энгельсом, для которого «военная демократия», как и «первобытный коммунизм» на заре исто-

рии человечества, оказались находкой – в качестве дополнительного довода в пользу возможности построения идеального коммунистического общества в будущем. Положения Энгельса, изложенные в его «Происхождении семьи, частной собственности и государства», наши историки в течение долгого времени вынуждены были принимать как непреложную истину, несмотря на их явное противоречие фактам. В действительности эпоха перехода к государству была едва ли не самой мрачной в истории человечества: произвол сильных, нищета слабых и широко распространенные человеческие жертвоприношения – вот ее характерные черты.

Этнографы, которые в послесталинский период пытались если не полностью отвергнуть фикцию «военной демократии», то хотя бы отрицать ее обязательность при всяком переходе к так называемому «классовому обществу», подвергались нападкам охранителей. Юрий Викторович имел полную возможность развить свою концепцию гомеровского общества, либо просто уклонившись от разговора о «военной демократии», либо упомянув ее в качестве громоотвода вне связи с существом своей аргументации. Вместо этого Ю. В. Андреев в пятой главе своей монографии и в шестой главе диссертации подверг схему «военной демократии» развернутой критике. «Формальное народовластие при фактическом господстве верхушки родовой знати – вот, пожалуй, наиболее точное определение существа той системы политических отношений, которую изображает Гомер в своих поэмах», – таков вывод Ю. В. Андреева (Раннегреческий полис..., с. 101). Ю. В. Андреев смело выходит и за пределы античной истории. Государственность складывалась особенно медленно в Исландии X–XII вв., т. е. в первые века после ее заселения. Анализируя исландские саги и опираясь на работы специалистов, он приходит к однозначному выводу: и там господствовало «право сильного». За Юрием Владимировичем навсегда останется заслуга бунта против одного из обветшавших марксистских догматов в эпоху переходившего в маразм застоя. К сожалению, ставшие традиционными заблуждения обладают удивительным запасом прочности: о «военной демократии» в древней Греции бездумно говорят у нас иногда до сего дня даже серьезные историки.

Переход на службу в Институт археологии Академии наук не заставил Юрия Викторовича отказаться от того направления исследовательской деятельности, которое диктовалось ему его внутренними склонностями. Ю. В. Андреев не стал заниматься Северным Причерноморьем – основным полем работы сектора, который он

возглавил. Его интерес к истокам греческой и всей европейской культуры нашел свое последовательное выражение именно в эти годы в перемещении центра его занятий на микенскую Грецию и минойский Крит.

Известный «крен» в сторону археологии имеется, пожалуй, только в его монографии «Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы» (Л. 1989). Однако Юрий Викторович и раньше не боялся археологического материала и не пренебрегал им; этот материал занимал важное место уже в аргументации книги «Раннегреческий полис». В новой книге почти нет ссылок на письменные источники, так как их нет в нашем распоряжении для ранней и средней бронзы, а таблички линейного письма B не отвечают на вопросы, которые исследуются в монографии. Ю. В. Андреев, занимавшийся в предыдущей монографии становлением раннегреческого полиса, углубляется теперь в его предисторию, и ограничение территориальных рамок исследования кикладскими островами и Критом не имеет принципиального значения. Помимо подробного исследования протополиса / протогорода, о котором он писал уже прежде, Ю. В. Андреев идет еще дальше в глубину веков вплоть до начала процесса урбанизации в Эгеиде в раннебронзовую эпоху, т. е. в III тысячелетии до Р. Х. Здесь предстают перед нами, с одной стороны, острова, где имелись, как в неолитическую эпоху, только поселения типа деревни – укрепленные, как Кастри на о. Сиросе, или неукрепленные, как Панорм на о. Наксосе, а с другой стороны – острова, где появляются так называемые квазигорода с компактной застройкой и элементами правильной планировки: таков был, в частности, о. Лемнос со знаменитым поселением Полиохни (совсем недалеко от Трои). Подробно исследуются в книге и появляющиеся на Крите вместе с началом средней бронзы (около 2000 г.) дворцы – разрушающиеся и вновь отстраиваемые.

Однако одновременно со скрупулезным анализом археологического материала, который нужно было привести в поддающуюся осмыслению систему, Ю. В. Андреев плодотворно занимается и проблемами, имеющими более непосредственное отношение к духовной культуре. Результатом этих размышлений и исследований является популярная по форме книга «Поэзия мифа и проза истории», вышедшая в Лениздате в 1990 г. Книга посвящена мифам Древней Греции и тому, какое зерно подлинной истории можно из них извлечь. Книга эта в сущности полемическая, и направлена она против все более распространяющейся не только среди дилетантов, но и среди профессиональных историков и филологов тенденции к некритическому восприятию ми-

фа и легенды в качестве достоверного рассказа о событиях древности. Ю. В. Андреев показывает, что мифы о Миносе и Минотавре, о дани юношами и девушками, которую Минос требовал с Афин, о его экспедиции в Сицилии и еще ряд других не говорят нам ничего достоверного о самом минойском царе, но в сочетании с археологическими находками рассказывают о процветающей экономике Крита, о морской торговле и колониях на островах, о развитии форм жизни, потребовавших правового регулирования. Что же касается мифов о Дедале как скульпторе, архитекторе и изобретателе, овладевшем искусством полета, то в них Ю. В. Андреев видит отражение древнейших, видимо еще догреческих верований: образ Дедала, по его мнению, есть результат трансформации образа божества, сходного по природе с позднейшим олимпийцем Гермесом. (Подробнее об этом см. в его статье «Минойский Дедал» – ВДИ № 3 (1989), 29–46). Миф о Троянской войне остается для Ю. В. Андреева мифом, а содержание гомеровских поэм – характерным для фольклорного эпоса поэтическим вымыслом, хотя какие-то реальные детали из истории разрушения поселения на горе Гиссарлык, раскопанного Шлиманом и Блегеном, могли внедриться в поэтическую традицию. (См. также статьи Ю. В. Андреева в вышедшем в 1998 г., уже после его смерти, эрмитажном сборнике «Шлиман. Петербург. Троя».) Наивными считает Ю. В. Андреев и попытки установить подлинный маршрут сказочных плаваний Одиссея и аргонавтов, отождествить взорвавшийся в середине II тысячелетия вместе с вулканом остров Феру-Санторин с Атлантидой Платона – средоточием фантастических богатств, военной мощи и, может быть, даже древних таинственных знаний.

В 90-е годы интенсивность и размах работы Ю. В. Андреева не ослабевают, а продолжают нарастать вплоть до его внезапной кончины. Совершенно невозможно представить сколько-нибудь систематический обзор сделанного им: в статье «Минойский матриархат» (ВДИ № 2 (1992), 3–14) Ю. В. Андреев обосновывает оригинальную гипотезу о роли тамошних женщин, с их консервативным мышлением и приверженностью к хтоническим культам, как своеобразного тормоза в момент необычно быстрого и болезненного перехода минойцев от общинно-родового быта к государственности.

В статье «Минойская тавромахия в контексте Критского цикла мифов» (ΜΟΥΣΕΙΟΝ. СПб. 1997, 17–30) Ю. В. Андреев реконструирует своеобразную структуру минойского пантеона: божественный бык – супруг великой богини «Владычицы зверей» – который мог почитаться и в антропоморфном облике прекрасного юноши.

Статья «Минойский Крит и микенский мир во II тысячелетии до н. э.» (ВДИ № 1 (1995), 100–114) посвящена загадочному факту выхода Крита на рубеже древне- и среднеэлладской эпохи из общего русла развития и становления минойской культуры, сразу опередившей все племена Эгеиды. Тема развивается далее в статье «Между Евразией и Европой: К вопросу об исторической специфике минойской цивилизации» (ВДИ № 2 (1995), 94–112), где подчеркиваются европейские корни культуры древнего Крита.

Статья «В ожидании „греческого чуда“: Духовный мир микенского общества» (ВДИ № 4 (1993), 14–33) взвешивает сходство и различие минойской и микенской цивилизаций и подчеркивает особенности последней – те роднящие ее с первобытной эпохой черты, которые удаляли ее от будущей цивилизации полиса и в то же время делали возможным переход к ней в отдаленной перспективе. Переходу этому посвящена статья «Эгейский мир: природная среда и ритмы культурогенеза» (ВДИ № 3 (1994), 102–113): необычайно благоприятное географическое положение Эгеиды, поразительное единство среды в ее многообразии греки смогли использовать только на исходе так называемых «темных веков», сотворив «греческое чудо», об ожидании которого Ю. В. Андреев говорил в статье 1993 г.

Однако, как мы уже сказали, Ю. В. Андреев не замыкался в проблематике Греции древнейшей эпохи: из работ, посвященных позднейшему периоду, назовем только проблемную статью «Греки и варвары в Северном Причерноморье: Основные методологические и теоретические проблемы межэтнических контактов» (ВДИ № 1 (1996), 3–17).

Необычное, даже больше того, загадочное в наследии древней Эллады продолжало привлекать Ю. В. Андреева и в последние годы его жизни. Назначение так называемых «кикладских идолов» раннебронзовой эпохи – основной вопрос, который он ставит в работе «Человек и божество в кикладском искусстве эпохи ранней бронзы», вышедшей в качестве первой главы сборника «Человек и общество в античном мире» (М. 1998). Эти небольшие женские изображения клали в могилу усопшего, и Ю. В. Андреев ищет доводы в пользу того, что эти статуэтки должны были выполнять за гробом функции матери, а возможно, и жены покойного, и обеспечить его бессмертие. Это смелая идея, хотя у нас есть данные в пользу того, что счастливую жизнь за гробом стремились обеспечить своим покойникам жители Крита. Смелая и неожиданная, если вспомнить, что греки, сменившие в Эгеиде минойцев и кикладцев, не ждали для себя на том свете ничего хорошего. Надо вообще сказать, что Юрий Викторович неохотно принимал объясне-

ние тех или иных явлений лежащими на поверхности и в известной степени внешними факторами. Когда автор этих строк высказал мысль о том, что свобода спартанских женщин и накопление ими богатств могли быть связаны с необходимостью самостоятельно вести хозяйство и держать в руках илотов, Юрий Викторович с порога отверг это показавшееся ему, видимо, механическим объяснение.

Юрий Викторович был романтиком в своих научных поисках, но эрудиция, школа и здравый смысл всегда удерживали его по эту сторону границы, которая отделяет смелую гипотезу от неправдоподобной или фантастической.

И все же «прадионисийство» Вячеслава Иванова, о котором он прочел за несколько дней до кончины свой последний доклад, оказалось для него не только интересным, но и в чем-то близким.

Как видно из заметок в записной книжке, Юрий Викторович планировал в ближайшие годы посвятить свои научные занятия в первую очередь русской культуре, в особенности так называемого «серебряного века». Эти планы, видимо, отвечали духовному климату наших дней: ведь не случайно сходную эволюцию научных интересов уже проделали двое наших самых ярких исследователей античности, С. С. Аверинцев и М. Л. Гаспаров. У Юрия Викторовича из работ в этой области пока опубликована, кроме вышеупомянутой статьи о Вяч. Иванове, только еще работа «„Римский большевик“ Катилина и философия истории А. Блока» (Памятники старины: Концепции. Открытия. Версии. Сборник памяти В. Д. Белецкого. Т. III. СПб.; Псков 1997).

Между тем в издательстве «Алетейя» после смерти Юрия Викторовича вышла монография, подводящая в известной мере итог его антиковедческим штудиям. Она требует «отдельного» разговора и заслуживает его.

АНТИЧНОСТЬ
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



МОНСТРЫ РУССКОЙ ХРОНОГРАФИИ

Публикация, предисловие и примечания
Е. Г. Водолазкина

Предлагаемый ниже текст публикуется по рукописи Библиотеки РАН (Архангельское собрание. С. 139. Л. 28 об. – 30). Это фрагмент Русского хронографа редакции 1617 года. Напомню, что по принятой в России терминологии хронографами называются сочинения, созданные на Руси и посвященные всемирной истории (в отличие от летописей, отразивших историю национальную). Приводимый фрагмент посвящен описанию разнообразных монстров, населяющих землю. Следует отметить, что сведения о различных чудесах, бывших в истории человечества, хронографы собирали весьма охотно.

Разумеется, сочинения о русской истории описывают также немалое количество чудесных случаев, но явное превосходство по этой части хронографов бесспорно, и это вполне объяснимо: история давняя, почти эпическая, мирилась с такого рода описаниями гораздо легче, чем относительно близкая, здешняя. Указанная редакция Русского хронографа представляет позднюю русскую хронографию, особенность которой состояла, среди прочего, в поиске новых источников помимо традиционных. Тяжелое и не всегда вразумительное повествование Хроники Георгия Амартола, лежавшей (наряду с несколькими другими хрониками) в основе русской хронографии, в XVII в. уже казалось архаичным. Фрагменты Хроники в русских хронографах уступили место более «свежим» данным. Одним из важнейших для поздней хронографии источников стал русский перевод польской Хроники

Мартина Бельского. Это было частным проявлением переориентации русской культуры от Византии к Западной Европе, связующим звеном с которой была у нас в то время Польша.

Большинство рассказов о «всякого чудного родства» людях заимствовано из Хроники Мартина Бельского (Kronika to jest historya swiata. Krakow 1564). Подобного рода сообщения имели богатую традицию, которую не обошел своим вниманием даже такой просвещенный для своего времени автор, как блаженный Августин, хотя и отнесся он к ней достаточно сдержанно. Оценка таких сообщений была неоднозначной и в дохристианские времена. Так, Страбон писал, что «Деимах и Мегасфен в особенности не заслуживают доверия. Ведь они рассказывают нам о людях, которые сидят на своих ушах, о безротых, безносых, об одноглазых и длинноногих, и о людях с повернутыми назад пальцами; они возобновили гомеровскую басню о войне жу-

---

О размѣшении языкъ и прочее. Глава 11

По столпотворении убо и размѣшении языкъ начаша быти мнози человѣцы на земли, и не точию же размѣсишася гласы и языки ихъ, но и образы ихъ измѣнишася, и нравы и обычая ихъ размѣсишася. Сеже все бысть, яко да явятся в нихъ дѣла помышления ихъ, зане много лукавъствоваша на Бога, творца своего, и заблудиша дѣлы своими. Сего же ради и приуподобишася звѣремъ и скотомъ дивиимъ, тако бо и образы ихъ, и жилища ихъ явишася. Отпусти бо ихъ Богъ по начинанию сердецъ ихъ, и поидоша в начинаниихъ своихъ.

О сатырехъ

Есть люди, глаголемии сатыри. Жилище ихъ в лесахъ по горамъ, а хожение ихъ скоро. Егда текутъ, никтоже можетъ постигнути ихъ. А ходятъ наги, а живутъ со звѣрми, а тѣла ихъ обростли власами, а языкомъ не говорятъ, токмо гласом кричатъ.[1]

О андроинах[2]

Люди, имянуемии андроини, а живутъ они во Фритской земли,[3] а имѣютъ у себя плоть половину страны мужьскую, а другую женьскую: у всяково человѣка правой сосокъ мужьской, а лѣвой сосецъ женьской.

равлей с пигмеями...» (Strab. II, 1, 9 (С 70); пер. Г. А. Стратановского). Аналогичные описания были известны на Руси с древнейших времен (например, из переводов Хроники Георгия Амартола, «Александрии» и др.) Естественно, что о многих географических, а уж тем более мифологических понятиях у древнерусских историографов были порой смутные представления, что, собственно, и отразилось в публикуемом тексте. Из вошедших в Хронику Мартина Бельского источников сведения о монстрах содержались в сочинении Августина «О граде Божием» (XVI, 8) и в Хронике Иоанна Науклера (Кельн 1544). Впрочем, и Августин, и Иоанн в своих сочинениях основывались на «Естественной истории» Плиния Старшего (преимущественно на седьмой ее книге). Мартин Бельский не удовольствовался сведениями, приводимыми первыми двумя авторами, а обратился, как я полагаю, непосредственно к труду Плиния.

Глава 11. О разделении языков и о другом

После столпотворения же и разделения языков появились многие люди на земле, и не только разделились наречия и языки их, но и вид их изменился, и нравы и обычаи их разделились. Произошло же все это для того, чтобы проявились в них задуманные ими дела, ибо весьма неправедно поступали перед Богом, творцом своим, и через дела свои заблудились. Оттого и уподобились зверям и скотам диким, такими же стали и вид их, и жилища. Ибо отпустил их Бог [жить] по склонности сердец их, и направили они [свой путь] согласно своим склонностям.

О сатирах

Есть люди, называемые сатирами. Жилища их в лесах на горах, а ходьба их быстра. Когда бегут, никто не может их настигнуть. А ходят нагими, живут со зверями, тела их обросли волосами, не говорят на языке, только криком кричат.

Об андрогинах

Люди, именуемые андрогинами, живут во Фритской земле, а тело имеют с одной стороны мужское, а с другой – женское: у всякого человека правый сосок мужской, а левый сосок женский.

О аримаспах[4]

Люди аримаспи живутъ в далныхъ земляхъ Татарскихъ,[5] а имѣютъ по одному глазу, или оку, а воюются съ грифы за жемчюгъ и злато.

О астромовехъ[6]

Люди астромове, или астонии, живутъ во Индийской земли. Сами мохнаты, без обоихъ губъ. А питаются от древъ и корения пахнучево и от цвѣтовъ, и от яблокъ лесныхъ, а ни пьютъ, ни ядятъ, толко нюхают. А покамѣста у нихъ тѣ запахи есть, потамѣста и живутъ.

О атанасии[7]

Люди есть атанасии, живутъ на полунощии Окияна моря. Уши у них столь велики, что покрывает ими все свое тело.

О поподесъхъ[8]

Люди поподеси живутъ надъ моремъ Окияномъ. Главы у нихъ человѣчьи, а руки и ноги, какъ коньские ноги, а ходятъ на всѣхъ четырех ногахъ.

О неурилах[9]

Люди неурили живутъ в далныхъ Татарскихъ землях, а имѣютъ обращатися из человѣка в волка, а из волка паки в человѣка.

О пилмеяхъ[10]

Люди есть, зовоми пилмеи. Живутъ во Индийскихъ земляхъ, ростом невелики: толко лакти единого;[11] и недолговѣчны: толко по 8 лѣтъ вѣкъ ихъ. А жены ихъ родятъ в пятой годъ, а дерутся с жаравлями о корму, а ѣздятъ на козлахъ, а стреляютъ из луковъ.

О катаинах[12]

Люди, зовоми катаини, живутъ в Сикилийской странѣ под горою имянемъ Етна. Тѣ люди велики, как волотове. А имѣютъ по одному оку, а иные слѣпы, а мнят, что и нѣтъ на земли такихъ людей, чтобы у нихъ было по два ока. А родомъ тѣ люди добрѣ хороши, а молятся солнцу и месяцу.

О щиритах[13]

Люди щиритове живутъ в Татарской землѣ, без ушей, толко лише диры за ушей мѣста.

Об аримаспах

Люди аримаспы живут в дальних землях Татарских, а имеют по одному глазу, или оку, и сражаются с грифами за жемчуг и золото.

Об астромовах

Люди астромовы, или астонии, живут в Индийской земле. Сами мохнаты, без обеих губ. А питаются от деревьев и пахучих кореньев, от цветов и от яблок лесных, но не пьют, не едят, только нюхают. И пока у них эти запахи есть, до тех пор и живут.

Об атанасиях

Есть люди атанасии, живут они на севере моря Океана. Уши у них столь велики, что покрывают они ими все свое тело.

О поподесах

Люди поподесы живут над морем Океаном. Головы у них человеческие, а руки и ноги, как лошадиные ноги, и ходят на всех четырех ногах.

О неурилах

Люди неурилы живут в дальних Татарских землях, и дано им превращаться из человека в волка, а из волка – вновь в человека.

О пигмеях

Есть люди, называемые пигмеями. Живут в Индийских землях, ростом невелики: в один только локоть; и недолговечны: только 8 лет век их. Женщины их рожают на пятом году, дерутся они с журавлями из-за корма, ездят на козлах, а стреляют из луков.

О катаинах

Люди, называемые катаинами, живут в Сицилийской земле под горой, именуемой Этна. Эти люди велики, как великаны. Имеют по одному глазу, а иные слепы, и думают, что и нет на земле таких людей, чтобы у них было по два глаза. Естеством эти люди очень хороши, молятся солнцу и луне.

О щиритах

Люди щириты живут в Татарской земле, без ушей, только лишь дыры вместо ушей.

О троглодитах

Люди троглодиты живутъ во Фридской странѣ по горамъ, а ядят змей.

О мантикорах[14]

Люди мантикоры живутъ во Индийскихъ странахъ, зубы у нихъ в три ряды, главы у нихъ человѣчии, а тѣло лютово звѣря.

О мономерах

Люди, мономери зовоми, а инде – монокули,[15] об одной ногѣ, а коли солнце печетъ, и онъ можетъ покрытися ногою, какъ лапою.

О потамияхъ[16]

Люди, зовоми апотамии, ходятъ на ногахъ и на рукахъ. Брады у них долги. Половина человѣка, а другая конь. А у жон ихъ власовъ на главахъ нѣтъ, а живутъ в водѣ.

Много же и иныхъ всяким чюднымъ родствомъ, как во Фрицких и во Индийскихъ и в Сирскихъ странахъ: у иныхъ песии главы, а иные без главъ, а на грудѣхъ зубы, а на лактяхъ очи, а иные о дву лицахъ, а иные о четырех очех, а иные по шти рогъ на главахъ носятъ, а у иныхъ по шти перстовъ у рукъ и у ногъ, а всѣ тѣ люди на вселенную пошли от единаго человѣка, рекше Адама, и за умножение грѣховъ тако ся учиниша. Можемъ разумѣти то от жены Лотовы и от прочихъ, ихже множество окаменѣша.

---

[1] *А ходятъ наги ... токмо гласом кричатъ.* – Эта характеристика у Плиния (VII, 24) отнесена к другому мифическому племени – хоромандам.

[2] *Андрогин* – ὁ ἀνδρόγυνος («муже-женщина») Сообщая об андрогинах, Плиний (VII, 15) ссылается на Аристотеля (fr. 606 Rose).

[3] *...а живутъ они во Фритской земли...* – Речь здесь идет об Африке (в польском тексте Хроники Бельского: «w Afryce»). Очевидно, первая буква топонима в какой-то момент была воспринята как часть предлога.

[4] *Аримаспы* – мифическое племя одноглазых людей, упоминаемое еще у Эсхила (*Prom. V.* 805). Непосредственным источником Плиния (VII, 10; ср. IV, 88; VI, 50) является в данном случае Геродот (III, 116; IV, 13; 27).

[5] *...в далныхъ земляхъ Татарскихъ...* – судя по тому, что в другом месте Хроники Бельский говорит «Scyty albo Tatary», здесь имеется в виду Скифия.

[6] *Люди астромове, или астонии...* – Оба слова восходят, надо полагать, к греч. ἄστομος – безустый.

[7] *О атанасии.* – О людях, укрывающихся своими ушами, упоминает Плиний (VII, 30), но названия этого народа не приводит. В русском переводе Хроники Мартина Бельского читается «танесъ», в польском тексте – «tanesi». Возможно, создатель Хронографа 1617 года попытался дать греческую этимологию этого слова и связал его с ἀθάνατος (бессмертный).

О троглодитах

Люди троглодиты живут во Фридской земле в горах, а едят змей.

О мантикорах

Люди мантикоры живут в Индийских землях, зубы у них в три ряда, головы у них человеческие, а тело лютого зверя.

О мономерах

Люди, называемые мономерами, а кое-где – монокулами, имеют одну ногу, а когда жжет солнце, он может закрыться ногой как лапой.

О потамиях

Люди, называемые потамиями, ходят посредством ног и рук. Бороды у них длинны. Одна половина человеческая, а другая лошадиная. У женщин их на головах нет волос, а живут в воде.

Много же и иных разных чудных порождений, как во Фрицких, в Индийских и в Сирийских землях: у иных собачьи головы, а иные без голов, на груди зубы, на локтях глаза, у иных два лица, иные с четырьмя глазами, иные по шести рогов на голове носят, у иных по шести пальцев на руках и на ногах, и все те люди в мире произошли от одного человека, то есть Адама, и за умножение грехов стали такими. Мы можем это понять, [вспомнив] жену Лота и множество других, которые окаменели.

---

[8] *О поподесѣхъ.* – Имеются в виду «лошадиноногие»: греч. ἵππος (конь) и πούς (нога).

[9] *О неурилах.* – Имеется в виду племя невров, упоминаемое у Плиния (IV, 88).

[10] *О пилмеяхъ.* – Сведения о пигмеях читаются уже у Гомера: в Илиаде (III, 3–6) упомянута их война с журавлями.

[11] *...толко лакти единого...* – По мнению Плиния (VII, 26), рост пигмеев составлял 3 пяди (примерно 0,7 м).

[12] *О катаинах.* – В польском тексте говорится о «циклопах или гигантах» («Cyklopes albo Gigantes»).

[13] *О щиритах.* – Здесь имеется в виду народ, названный Элианом (*Hist. anim.* XVI, 22) Σκιρᾶται. Плиний (VII, 25) и Науклер говорят, что дыры у этих людей вместо носа.

[14] *О мантикорах.* – Мантикоры – мифические существа, имеющие тело животного, голову человека и питающиеся человеческим мясом. О них упоминает еще Ктесий (fr. 45, 15; 45 d *FGrHist*).

[15] *Люди, мономери зовоми, а инде – монокули...* – Μονομερής (греч.) – имеющий лишь одну часть, μονόκωλος (греч.) – односторонний, стоящий на одной ноге (см. *Plin.* VII, 23).

[16] *О потамияхъ.* – ποτάμιος (греч.) – речной.

Н. Д. Численко

ОБ ИСТОЧНИКАХ «ТИЛЕМАХИДЫ» В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО

Подготовка текста и предисловие Т. Б. Авериной

*Наталья Дмитриевна Численко (1930–1993) родилась в Перми в семье видного историка русской литературы XVII–XVIII вв. Д. С. Бабкина. Вскоре Н. Д. вместе с родителями переехала в Ленинград; в 1948 г. она поступила на отделение классической филологии Университета, которое закончила пять лет спустя, представив дипломную работу о сатирах Персия. Первые ее статьи были посвящены семантике латинских глагольных префиксов; результатом изысканий Н. Д. в этой области стала защищенная в 1972 г. диссертация «Глагольная префиксация в архаической латыни: семантический аспект». Позднее сфера научных интересов Н. Д. расширилась: она опубликовала ряд этюдов о взаимодействии европейских литератур эпохи барокко (пристальный интерес к которой, несомненно, оказал влияние на язык и стиль работ Н. Д.), новолатинской поэзии, проблемах позднеренессансной и ранней русской драматургии. Уже из заглавий многих ее статей** видно, что Н. Д. не толь-*

* Сапфические ритмы в драмах Димитрия Ростовского // Вестник ЛГУ, серия 2, вып. 4 (1976), 91–98; «Гражданство обычаев детских» и его польский источник // Зарубежные славяне и русская культура. Л. 1978, 5–17; Притчи С. Х. Любомирского в рукописном русском переводе 1730 г. // Тезисы Всесоюзной конференции по античной литературе и классической филологии. Харьков 1980; «Комидия притчи о блудном сыне» С. Полоцкого и позднеренессансная драма // Вестник ЛГУ, серия 2, вып. 2 (1989), 34–

*ко энергично изучала, но и с энтузиазмом пропагандировала новолатинскую словесность – зачастую остающуюся, чему противостоял уже Э. Р. Курциус, вне поля зрения как филологов-классиков, так и историков новых европейских литератур. Н. Д. читала со студентами филфака Декарта и Феофана Прокоповича,*** *в течение многих лет вела спецкурс по средневековой латинской литературе, разучивала церковные гимны с участниками университетского хора и даже играла на органе – по отзывам слушателей, вполне профессионально.*

Исследование источников «Тилемахиды» было начато во второй половине 80-х годов; осенью 1989 г. Н. Д. посвятила этой теме два доклада – сначала на кафедре классической филологии Университета, а затем в секторе взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ. Окончательный рукописный вариант работы, хранящийся ныне в архиве Пушкинского дома, датирован ноябрем 1991 г. Текст его занимает 150 страниц большого формата, исписанных убористым почерком, со сложной системой курсивов, подчеркиваний и отсылок. Доказывая тезис о близости поэмы Тредиаковского к стихотворным переводам «Приключений Телемака», и прежде всего к анонимной латинской поэме «Fata Telemachi», Н. Д. не ограничилась несколькими наиболее разительными примерами сходства этих текстов, но предприняла сплошное сопоставление нескольких книг «Тилемахиды» с их предполагаемыми источниками, подробно останавливаясь на каждом пассаже и отмечая не только совпадения, но и отличия. Несомненным преимуществом такого подхода стало то, что переводческие методы Тредиаковского оказались представлены во всей своей сложности и полноте; с другой стороны, барочное обилие примеров (полный их перечень см. в приложении) сделало невозможным сколько-нибудь полную публикацию работы. В настоящем выпуске альманаха мы стремились лишь представить заинтересованным читателям основные предпосылки, методику и результаты исследования Н. Д. Численко; из всего свода примеров были выбраны как несколько наиболее характерных, дающих представление о прие-

---

41; «Метаморфозы» Овидия в рукописном русском переводе петровской эпохи // Тезисы докладов Крымской научной конференции «Проблемы античной культуры». Симферополь 1988, 93–94; *Praelectiones Horatianae* Пьера Шабо – источник для изучения различных аспектов творчества Горация // Horatiana: Межвузовский сборник. СПб 1992, 182–198 (Philologia classica 4).

** См.: *Н. Д. Численко.* Новолатинская литература и университетское образование // Тезисы докладов конференции «К вопросам германской, романской и классической филологии» 24–26 мая 1967 г. Вильнюс 1967, 11–12; *Она же.* Новолатинская литера-

мах работы Н. Д. и сущности проводимого ею анализа, так и те, которые показались нам решающими для доказательства главного тезиса. Опущено Приложение, касавшееся русского прозаического перевода «Приключений...» Фенелона А. Ф. Хрущовым; с другой стороны, интересное отступление об источниках вставок в «Тилемахиде» выделено в особый раздел.

Приносим благодарность Дмитрию Леонидовичу Численко за помощь в работе над настоящей публикацией.

В развернутом заглавии своей «ироической пиимы»[1] Тредиаковский подчеркивал, что она восходит к «нестихословной» речи оригинала – французского романа Фенелона о приключениях Телемаха, сына Одиссея (Улисса).[2] Этот момент отношения «Тилемахиды» к *AT* общепризнан. Кроме того, основой всех наших суждений об этой поэме является завещанное Л. В. Пумпянским признание, что если Фенелон «беллетризовал наследие Гомера и Вергилия, превращая их сюжеты в роман, а их эпическую фразеологию в текучую, прозрачно-легкую, сладкогласную прозу романа»,[3] то Тредиаковский «по каркасу Фенело-

---

тура и университетское образование // Античность и современность: Сборник статей к 80-летию Ф. А. Петровского. М. 1972, 477–481.

[1] *В. К. Тредиаковский.* Тилемахида, или странствования Тилемаха, сына Одиссеева, описанное в составе ироическия пиимы <...> с французския нестихословныя речи, сочиненныя Франциском де Салиньяком де ла Мотом Фенелоном. Т. I–II. СПб. 1766 (далее – *Тред.*; цитируется с указанием номера книги и стиха). – *Здесь и ниже, кроме особо оговоренных случаев, примечания принадлежат Н. Д. Численко.*

[2] *F. Fénelon.* Les avantures (sic) de Télémaque, fils d'Ulysse. T. 1–2. Stuttgart 1732 (далее – *AT*; римской цифрой обозначается номер тома, арабскими – сначала номер книги, а затем страницы. В цитируемом тексте номера строк не обозначены, но на каждой странице есть множество цифровых ссылок – с нумерацией, отдельной для всех 24 книг романа. Их номера, приводимые нами в скобках, дают удобную возможность ориентироваться во французском тексте на странице).

[3] *Л. В. Пумпянский.* Тредиаковский // История русской литературы. Т. III, 1. М.; Л. 1941, 245. Эта часть суждения Пумпянского требует критической оценки. *AT* не является беллетризацией наследия Гомера и Вергилия и не превращает их сюжеты в романическое повествование. Между Фенелоном и этими не единственными, но важнейшими источниками *AT* существует иная связь: чтобы их оценить, следует прежде всего учесть вопрос об отношении Вергилия к Гомеру (см.: *G. N. Knauer.* Die *Aeneis* und Homer: Studien zur poetischen Technik Vergils mit Listen der Homerzitate in der *Aeneis.* Göttingen 1964) и, кроме того, использовать важнейшие выводы Ноэми Эпп (*N. Hepp.* Homère en France au XVIII[e] siècle: Thèse. Paris 1968). О «relais virgilien» между Фенелоном и Гомером см. также: *L. Boulvé.* De l'hellénisme chez Fénelon: Thèse. Paris 1897, 97; 99–105; 212 et passim; *F. Gallouédec-Genuys.* La conception du prince dans l'oeuvre de Fénelon: Thèse. Paris 1963, 5–9).

на» создал русскую гомеровскую поэму и одновременно русский гомеровский стиль и новый язык «гомеровского происхождения».[4] Более удачной и менее уязвимой в некоторых отношениях нам представляется формулировка А. А. Дерюгина: «Прозу дидактического романа Фенелона <…> переводчик превращает в гекзаметры эпической поэмы, как бы продолжающей „Одиссею“ Гомера»,[5] так как вопрос об источниках и проблеме источников «Приключений…» достаточно сложен, хотя несомненен античный колорит романа, характерный для этого произведения «тонкий флер эллинизма» и особая «гомеровская тональность».[6] Именно такую прозу, проникнутую гомеровским вдохновением, гомеровской темой и пронизанную античными реминисценциями, Тредиаковский переложил «гомеровским стихом».[7] По глубокому суждению Пумпянского, «стиль эпигона (Фенелона) Тредиаковский систематически переводил на язык его первоисточников, превращая французскую прозу в русский гомеро-вергилиевский язык».[8]

Эту мысль Пумпянского в значительной степени развил Дерюгин, который подчеркнул особое значение для Тредиаковского эпоса Вергилия и римской классической поэзии в целом и, кроме того, отметил, что при создании «Тилемахиды» антикизация была переводческой доминантой Тредиаковского: по наблюдениям этого исследователя, Тредиаковский воспринял не только реальный оригинал, но и язык «протооригинала», то есть того гипотетического («примысленного им») образца, в духе которого перестраивался переводимый им текст[9] (мы не затрагиваем здесь вопроса о вставках в «Тилемахиде», достаточно полно рассмотренного в отечественной научной литературе). Владея культурой античной поэзии

---

[4] *Л. В. Пумпянский.* Указ. соч., 237; 249.

[5] В. К. Тредиаковский – переводчик // *А. А. Дерюгин.* Становление классицистического перевода в России. Саратов 1985, 124.

[6] О «тонком флере» и «приятном отпечатке» эллинизма в романе см.: *L. Boulvé.* Op. cit., 163; 305; об особой гомеровской тональности и гомеровском вдохновении: *N. Hepp.* Op. cit., 616. Среди античных источников Фенелонова романа Бульве выявляет Платона, Ксенофонта и Софокла (Op. cit., 101 sqq.; 106; 199–212). Ф. Галлуэдек-Женюис (Op. cit., 5–9) подчеркивает, что проблема исследования источников романа Фенелона не должна ставиться самоцельно, ибо главное – это универсальная гуманитарная культура французского автора, служившая одной из основ его мировоззрения и художественного замысла романа; рассмотрение *AT* на уровне реминисценций и литературных влияний не должно первенствовать в изучении творчества Фенелона. Впрочем, представляет интерес выявляемая при этом связь *AT* с миром платоновской мысли (Ibid.).

[7] *А. А. Дерюгин.* Указ. соч., 126–127.

[8] *Л. В. Пумпянский.* Указ. соч., 249.

[9] *А. А. Дерюгин.* Указ. соч., 125–154.

различных жанров, Тредиаковский осуществил эту антикизацию в сфере ритмики и пластики стиха,[10] а также в области лексики и стиля (к настоящему времени антикизация в «Тилемахиде» наиболее исследована, по-видимому, именно в этом последнем аспекте).

В 1941 году, рассматривая суждение А. С. Пушкина о «Тилемахиде» и ее авторе, Пумпянский упрекнул поэта в «мелкой неточности», а именно в том, что Пушкин якобы утверждал, что Тредиаковскому первому пришла мысль перевести «фенелоновский эпос» стихами.[11] И хотя этот упрек несправедлив (Пушкин не утверждал прямо, что Тредиаковский первым задумал такое переложение; он писал, что любовь к «фенелонову эпосу» делает Тредиаковскому честь, а мысль «перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного» и «смелость»),[12] однако то, что в связи со своим упреком Пумпянский пишет далее, необычайно интересно. Он указывает, что в начале XVIII века во Франции появились латинские стихотворные переводы Фенелона («школьно-профессорские»), а с 1727 года начала печататься немецкая поэма Беньямина Нейкирха по *АТ*, написанная в александрийских рифмованных стихах,[13] и что все эти переводы были Тредиаковскому прекрасно известны, «но оригинальность его заключалась в правильном понимании того, что стихом русского антикизирующего эпоса должен быть гекзаметр и что языком такого эпоса должна быть гомеровская речь».[14] В этой характеристике недостает указания на то, в какой стихотворной форме были исполнены упомянутые латинские переводы; таким образом, неясно,

---

[10] Л. В. Пумпянский (Указ. соч., 230–232), отмечая работу автора «Тилемахиды» над ритмическим разнообразием гекзаметра и над его звуковой выразительностью, стилистически и фразеологически восходившей к Гомеру и Вергилию, а вовсе не к переводимому тексту Фенелона, отдал должное «отцу русского научного стиховедения» А. Н. Радищеву, уже давно оценившему заботу Тредиаковского об «изразительной гармонии» гекзаметра, то есть о звуковой его организации.

[11] Там же, 250.

[12] *А. С. Пушкин.* Путешествие из Москвы в Петербург // ПСС. Т. XI. М.; Л. 1949, 227; 253–254.

[13] Беньямин Нейкирх (Neukirch: 1665–1729) – немецкий поэт: в молодости принадлежал к так называмой Второй силезской школе. Преподавал к Берлине, затем был воспитателем наследного принца в Ансбахе. Известен как представитель галантной поэзии. – *Публ.*

[14] *Л. В. Пумпянский.* Указ. соч., 250. Данные о латинских поэтических переводах *АТ* в первой половине XVIII в. (Пумпянский не совсем точно говорит о «начале века») почерпнуты им, по-видимому, из книги Альбера Шереля (*A. Cherel.* Fénelon au XVIII[e] siècle en France (1715–1820): Son prestige, son influence. Paris 1917, 296), который считает названные переводы «парафразами в большей или меньшей степени».

какие направления существовали в стихотворных переводах *AT* на европейском Западе и не примкнул ли Тредиаковский к какому-либо из них.

Латинских стихотворных переводов *AT* в Европе первой половине XVIII в. было два. Если Тредиаковский знал эти переводы (а Пумпянский предполагал, что прекрасно знал), то он должен был обратить на них особое внимание, так как сама их гекзаметрическая форма соответствовала мысли Тредиаковского о том, что роман Фенелона, который являлся «прекрасным и совершеннейшим эписодием к „Одиссее" Гомера», но был написан прозою, «требует омирова или маронова ристательного бега». <…>

В ходе поиска, не имевшего вначале специальной связи с творчеством Тредиаковского, автору данной работы довелось ознакомиться с одним из упомянутых Пумпянским, но не названных им латинских стихотворных переводов романа Фенелона, предшествовавших изданию «Тилемахиды». Это была поэма «Fata Telemachi, filii Ulyssis» («Судьбы Телемаха, сына Улисса») – поэтическая метафраза *AT*, созданная в гекзаметрах и изданная впервые в 1743 году.[15] Аноним *FT*[16] в предисловии к своей поэме просил читателей «извинить его за дерзость, с которой он попытался при неравном таланте следовать произведению великого поэта; известнейшего во всем мире». Судя по теме поэтической метафразы, это могла быть ориентация на Гомера. Но анонимный поэт-переводчик, по-видимому, имел в виду гомеро-вергилианскую традицию: как для новолатинского поэта, для него была неизбежной практическая ориентация на латинский гекзаметр и на стиль Вергилия. С первых строк *FT* это можно увидеть по той же «утонченной словесной ткани, где каждый оборот фразы, каждый

---

[15] *F. Fénelon.* Fata Telemachi, filii Ulyssis regis Ithacae, Latino carmine reddita. Vol. 1–2. Berolini 1743 (в том же году поэма была переиздана в Нюрнберге). Далее – *FT*; цитируется с указанием книги и стиха.

[16] Альбер Шерель (*A. Cherel.* Op. cit., 299) называет его фамилию и инициал – D. Bonhomme. (*Примеч. публ.*: Обозревая рецепцию Фенелонова наследия в немецкой литературе, Лео Юст (*L. Just.* Fénelons Wirkung im Deutschland // Fénelon. Persönlichkeit und Werk Festschrift zur 300. Wiederkehr seines Geburtstages / Hrsg. von J. Kraus und J. Calvet. Baden-Baden 1953, 46–47) характеризует Д. Бономма как «литературного деятеля, который потрудился для распространения французской культуры в Германии», однако никаких дополнительных биографических сведений о нем не сообщает, вновь отсылая к труду Шереля. В библиографическом указателе «Gesamtverzeichnis des deutschsprachingen Schrifttums (GV): 1700–1910» (Bd 37. New York; London; Paris 1981, 131) переводчиком *FT* обозначен ближе не известный Cherisius. Благодарим профессора Зигмара Деппа (Геттинген), любезно сообщившего нам эти сведения.)

звук были одновременно и предельно естественны и предельно необычны»,[17] где внутри ритмического рисунка фразы ее синтаксис был сознательно затруднен (для непрофессионала или непросвещенного читателя – даже и весьма), и прежде всего за счет «беспримерной свободы инверсии»[18] с характерной для нее системой приемов в расстановке слов.[19]

Характер поэмы гомеровского типа в гекзаметрах, гомеро-вергилианский стиль и установка на «затрудненную речь» с ее особыми приемами построения стиха – всё это черты значительной, но, пожалуй, естественной близости Анонима *FT* и Тредиаковского, превративших в антикизирующую героическую поэму один и тот же французский оригинал и ориентированных на сходную языковую и стилистическую систему.[20]

В истории поэтических переводов *AT* поэма *FT* была, однако, не первым опытом. В 1729 г. была опубликована обратившая на себя внимание латинская поэма Эрто по пяти первым книгам романа Фенелона. Так же, как и *FT*, она была написана гекзаметром.[21] С 1727 г., после серии немецких прозаических, и в том числе комментированных, переводов *AT*, появляется частями, а затем и в полных изданиях, немецкоязычный поэтический «Телемах» Беньямина Нейкирха.[22] В 1737 г. вышло итальянское переложение *AT* Фламинио Скарселли, в рифмо-

---

[17] *М. Л. Гаспаров.* Вергилий – поэт будущего // *Вергилий.* Буколики. Георгики. Энеида. М. 1969. 10.

[18] *Л. В. Пумпянский.* Указ. соч., 233. О сложном, «затрудненном» синтаксисе «Тилемахиды», восходящем к античной традиции, см. также: *А. А. Дерюгин.* Указ. соч., 145 слл.; 153–154.

[19] Сопоставительный анализ показывает, что сложные синтаксис и расположение слов внутри строки и внутри предложения, как и в целом поэтика этой стихотворной метафразы романа Фенелона – результат освоения вергилианского эпического стиха, взятого автором *FT* за основу.

[20] Обе поэмы ориентированы на обобщенный стиль различных жанров латинской гекзаметрической поэзии; в жанровом отношении они отличаются известной полистилистикой, но эпический стиль «гомеро-вергилианского» типа в них является господствующим и объединяющим.

[21] *Heurtault* [Hurtaltius]. Traduction de *Télémaque* en vers latin. Caen 1729 (данные по: *A. Cherel.* Op. cit., 299). Об авторе Шерель сообщает, что он был профессором гуманитарного цикла в Коллеж Дю Буа; даже инициала его мы не знаем.

[22] *B. Neukirch.* Die Begebenheiten Des Prinzen von Ithaca, Oder seinen Vater Ulysses suchende Telemach / Aus dem französischen des Herrn von Fénelon in deutsche Verse gebracht und mit den dazu gehörigen Anmerkungen erlaütert. Teil 1. Onolzbach (=Ansbach) 1727 (цитируется по одному из полных изданий – Nürenberg [4]1762; римская цифра обозначает одну из трех частей книги, арабские – номер песни по *AT*, страницу и (в скобках) номера строк на ней; аббревиатура *Neuk*).

ванных октавах «тосканского стиха».[23] Латинская поэма Анонима *FT* и немецкий «Телемах» Нейкирха оказались наиболее заметными среди других поэтических переводов романа Фенелона. Грегор Траутвайн, впервые переведший *AT* на латынь прозой, уже в 1744 году отмечал, что *FT* – замечательный труд, который «похвалил бы Готтшед», и чьи достоинства очевидны уже с первых строк; значение его в том, что это – полный перевод романа Фенелона в традиционной форме героической поэмы («и притом на латинском языке»), которая «блещет богатством поэтического и вергилианского языка, отмечена остротою ума и художественным вкусом, сладостным стилем, изысканным слогом и прекрасным поэтическим размером».[24] Сравнивая *FT* с поэмой Нейкирха, Траутвайн пришел к выводу, что обе «совершенно достойны и равны их оригиналу». <…>

Итак, о поэме *FT* мы уже достаточно знаем по оценке Траутвайна, из которой следует, что она отвечала всем требованиям, которые классицистическая эстетика предъявляет к жанру эпопеи в плане стихотворной формы и стиля; теперь необходимо дать характеристику труда Нейкирха, чтобы уравновесить наши первые представления о двух этих поэмах. Избрав для своего перевода александрийский стих с «окончательными рифмами», Нейкирх воплотил требования классицистической риторики лишь настолько, насколько это было возможным для него – лирика преимущественно барочного типа, пусть и обладавшего безусловным интересом к античности. Примечательно, что Нейкирх осуществил, в частности, почти полный перевод четвертой книги «Энеиды», повествующей о любви Энея и Дидоны и о трагедии покинутой царицы, а также перевел послание Дидоны Энею из «Героид» Овидия).[25] Как можно предположить, именно интерес к теме любви и к образу покинутой Дидоны привлек его внимание к роману Фенелона, который открывается описанием страданий оставленной Одиссеем Калипсо. Тяготение Нейкирха как переводчика и поэта к жанру эклоги, особенно с точки зрения разработки в нем любовной темы, также сопутствовало его интересу к *AT*, поэтический перевод которого Нейкирх сопроводил обширным комментарием.

---

[23] *F. Scarselli.* Il Telemaco in ottava rima, tradotto dal francese. P. I–II. Roma 1747.

[24] *F. Fenelonius.* Telemachus / Gallice conscriptus <…> in omnes fere Europae linguas transfusus nunc <…> Latinitate <…> donatus a Gregorio Trautwein. Francoforti 1744, 4.

[25] Названные переводы Нейкирха опубликованы в изд.: *G. B. Hancke.* Weltliche Gedichte nebst des beruhmten Poetens <…> Benjamin Neukirch noch niemahls gedruckten Satyren. Bd IV, 4. Leipzig; Dresden 1735; из работ, посвященных Нейкирху, см.: *W. Dorn.* Benjamin Neukirch: Sein Leben und seine Werke. [Inaug.-Diss.] Heidelberg 1897.

В предисловии к поэме Нейкирх говорит о своем отношении к задаче поэтического перевода французской прозы Фенелона. Он пишет о совершенстве эпической поэзии древних, а первым и главным достоинством Фенелона считает его «точное следование Гомеру и Вергилию». Оценивая трудности перевода *AT* стихами, Нейкирх пишет: «Я весьма сожалею, что иногда должен был отклоняться от авторских изображений и не всегда мог следовать за автором слово в слово. Каждый знает, что существует огромное различие между „несвязанной“ прозаической и „связанной“ поэтической речью. Если бы передо мной было произведение в стихотворной форме, то поэтическое чувство вело бы меня дальше и я, вероятно, так же, как при переводе четвертой книги „Энеиды“, легко проникся бы им. Но так как передо мною был только поэтический замысел, а не поэтическая форма, то, по-видимому, лучшим [решением] было довериться моей относительной поэтической свободе. <…> Я позволял себе поэтическую вольность и вводил различные мысли, которых не было в тексте [романа], но которые подсказывал сам материал».

Размышляя о праве поэта-переводчика на такое «развитие мотива», Нейкирх оправдывал его стремлением быть понятным и интересным для читателя. Таким образом, он обосновал и принял для своего переложения принцип поэтической парафразы. Нейкирх предпочел свободную трактовку материала и свободное же общение с читающей аудиторией, осуществив его в легкой для восприятия форме 13-сложного рифмованного ямбического стиха, – который не был осложнен связью с гекзаметрической традицией античной эпической поэзии, но представлял собой некий новый эквивалент «длинному» эпическому стиху. Для него оставалась по существу чуждой поэтика античного эпоса, был неприемлем его размер, а также характерные сложные и изысканные способы ритмической аппликации слов. Но благодаря всем этим особенностям немецкоязычная поэма Нейкирха о Телемахе оказалась очень ценной в системе предпринятого нами анализа при сравнении с антикизирующими поэмами латинского Анонима и русского поэта, созданными на основе нестихословного, но художественно выразительного и по-своему «поэтического» оригинала с его живой и гармоничной прозой.

Антикизирующая и гекзаметрическая по форме поэма *FT* и «Тилемахида» Тредиаковского показались нам интересным объектом для сопоставительных наблюдений. <…> Изучение материала нескольких песен этих поэм (в I песни – начало, в XVIII – плач царя Навофарзана в Тартаре, в XXIV – концовка) позволило в процессе систематическо-

го сопоставительного комментария выделить ряд примеров, как будто свидетельствовавших о связях «Тилемахиды» с *FT*. Было ясно, что следует продолжить и углубить наблюдения, чтобы проверить нашу гипотезу о том, что Тредиаковский переводил роман Фенелона как бы через призму поэмы *FT*, воспринимая некоторые ее черты и антикизируя поэтику своего перевода с оглядкой на искусство и опыт латинского Анонима. Для Тредиаковского мог быть важен не сам факт освоения автором *FT* поэтики античного героического эпоса (главным образцом здесь была «Энеида», которую Тредиаковский прекрасно знал и потому так часто и свободно использовал в своих «вставках» в поэму), а опыт перевода в эту форму именно романа Фенелона, то есть опыт поэтической метафразы *AT* в традициях античной эпической поэзии. Сама гекзаметрическая форма *FT*, и притом с гекзаметром на латинском языке, которым Тредиаковский свободно владел как поэт и переводчик, могла быть исключительно близка, привлекательна и важна для осуществления замысла задуманной им поэмы.

Продолжая исследование, мы обратились к иностранному каталогу старой части книжного собрания БАН в Петербурге. В нем оказались представлены несколько изданий романа Фенелона. Есть все основания утверждать, что Тредиаковский активно использовал эту литературу. Филологически оснащая издания «Тилемахиды», он использовал из *AT* в штуттгартском издании 1732 г. обширную *Table des matières* с включенными в нее греческими и латинскими материалами, в том числе цитатами из античных поэтов (Тредиаковский в своем «Перечне к *Тилемахиде*» перевел их русскими стихами), а «Рассуждение» ученика и друга Фенелона Анри-Мишеля Рамсе (Рэмзи; 1686–1743) об эпической поэзии древних и о достоинствах «поэмы» Фенелона, включенное в голландское издание *AT* 1734 года, стало основой «Предъизъяснения» Тредиаковского к «Тилемахиде» (вопрос о различении в этом «Предъизъяснении» переводного и собственно авторского, принадлежащего Тредиаковскому, не входит в нашу задачу).

В той же части каталога иностранного фонда БАН есть свидетельства того, что в Петербурге в XVIII в. появились и западноевропейские переводы *AT*. Один из них описан под шифром XIV De / CLXIX*: *Fenelon*, Franciscus. Fata Telemachi, filii Ulyssis. Ulmae, 1755 (экземпляр утрачен). <…> Через библиографию раритетных изданий удалось установить, что это – одно из переизданий латинского прозаического перевода *AT*, выполненного Траутвайном. Этот перевод, по-видимому, и в переизданиях сопровождался содержательным предисловием, в ко-

тором читатель мог найти информацию об истории первых поэтических переводов *AT*, ознакомиться с высокой оценкой поэмы *FT* (несколько первых строк ее – сначала I, 1–4, затем I, 5–9, Траутвайн привел для обоснования своих похвал), узнать о немецком поэтическом переводе Нейкирха. Подобная информация и сравнение двух самых значительных стихотворных переложений *AT* не могли остаться незамеченными как ученым миром Европы, так и блестяще образованным филологом, эрудитом и поэтом-переводчиком, каким был Тредиаковский. Сведения, почерпнутые из предисловия Траутвайна, могли оказаться для русского переводчика стимулом к созданию антикизирующей поэмы по *AT* и, как естественно предположить, – к соревнованию с уже имевшимся опытом подобного рода.

В иностранном фонде книжного собрания XVIII в. в БАН представлен и немецкий «Телемах» Нейкирха. Эта поэма была здесь даже в двух изданиях: первом, 1727 г., содержавшем лишь первую часть перевода *AT*, и четвертом, полном – 1763 г.

Итак, нам известен источник, который мог вызвать интерес Тредиаковского и к *FT*, и к поэме Нейкирха; последняя была непосредственно доступной для него. Пользовался ли Тредиаковский немецкой поэмой о Телемахе и знал ли он *FT*, отразилось ли знакомство с этими источниками (если оно имело место) на процессе создания «Тилемахиды»? На все эти вопросы можно было ответить лишь на основе сопоставительного филологического анализа и наглядной демонстрации материала. Задача казалась тем более сложной и интересной, что «внешних» доказательств доступности *FT* Тредиаковскому у нас не было. <...>

И все-таки на завершающем этапе нашей работы мы использовали еще одну возможность найти дополнительное библиологическое доказательство, которое позволило бы подтвердить итоги предпринятого сопоставительного исследования трех стихотворных версий *AT* – русской, латинской и немецкой. Мы изучили описи иностранных книг, поступивших до начала 1760-х годов в Книжную Палату Петербургской Академии Наук для продажи. В издании *Catalogus librorum Latinorum in Bibliopolio Academiae Scientiarum venalium* (Petropoli 1763, 16) без указания имен автора и переводчика была названа новолатинская поэма: «Fata Telemachi, in Lat[ino] carmine. 2 Tomi 8°», с назначенной ценой 2 рубля. Таким образом, найдено то дополнительное звено, внешнее доказательство, которое свидетельствует, что в начале 1760-х годов, за несколько лет до появления «Тилемахиды» в Петербурге, в Книжной Палате при Академии Наук появилось и стало доступным для покупки

произведение, связь которого с «Тилемахидой» мы пытались исследовать и доказать. Дата издания каталога позволяет уточнить terminus post quem: работа над «Тилемахидой» началась, по-видимому, не позже 1763 г. Единственная обмолвка Тредиаковского о его интересе к латинским переводам романа Фенелона (помимо *FT*, Тредиаковский безусловно знал прозаический перевод Траутвайна и пользовался им – по крайней мере его предисловием) – то, что в заглавии своей поэмы он называет Фенелона его латинизированным именем Франциск.

Из нескольких книг (песен) исследуемых произведений мы выделяем ряд отрывков различного объема. В первой части работы сопоставляются все четыре интересующих нас источника, т. е. *AT* и три его поэтических перевода – *FT*, поэма Нейкирха и «Тилемахида». Затем, в связи с возникшими выводами и новыми задачами исследования, мы оставляем сначала три, а затем только два источника – на этой ступени нас будет интересовать лишь соотношение *FT* и «Тилемахиды».

[1]

AT I, 1 p. 3 (1): Calypso ne pouvoit se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur elle se trouvoit malheureuse d'être immortelle.

Neuk. I, 1 p. 2 (1–4): Calypso weinte noch. Ulyssens hartes Scheiden
gieng ihr an Seel' und Herz. Was bey so Bitterm Leiden
ihr allen Trost benahm stets neuer Schmerz gebahr,
war, leider! daß sie nicht, wie Menschen, sterblich war.

FT I, 1–4: Flebat adhuc Superum celsa de stirpe Calypso
se [sic!] male rellicta discessum insignis Ulyssi [sic!].
Cura haec prima, Deam se, non mortaleque numen,
aeternumque atrox secum per pectora vulnus.

Тред. I, 22–26: В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса
и не могла ничем своего внутрь сердца утешить,
после как прочь от нея отторгся Одис невозвратно.
В горести той себя пренесчастливу сим почитала,
что естества была нетлением в веки бессмертна.

При первых сопоставительных наблюдениях становится очевидным, что важнейшее отличие Нейкирха от Фенелона состоит, помимо привязан-

ности немецкого переводчика к «кратким и мужественным выражениям», которыми он пользуется, исходя из особенностей своего языка и интересов читателя, – в том, что он склонен к поэтической амплификации и даже к парафразе оригинала. Все новое, что появляется у Нейкирха в развитие мотивов, намеченных у Фенелона, усиливает лирическое звучание текста, а также мотивацию изображенных состояний и действий. В новолатинской же поэме сразу определяется приверженность автора к традиционно (для античной и антикизирующей поэзии) «сложному» расположению слов: инверсия, гипербат, тут же – хиазм и enjambement. Выявляется и склонность автора *FT* к украшающим эпитетам: у Нейкирха они традиционные, часто обыденные, а в *FT* – характерные именно для высокого эпического жанра. Таким образом, с самого начала *FT* отличается от поэмы Нейкирха не только ритмической формой, но и слогом, и поэтикой античного carmen heroicum.

Вместе с тем сравнение *FT* с поэмой Нейкирха позволило с первых строк увидеть не только отличия, но и сходство, которое явилось результатом влияния немецкоязычного «Телемаха» (его первая часть была опубликована шестнадцатью годами раньше первого издания *FT*) на анонимного новолатинского поэта. Так, *FT* в данном фрагменте подхватывает введенную Нейкирхом тему «еще продолжающегося плача» Калипсо (у Фенелона было простое указание на ее безутешность), а отъезд Улисса, как и у Нейкирха, определяется как «жестокое разлучение», поразившее душу и сердце богини (нимфы). Совпадает и трактовка следующего мотива, так как оба автора развивают и акцентируют краткую формулировку Фенелона: самым страшным для Калипсо в ее страдании явилось то, что она бессмертна. Нейкирх говорил о ее непреходящей и безутешной боли, Аноним *FT* – в стиле антикизирующей поэзии – о «вечной ране» любви. Этот мотив, впрочем, недостаточно полно развитый не только у Фенелона, но и в обеих рассматриваемых поэмах, в комментарии Нейкирха получил дополнительное и полное обоснование: Калипсо – богиня, но она подвержена человеческим страданиям; поскольку она бессмертна, то и страдания эти не иссякнут.

В плане содержания Тредиаковский здесь, кажется, связан с Нейкирхом непосредственно, а не через *FT* (хотя, как мы увидим в дальнейшем, для него более характерна связь с новолатинской поэмой и только через нее с Нейкирхом); по крайней мере, в теме «еще продолжающейся» и «крайней» тоски, невозможности «своего внутрь сердца утешить», невозвратности и жестокости «отторжения» Одиссея-Улисса. Но в тех же строках Тредиаковского можно заметить и связи с *FT*: это как само наличие, так и позиция «завсегда уже» по сравне-

нию с adhuc, и постановка имени Калипсо в конце первой строки в системе гекзаметрического ритма, и связь – по содержанию и позиции – «в горести той пренесчастливу сим…» с «cura haec prima…» В объяснении причины особого несчастия Калипсо слова Тредиаковского о «естества нетлении» и «в веки бессмертна» напоминают superum celsa de stirpe Calypso в *FT* I, 1, а также Deam se [sc. esse] и numen в *FT* I, 3. Тредиаковский в изложении этого мотива опирается, как можно думать, не только на связанные друг с другом поэтические переводы *AT*, но и на комментарий Нейкирха.

Внося некоторые новые художественные краски и создавая атмосферу гекзаметрического стиха с соответствующими ему поэтикой и аппликацией текста, Тредиаковский оставался верен французскому оригиналу и очень сдержанно относился к возможности развития мотива. Как можно наблюдать многократно, самые заманчивые поэтические амплификации, тем более – переходящие в парафразу, для него неприемлемы. Он переводит Фенелона в целом точно, привнося только те элементы из поэм Нейкирха и латинского Анонима, которые вписываются в поэтический перевод, не разрушая его связи с французской прозой оригинала. Так как Аноним *FT* постепенно освобождался от парафраз и в этом отношении преодолевал влияние Нейкирха, его переводческие принципы и опыт поэтической метафразы *AT* могли быть очень близкими и плодотворными для Тредиаковского при создании его поэмы.

[2]

AT I, 1 p. 3 (2): Sa grotte ne resonnoit plus de son chant. Les nymphes, qui la servoient, n'osoient lui parler.

Neuk. I, 1 p. 2 (5–6): Ihr kühles Grotten-werck sprang ohne Klang und Lieder:
die Nymphen schlugen nur die blöden Augen nieder.

FT I, 5–6: Tristia squalebant vocis conclavia blandae
cantibus adsuetis viduata silentia Nymphis.

Тред. I, 27–28: Недра пещеры ея ни песьнми никому не гласили,
нимфы, служебницы ей, ни слова ж не смели промолвить.

По сравнению с *FT* Нейкирх здесь ограничивается новыми поэтическими штрихами в виде двух украшающих эпитетов и легкой

парафразы. В антикизирующей новолатинской поэме, с ее утрированно-сложным порядком слов, conclavia (комнаты, покои) ближе к Grottenwerk Нейкирха, чем к «гроту» у Фенелона, а «tristia conclavia» («печальные покои»; ср. также squalebant), может быть, перекликается с Нейкирховым *kühles* Grottenwerk (у Фенелона грот остается без эпитета). Структура передачи мысли в *FT*, склонность к постоянному вводу выразительных украшающих эпитетов и поэтических описательных выражений здесь вновь свидетельствует о том, что автор новолатинской поэмы полностью владел техникой и стилистикой античного жанра.

В соответствующем отрывке Тредиаковского «недра пещеры» и «песни», стоящие во множественном числе, могут быть связаны с *FT* (в *AT* здесь – формы единственного числа). Автор «Тилемахиды» и в этой части не воспроизводит поэтических вольностей и сложной аппликации текста в строке и за ее пределами (при явлении переноса), хотя в дальнейшем он не чуждается аналогичных приемов, особенно различных типов инверсии. Как и в первом фрагменте, здесь можно заметить, что содержание переводимого отрывка *AT* Тредиаковский «переливает» в поэтические строки, достаточно равномерно следуя строкам *FT* (исключение составляют моменты избыточной амплификации, возникающие иногда в *FT*, как мы наблюдали, под влиянием поэмы Нейкирха), – и тем самым переводит, «изображая весь разум», содержащийся в каждом стихе новолатинского Анонима, и вмещая его в то же число строк при совпадении содержания колонов. <…> Вопрос об эквилинеарности в отношении Тредиаковского к *FT* (при четком отношении его к *AT* как к оригиналу и к основному источнику) – самый загадочный и тонкий в рамках рассматриваемой темы.

[3]

> *AT* I, 1 pp. 12–13 (113–114): Gardez-vous d'écouter les paroles douces et flatteuses de Calypso, qui se glisseront comme un serpens sous les fleurs. Craignez ce poison caché. Défiez-vous de vous-même, et attendez toujours mes conseils.

Там, где в *AT* было: «Остерегайся слушать сладкие и льстивые слова Калипсо, они проскользнут, как змея под цветами. Бойся этой потаенной отравы!», в русской поэме (I, 207–209):

in güldne Schalen ab, was nur der Lenz verspricht,
Pomona nur gebiehrt, das trat allhier in Glieder
mit ganzen Körben auf…

FT I, 216–219: Ex argentatis manant dulcissima vina
vasis in pateras, auro sertisque micantes.
Ver quoque quae spondet, quae dat bellaria dives
autumnus, niveis adsunt rubicunda canistris.

Тред. I, 217–220: Нектара сладше вино лилось из сребряных горнцев
в чванцы златыи, вскрай увенчаны бывши цветами.
В кошницах ягодный плод принесен, что весна обещает
и что Есень богатой рукой раздает земнородным.

В описании пира, устроенного нимфой Калипсо, у Тредиаковского выделяются несколько особенно живописных строк, которые легко принять за прямой перевод из *FT*. Вот основные результаты сопоставления этих отрывков в «Тилемахиде» и в новолатинской поэме:

I) равное число строк с общим содержанием, и достаточно ровное размещение содержания внутри этих строк;

II) «лилось» у Тредиаковского по значению, позиции и ритмической структуре (точное расположение на границе третьей и четвертой стопы, при двусложной форме) повторяет manant в *FT*;

III) «сребряные горнцы» и «чванцы златыи» ближе к согласованному определению в *FT* в сочетании ex argentatis… vasis и в группе с согласованным причастием (vasis in pateras, auro sertisque micantes), чем к несогласованным определениям в *AT*. Из различных типов сложных позиций слов в этом отрывке *FT* Тредиаковский использует чередование препозиции и постпозиции в группах с согласованными определениями («из сребряных горнцев / в чванцы златыи») и отчасти повторяет enjambement *FT* в начале второй строки (vasis in pateras = «из сосудов в чаши»; ср. у *Тред.*: «в чванцы златыи»). Заметим, что «в чванцы златыи» более точно отражает enjambement у Нейкирха (I, 1 p. 18): «…in güldne Schalen ab», где сказано при этом именно «в золотые кубки» <…>. В строках этого фрагмента у Тредиаковского используются различные типы синтаксической инверсии; заметно, однако, что этим приемом он пользуется более сдержанно, чем автор *FT*, и лишь в некоторых случаях инверсия применяется обоими поэтами при передаче одного и того же содержания;

IV) «в кошницах ягодный плод», конечно, не равен «всем плодам» в *AT* (хотя бы стилистически), но ближе к bellaria rubicunda [in] niveis canistris в *FT*;

V) строка о Есени (Осени) не воспроизводит *AT* («все плоды, которые осень распространяет на земле»), но очень близка к dives / autumnus на стыке двух последних строк отрывка *FT*. Тредиаковский здесь не повторяет enjambement, вместо «богатой осени» дает, кажется, гораздо более поэтичное «богатой рукою», а вместо «распространяет по земле» – «раздает земнородным» (отсюда и «рукою»), называя жителей Земли субстантивированным сложно-составным эпитетом в духе Гомера и Вергилия. Использование и самостоятельное введение таких эпитетов – один из излюбленных стилистических приемов Тредиаковского в «Тилемахиде»; он обращается к нему достаточно последовательно, но с большим художественным тактом. Пример подобного же использования этого традиционного для античной эпической поэзии эпитета дает Аноним *FT* уже в начале первой песни, в сочетании stirps terrigenum («потомок земнородных»; таким образом, Тредиаковский мог почерпнуть этот прием, а в данном случае – именно это слово как непосредственно из традиции античной эпической поэзии, так и из антикизирующей метафразы *FT*).

Мы уже отметили, что выделенный нами для разбора фрагмент [4] у Тредиаковского можно легко принять за прямой перевод из Анонима *FT*. В рассмотренном отрывке *FT* – несмотря на ряд его отличий от Фенелонова оригинала, которые имеются по существу в каждой из четырех строк новолатинской поэмы, – Аноним, хотя и не стремится переводить буквально, передает оригинал с такой степенью художественной адекватности, что обращение Тредиаковского к *AT* и его поэтической метафразе *сливается в один образ.* Мы не можем отрицать, что Тредиаковский переводит прежде всего французский прозаический текст Фенелона. Мы видим также, что он обращается и к *FT*. Переводить оба текста в буквальном смысле этого слова, одновременно и в одинаковой степени, он, конечно, не мог. Но, совмещая или сочетая перевод *AT* с оценкой и художественными впечатлениями от поэтической модели другого перевода, близкого его замыслу героической поэмы и идеально воплотившего такой замысел на языке и в стиле античного «протооригинала», Тредиаковский как поэт-переводчик вступает во взаимодействие с этой моделью. <…> Обращение к *FT* имело свои пределы, требовало от русского переводчика определенных ограничений. Иногда высокая степень эквилинеарности (или даже та ее степень, которая возникала в «Тилемахиде») – самый неожиданный и сложный

результат взаимодействия Тредиаковского с близкой ему поэмой латинского Анонима, с текстом-посредником, мимо которого он не мог и наверное не должен был пройти. <...>

[5]

В «Тилемахиде» (I, 520–521) престарелый Ацест обращается к Ментору:

> Царь же Ментору рек: забываю, что Граии здесь вы,
> наши враги вы, стали нам уж верные други...

В этих строках использован один из архаических этнонимов греков, характерный для римской эпической поэзии, но не представленный ни у Фенелона, ни у Нейкирха. Этот этноним не только знаком Анониму *FT*, но прямо использован им в соответствующем месте поэмы (I, 562–564):

> Iam mihi non hostes eritis, gens Graia amica
> nunc tota est, semper gens et peramica manebit.

При этом «Граии здесь вы» и «Graia amica» занимают равное место в структуре строки и в ее ритмическом рисунке, то есть этот редкий этноним входит в ту же ритмическую нишу. <...>

Использование слова «Граии» под влиянием *FT* и даже в переводе тех же строк напомнило нам о таком же исключительно точном совпадении этнонима у Тредиаковского с Анонимом *FT*:

> *Тред.* (XVIII, 183): ...а принимает тотчас в ладью молодого Пеласга.

> *FT* XVIII, 162: ...suscipit et iuvenem cymba nutante Pelasgum.

В *AT* здесь было: «и допускает наконец в ладью молодого грека». В соотношении *Тред.* XVIII, 183 и *FT* XVIII, 162 слова «Пеласга» и «Pelasgum» занимают одно и то же место в конце стиха, одинаковы в ритмическом отношении, а соответствующие строки в целом эквилинеарны, причем большинство слов в них стоит в сходных позициях. Инверсию союза (в других случаях часто используемую Тредиаковским), гипербат iuvenem... Pelasgum и украшающий эпитет к «ладье»

из латинского текста *FT* русский поэт-переводчик не повторяет. Для него здесь оказывается приемлемым и достаточным лишь один элемент: слово-этноним из античной эпической поэзии, освященное классической традицией. Вслед за Анонимом *FT*, и в данном случае – в том же месте поэмы, он использует эту традицию. Ее значение было для Тредиаковского настолько безусловным, что превозмогло его установку не перегружать текст мифологическим и ономастическим материалом.

Уже эти два примера показали, что вопрос об этнонимах греков в сопоставляемых текстах заслуживает специального внимания. Мы рассмотрели целиком десятую книгу и часть пятнадцатой (рассказ Филоктета о себе). В тексте Фенелона всюду стоит les Grecs, la Grèce. Аноним *FT* для обозначения греков употребляет несколько этнонимов, чаще всего – Graii, gens Graia, gens Graecanica, Pelasgi, Achivi, Argivi, Danai;[26] у Тредиаковского – Ахеи, Граии, Пеласги, Данаи, Эллины. Отсюда прежде всего следуют два вывода:

– Тредиаковский использует различные этнонимы греков, и ни один из них (кроме, может быть, «эллинов») нельзя рассматривать как простую передачу les Grecs Фенелона;

– при этом он опирается на римскую поэтическую традицию, воспринятую и новолатинским поэтом *FT*.

Выбирая то или иное наименование греков, Тредиаковский чаще всего не повторяет того слова, которое стоит в параллельном месте *FT*. Так, из 14 случаев использования таких этнонимов при переводе рассказа Филоктета о своей судьбе (XV-я книга) лишь три дают совпадение с соответствующими стихами латинской поэмы:

1.) *Тред.* XV, 255–266: Быв на острове Лимне, хотел показать я всем Грайям,
коль действительны суть мои лукометные стрелы

(в *FT*: Ingrediens Lemnum Graiis monstrare sagittae / quid valeant tento…).

2.) *Тред.* XV, 437–438: Я, удален от всего союзных Граиев войска,
жить довольным хощу на дивием острове Скире

(в *FT*: …longe remotus ab armis / Graiorum in Scyri deserta inculta recedo).

---

[26] В «Метаморфозах» Овидия засвидетельствованы следующие этнонимы: Graii, Graiugeni, Pelasgi, Achivi, Danai (вопрос об использования ряда этих слов и в роли существительного, и в форме определений мы не рассматриваем).

3.) *Тред.* XV, 699–700: Паче всего, о Пеласги! любите закон наблюдая:
Прочее гибнет все, Закон никогда ж умирает

(в *FT*: Relligio in primis vobis sit cara, Pelasgi, / omnia concedunt fatis, haec funera nescit).

Адресуя свою поэму русскому читателю, Тредиаковский не раскрыл ее творческой истории. Наше сопоставление показывает, что, как и предполагал Л. В. Пумпянский, Тредиаковскому действительно были «прекрасно известны западноевропейские стихотворные переводы романа Фенелона».

Сопоставление «Приключений Телемаха» с их немецкой поэтической парафразой, выполненной Нейкирхом, а также с поэмой *Fata Telemachi* – первым полным латинским переложением *AT* стихами – обнаружило прежде всего, что между авторами ранних поэтических переводов *AT* на различные европейские языки существовали творческие контакты. Так, поэма Нейкирха оказалась в определенной степени ориентиром для Анонима *FT*; но этот неизвестный автор, в отличие от немецкого переводчика, создал поэму на языке Вергилия – не только гекзаметрическую по форме, но и лежащую в русле классической традиции.

Тредиаковский в «Тилемахиде» оказался преемником и продолжателем поэтического и переводческого эксперимента, соединившим усилия как немецкого барочного поэта, так и поэта новолатинского. Связи «Тилемахиды» с «Телемахом» Нейкирха и с *Fata Telemachi* неоднородны и неоднозначны. По-видимому, опыт автора *FT* оказался для Тредиаковского особенно значительным. Русскому автору были близки и антикизирующая форма, и вергилианская стилистика поэмы. Отвергая излишние поэтические амплификации и элементы парафразы, он использовал лишь то, что органично вписывалось в передачу содержания оригинала.

С *FT* «Тилемахиду» роднят не только словесно-образные и структурно-ритмические художественные детали. Удивительное, «труднообъяснимое» сходство, которое постоянно ощущается при сопоставлении двух поэм, связано с тем, что Тредиаковский заимствует опыт размещения данного конкретного содержания в гекзаметрической строке и в колонах, составляющих единое смысловое целое.

Тредиаковский переводил французскую прозу *AT*, но переводил поистине уникальным способом – сквозь призму новолатинской поэмы, используя опыт и искусство автора *FT* в его антикизирующем во-

площении романа Фенелона, а опосредованно – и опыт Нейкирха, преломленный в *FT*.

Как представляется, эта гипотеза способна обогатить наши представления об источниках и способах антикизации в «Тилемахиде». Мы оказываемся, кроме того, как бы наблюдателями процесса создания поэмы, и на новом материале получаем возможность судить о том, как относился Тредиаковский к парафразе и метафразе, как решал проблемы структурирования содержания в гекзаметрической строке и выбора поэтической лексики. Нам будет легче воспринимать не только единство переводческого стиля в «Тилемахиде» (включая вставки), но и истоки, и самую природу этого единства.

[*Дополнение.* К источникам вставок в «Тилемахиде»]

Поскольку для Нейкирха характерен принцип парафразы и развития мотивов *AT*, мы попытались проверить, не повлияли ли парафразы в его поэме на возникновение знаменитых вставок в «Тилемахиде». Нас заинтересовали прежде всего истоки «вставки 14» (по А. А. Дерюгину) = *Тред.* III, 641–643:

Огнь восприемши в себя, разлила внутрь пламя по жилам,
и воспалила пожар в загоревшемся страстию сердце:
все побеждает любовь, ей любовью ль быть неплененной?

содержание которой названный исследователь считал реминисценцией из Сафо [fr. 31, 6; 9–10 L.–P.], соединенной со знаменитой краткой сентенцией из десятой эклоги Вергилия [v. 69].

Эта вставка связана с описанием страстной любви царя Пигмалиона к Астарте. У Нейкирха к тексту *AT* здесь прибавлены следующие строки (*Neuk.* I, 3 pp. 187 (1–2)):

Die Liebe bracht ihm nun so viel und mehr Beschwerden,
als er durch seiner Geiz, sich arm bemueht zu werden.

Этот мотив Нейкирха, в *FT* переведенный в стилистику античной поэзии, Тредиаковский сохранил, подав его в виде вольного перевода, контаминирующего различные мотивы и образы, используемые древними авторами для изображения любовного чувства. И для античного лирического воплощения темы любви, и для *FT* наиболее характерно сравнение «любить – пылать»: отсюда поэтические клише вроде «бешено пылал к подруге», «пылание страсти», «любовь жжет страшным огнем» и т. д. Выражения такого типа часты в *FT*, использует их и автор «Тилемахиды» – напр., в XV, 69, когда о любви Геракла к Деянире пишет: «паки ослаб и паки возжегся, взлюбив Дейяниру», или когда в XV, 75 говорит о «ревновании пылком», а в XV, 124 – о «любови, возженной красотою». Изображение страстной любви как огня, разливающегося по жилам, для обоих переводчиков было памятно, может быть, прежде всего благодаря началу IV книги «Энеиды» (1–2): At regina gravi iamdudum saucia cura / vulnus alit venis, et caeco carpitur igni. Однако рассматривать вставку 14 только на уровне реминисценций и их контаминации, по-видимому, не следует. За представленными здесь образами и тропами – некая цель-

ная поэтическая культура, культура метафорического осмысления действительности и духовного мира человека.

Мы попытались объяснить и происхождение в «Тилемахиде» (IV, 6) вставной строчки:

Гнездится нощь и возникшие звезды уснуть принуждают

(«вставка 16» по А. А. Дерюгину, который возводит ее к *Verg. Aen.* II, 8–9: ...et iam nox umida coelo / praecipitat suadentque cadentia sidera somnos). Подобная вставка есть, однако, и в соответствующем месте поэмы Нейкирха:

Die finstre Nacht bricht ein: die Augen sinken zu.

В этой нейкирховской строке античный источник (а именно *Aen.* II, 8–9) отражен в некоторых отношениях полнее и точнее, чем у Тредиаковского, у которого «нощь» дана без украшающего эпитета – в данном случае русский переводчик отошел и от своего немецкого предшественника, и от памятного им обоим стиха Вергилия. Правда, в «Энеиде» ночь влажная (umida), в то время как die finstre Nacht Нейкирха передает одновременно и темноту, и мягкость, и пасмурность (т. е. и влагу!) ночи. Кроме того, в этой вставке-цитате у Тредиаковского не воспринят образ ночи, «обрушивающейся с неба» (у Нейкирха он сохранен), хотя «гнездится нощь» благодаря своей образности является превосходной творческой находкой и заменой. Тредиаковский в какой-то степени сохраняет Вергилиевы «падающие звезды» (у него это «возникшие звезды») – образ, Нейкирхом утраченный. Что касается *FT* (IV, 5–6), то вергилианского мотива, использованного здесь Нейкирхом, новолатинский поэт не вводит: «Est, inquit, tempus, capias ut dulcia somni / munera».

Еще одна вставка, заинтересовавшая нас в «Тилемахиде» – № 5 по А. А. Дерюгину, к которой никакие источники текста не указаны (*Тред.* I, 556–557):

Пал так сей супостат, а из язвы кровь с паром хлыстала,
и как шар головища его разразилась о камень.

Первую из этих строк легко связать – и по содержанию, и по ритмическим группам, с соответствующим местом из первой книги *FT*:

Tunc pedibus titubat, nigrum vomit ore cruorem.

Заметим также, что «а из язвы кровь с паром хлыстала» вполне соответствует «en expirant des torrens d'un sang noir» Фенелона, – быть может, в соединении с более яркой физиологической картиной в *FT*. У Нейкирха (I, 1, p. 46 (6)): «und er das schwarze Blut von seiner Zunge bließ» («и он черную кровь выдул (!) своим языком»). Выигрышный эпитет крови «черная» Тредиаковский отстраняет как украшающий (редкий случай в его отношении к *AT*), давая выражению Фенелона более резкую, натуралистическую интерпретацию, подчеркнутую бытовой лексикой из того же стилистического ряда, что vomit в *FT* и bließ у Нейкирха.

Выявить реминисценции во второй строке Тредиаковского сложнее. Возможно, есть нечто аналогичное у Гомера; впрочем, нелишним будет указать на связь с изображением смерти Ипполита в трагедии Сенеки «Федра» (ст. 1085; 1093–96; в пер. С. Ошерова): «Ничком упал твой сын <…> / В крови все поле. Голова разбитая / Подскакивает на камнях. Терновники / Рвут волосы, кремни терзают острые / Лицо и губят ранами красу его». <…> Как видим, Тредиаковский черпает изобразительные средства из разных источников и, почти не прибегая к авторской парафразе, по-своему «расширяет» и поэтически обогащает оригинал.

Рассмотрим теперь вставку 22 (*Тред.* VI, 23):

Время ж никое загладит память в вечности вашу…

А. А. Дерюгин не без оснований сближает ее с *Aen.* IX, 447: Nulla dies umquam memori vos eximet aevo. Стоит, однако, добавить, что здесь, как и в случае со вставками 14 и 15, перед нами своеобразное преломление принципа парафразы, примененного в соответствующем месте Нейкирхом (I, 6 p. 318 (3–4)):

So lange nur mein Brust wird Athem an sich ziehn,
so lange werd' ich mich nur euer Wohl bemuehn.

Вот как откликнулся на эту вставку у Нейкирха Аноним *FT*:

Ante tui capiet sed non oblivio mentem,
quam fera fatalem Lachesis mihi neverit horam.
Fidus Ulyssiades te, donec spirat, amabit…

Содержание этих стихов, слишком далеко отодящих от оригинала, Тредиаковского не привлекает, – но общий антикизирующий стиль *FT*, без сомнения, постоянно воздействовал на русского поэта. Возможно, не вполне удовлетворенный принципом метафразы, но и не допуская для себя как переводчика самостоятельного развития мотивов, Тредиаковский позволял себе оригинальную поэтическую вольность, вкрапляя в текст переводы, подражания или контаминации из самой античной поэзии или в ее стиле. Здесь он ограничился вставкой одной строки, которую по содержанию можно сблизить или даже отождествить со строкой Вергилия.

Напоследок мы предлагаем оценить появление самой памятной для русского читателя строки-вставки № 80 (*Тред.* XVIII, 515) о псе Кербере:

Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и Лаей.

А. А. Дерюгин сопоставил ее с *Aen.* VI, 417–418:

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci
personat…

Ни в *AT* (II, 18 (127)), ни у Нейкирха (III, 18 p. 28 (9–12)) не содержится ни одного из элементов, вошедших в состав строки Тредиаковского; между тем такие эпитеты «чудища», как «огромно» и «с тризевной и Лаей» (= «и с тризевной Лаей», т. е. с тризевным лаем), точно соответствуя словам ingens и latratu trifauci, непосредственно связаны с приведенным стихом Вергилия. Но если рассмотреть вставку у Тредиаковского в полном объеме, т. е. вместе с одной предшествующей и двумя последующими строками:

И напоследок нежели тот преужасный Пес Кервер,
чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и Лаей,
из челюстей что своих кровь блюет ядовиту и смольну,
коя могла б заразить живущих всех земнородных, –

и затем сравнить это с соответствующим местом *FT* (XVIII, 642–644):

…vel Cerberus ipse,
tergemino quamvis atrum vomat ore cruorem
orbem qui posset totum incestare veneno, –

то мы сможем заметить, что «vel Cerberus ipse» и «преужасный пес Кербер» занимают в своих строках финальную позицию и одинаковую

ритмическую нишу после цезуры (две последних стопы, а перед ними – безударная часть стопы предшествующей). Кроме того, в то время как в *AT* говорится о трех глотках Кербера (trois gueules), изрыгающих кровь, Аноним *FT* вслед за Нейкирхом (ein dreifach Haupt) говорит о *тройной* глотке, откуда потоком льется черный яд; особенность контекстов в этих двух поэмах приблизила русского переводчика к реминисценции из Вергилия. Усилив характеристику «того Кервера» (лат. Cerberus ipse) эпитетом «преужасный», Тредиаковский, по-видимому, представил как неразрывные, или связанные в общей характеристике, лай пса и извергаемые им потоки ядовитой черной крови. Таким образом, он изменил (или обогатил) образ чудовища, данный Фенелоном, расширив и углубив его за счет красок, заимствованных у Вергилия.

При анализе источника вставок в «Тилемахиде» слишком часто, однако, апеллируют к «Энеиде». И поэтический словарь, и образы *AT* – но в еще большей степени *FT* и поэмы Тредиаковского, где античный колорит романа усилен, – связаны с более широкой латинской поэтической традицией. Кербер неоднократно изображается в «Метаморфозах» Овидия: то он «implevit pariter ternis latratibus auras» (*Met.* VII, 414), то «tria… extulit ora / et tres latratus semel edidit» (IV, 450–451), то пугает своим чудовищным «тройным обликом» (IX, 185: forma triplex) и, лая, забрызгивает зеленые поля белеющей пеной (VII, 415: et sparsit virides spumis albentibus agros).

Изображения Кербера в эпических поэмах Вергилия и Овидия равно могли вызвать к жизни те дополнительные краски, которыми Тредиаковский дорисовал мифологических чудовищ (Химера, Лернейская гидра, «и напоследок … тот преужасный пес Кервер»), которые символизировали для него высшую степень отвращения к порокам «злых царей», заслуживших наказание в Тартаре.

Соединение мотивов «тройного лая» Кербера и распространяемого им гибельного для людей ядовитого потока у Тредиаковского, как нам кажется, восходит более всего к Овидию, т. е. tergemino ore в *FT* – лишь повод (больше, чем ein dreifach Haupt у Нейкирха) к вовлечению в русскую поэтическую метафразу целой системы античных эпических реминисценций.[27]

[27] По всей видимости, в числе источников «чудища обла» следует называть и знаменитое monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum (*Aen.* III, 658 – о Полифеме), определившее композицию строки Тредиаковского; этому стиху Вергилия автор «Тилемахиды» прямо подражает в XVIII, 31 (вставка № 79 по Дерюгину): «дивище мозгло, мослисто, и глухо, и немо, и слепо». – *Публ.*

Приложение

Перечень мест, сопоставляемых в полном варианте работы Н.Д. Численко и опущенных в настоящей публикации:

AT	*Neuk.*	*FT*	*Тред.*
I. 1. pp. 3–4 (3–8)	I. 1 p. 2 (7–8); 3 (1–4)	I. 7–14	I. 29 –33
I, 1 p. 4 (9–12)	I. 1 p. 3 (5–8)	I. 15–18	I. 34–37
I. 1 p. 5 (13–23)	I. 1 p. 4 (1–12)	I. 19–29	I. 38–46
I. 1 p. 5 (27–30)	I, 1 p. 5 (5–12); 6 (1–3)	I. 40–49	I. 51–59
		I. 50–57	I, 65–70
		I. 57–67	I. 70–78
		I. 68–75	I, 79–87
		I. 76–84	I. 88–98
I, 1 pp. 7–8 (49–57)	I. 1 p. 8 (9–14); p. 9 (1–9)	I. 85–95	I. 100–111
I, 1 p. 8 (58–63)	I. 1 p. 9 (9–160); p. 10 (1–8)	I. 96–108	I. 112–122
		I, 112–123	I, 125–140
		I, 149–162	I, 163–172
I, 1 pp. 26–27 (292–297)	I. 1 p. 45 (11–16); p. 46 (1–6)	I, 597–610	I, 597–604
		XIV, 141–152	XIV, 153–164
		XIV, 189–203	XIV, 201–217
II, 14, p. 43 (130–134)		XIV, 388–394	XIV, 422–429
II, 14, p. 43 (135–136)		XIV, 395–399	XIV, 430–436
II. 14, pp. 43–44 (137–139)		XIV, 400–410	XIV, 437–451
		XV, 7	XV, 5–6
		XV. 8–9	XV, 8–9
		XV, 228	XV, 260
II. 15 p. 68 (130–131)		XV, 467–468	XV. 540
II, 15, p. 68 (132)		XV, 469	XV, 541
		XV, 475–476	XV, 539
I, 18, p. 122 (1–2)		XVIII, 1–7	XVIII, 1–9
II, 18 pp. 122–123 (3–7)		XVIII, 8–22	XVIII, 10–30
		XVIII, 23–37	XVIII, 31–49
II, 18 pp. 127–128 (36–37)		XVIII, 150–162	XVIII, 170–183
		XVIII, 163–181	XVIII, 185–205
		XVIII, 269–278	XVIII, 269–278
		XVIII, 303–312	XVIII, 335–347
II, 23, p. 265 (178–181)		XXIII, 508–513	XXIII, 591–596
II, 24 p. 267 (1–4)		XXIV, 1–8	XXIV, 1–7
		XXIV, 9–17	XXIV, 8–19
		XXIV, 607–618	XXIV, 676–686
II. 24, pp. 289–290 (168)		XXIV, 619–625	XXIV, 687–693
		XXIV, 626–637	XXIV, 693–708
		XXIV, 638–649	XXIV, 709–721
		XXIV, 650–660	XXIV. 721–722; 727–734
		XXIV, 661–675	XXIV, 735–753
		XXIV, 813–819	XXIV, 811–819
		XXIV, 820–827	XXIV, 822–829

В. В. Зельченко

MORERE, DIONYSI

«Умри, Денис, лучше не напишешь!» Именно в этой версии (одной из наиболее сжатых) легендарное восклицание Потемкина на премьере «Недоросля» вошло в современный речевой обиход. Brevis esse laboro, obscurus fio; так, комментаторы полного собрания сочинений Белинского, судя по обмолвке «...*а* лучше не напишешь», понимают «умри» в уступительном смысле (т. е. «хоть умри»).[1] Между тем по мере приближения к истокам традиции – восходящей, в конечном счете, к изустным преданиям современников – потемкинский афоризм становится пространнее, но зато и яснее. Вот как цитирует его И. А. Дмитревский – бенефициант премьерного спектакля «Недоросля», игравший Стародума: «Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно будет по этой одной пиесе».[2]

---

[1] *В. Г. Белинский.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М. 1959, 480. Примером (пусть и менее значительного) смыслового сдвига может служить и редакционный перевод герценовского «Von Viesen, meurs maintenant!» (Nouvelle phase de la littérature russe // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. М. 1959, 129; 178): «Фонвизин, теперь умри!» (вместо правильного «...умри *теперь*»).

[2] Друг просвещения № 9 (1805), 250 (в статье о Фонвизине из «Словаря русских светских писателей» митрополита Евгения). В последующих отдельных изданиях Словаря – как в интерполированном снегиревском (1838), так и в аутентичном погодинском (1845) – эта фраза уже подверглась пояснительной редактуре: «Умри *теперь*, Денис, или *хоть* больше etc.» Заслуживает внимания и сверхлаконичная версия С. Н. Глинки: «„*Умри, Денис!*“ (То есть не пиши более. Недоросль тебя увенчал)» (Русский вестник 8 (1808), 264), позволяющая предполагать, что и в исходном тексте Дмитревского потемкинские слова объединены со схолием.

В разноголосице двадцати с лишним вариантов речения, появившихся на протяжении XIX в. (их разбору посвящена специальная работа В. Б. Катаева),[3] неизменным остается только знаменитый зачин; окончательную роль в становлении фразеологизма, по мнению того же исследователя, сыграло словоупотребление Чехова.[4]

До сих пор не было отмечено, что остроумие Потемкина питал античный источник. В «Тускуланских беседах» Цицерона (I, 110–111) читаем: «Non enim tam cumulus bonorum iucundus esse potest quam molesta decessio. Hanc sententiam significare videtur Laconis illa vox, qui, cum Rhodius Diagoras, Olympionices nobilis, uno die duos suos filios victores Olympiae vidisset, accessit ad senem et gratulatus *morere Diagora*, inquit, *non enim in caelum ascensurus es*»[5] (ср. *Plut. Pelop.* 34, 397 b: κάτθανε, Διαγόρα· οὐκ εἰς τὸν Ὄλυμπον ἀναβήσῃ).[6]

Это наблюдение, на наш взгляд, не стоит использовать как аргумент в пользу апокрифичности потемкинского mot:[7] *morere Diagora* во все времена служило ходовым школьным примером того, что есть истинная слава, а у самого фельдмаршала (не забудем – соученика Фонвизина по Московской университетской гимназии) бывали шутки и поизящнее, чем увековеченное Пушкиным «Любезный друг, коль тебе досуг...» Интересно отметить, что тени Плутарха и Цицерона витали над этой фразой во все время ее бытования: как видим, «версия-победительница» оказалась в то же время и наиболее близкой к античному оригиналу.

---

[3] *В. Б. Катаев.* Умри, Денис // Русская речь № 2 (1969), 23–29.

[4] Отметим в этой связи и неучтенное Катаевым «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь» Достоевского (Зимние заметки о летних впечатлениях // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л. 1973 . 55).

[5] «Ведь умножение благ никогда не бывает столь же приятным, сколь тягостно их убывание. Судя по всему, именно эту мысль подразумевает знаменитое изречение спартанца, который, после того как двое сыновей знатного олимпионика Диагора в один и тот же день на глазах у отца одержали победы в Олимпии, подошел к старику и поздравил его со словами: „Умри, Диагор, ведь на небо тебе не взойти“».

[6] «Умри, Диагор: на Олимп не взойдешь». См.: *А. И. Зайцев.* Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. Л. 1985, 104. У Авла Геллия (III, 15, 3), не упоминающего о реплике спартанца, Диагор и вправду умирает – от счастья – прямо на стадионе.

[7] *Г. А. Гуковский.* Русская литература XVIII века. М. 1938, 335, прим. 1; *П. Н. Берков.* Театр Фонвизина и русская культура // Русские классики и театр. М.; Л. 1947, 86–87. В день премьеры «Недоросля» Потемкина не было в столице.

Ю. В. Андреев

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ХРИСТОМ И ДИОНИСОМ

Вячеслав Иванов как исследователь и истолкователь греческой религии*

Давно уже всеми признано, что наследие античной эпохи сыграло чрезвычайно важную роль в формировании русской культуры Серебряного века. Столь характерный для русской интеллигенции начала истекающего столетия комплекс идей и настроений, соединявший рафинированный эстетизм с болезненным переживанием катастрофичности своего времени и эсхатологическими предчувствиями, а пассеистическое бегство от действительности – с тревожными прозрениями неумолимо надвигающегося революционного будущего, как нельзя более ярко и наглядно воплотился в античных реминисценциях, пронизывающих мышление и творчество многих замечательных художников, архитекторов, поэтов и философов этого периода. В их восприятии образ клонящегося к упадку и гибели, но все еще прекрасного античного мира отчетливо ассоциировался с печальным зрелищем уходящей в прошлое

---

* Материалы о Ю. В. Андрееве см. в настоящем выпуске альманаха, в разделе *Personalia*. Первая версия работы о Вяч. Иванове, представлявшая собой отклик на переиздание «Диониса и прадионисийства», была опубликована в газете «Коммерсантъ-Daily» от 22 апреля 1995 г.; второй, расширенный вариант увидел свет в сборнике «Культурное наследие российского государства» (СПб. 1998, 119–126). Публикуемый ниже текст был вновь просмотрен и существенно дополнен Ю. В. незадолго до смерти. – *Ред.*

старой России или, если брать шире, всей старой Европы. Среди выдающихся деятелей Серебряного века, в разное время и, конечно, в разных масштабах и формах отдавших дань увлечению античной тематикой, мы можем назвать такие имена, как Владимир Соловьев, Василий Розанов, Николай Бердяев, Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский, Александр Блок, Лев Бакст, Валентин Серов, Иван Фомин и многие другие. Одно из центральных мест в этом длинном перечне мыслителей, поэтов и художников по праву принадлежит Вячеславу Иванову, человеку, по уровню одаренности и разносторонности своих дарований сравнимому разве что с так называемыми «титанами эпохи Возрождения».

Можно долго перечислять многообразные ипостаси, увлечения и виды этого Протея, который зарекомендовал себя и как один из самых блестящих поэтов в великолепной плеяде русских лириков предреволюционных десятилетий, и как признанный мэтр, практик и теоретик русского символизма, как человек необыкновенной, разносторонней учености, великий знаток и ценитель античной литературы, талантливый переводчик греческих поэтов и трудолюбивый исследователь греческой религии, наконец, как глубокий и оригинальный философ-мистик, «мистагог» и «теург», как полушутя-полусерьезно именовали его современники.[1]

Иванов вошел в историю русского мистицизма как один из самых вдохновенных и последовательных проповедников идей «нового дионисийства», впервые провозглашенных великим немецким мыслителем Фр. Ницше. В 1900-е годы увлечение ницшеанством и соответственно дионисийством в русском образованном обществе стало почти повальным. Как известно, этой формой духовной эпидемии «переболели» многие часто очень не похожие друг на друга по складу ума и характера люди.[2] Но в отличие от профанов, лишь поверхностно усвоивших азы ницшеанского учения, Иванов глубоко врос в проблематику дионисийства. Для него она стала импульсом к напряженным духовным поискам, которые в конце концов вылились в планомерную, весьма основательную и серьезную исследовательскую работу. Дионисийской теме он посвятил целый цикл своих стихотворных произведений,

---

[1] См.: *Вяч. Иванов.* Родное и вселенское. М. 1994; *Он же.* Лик и личины России. М. 1995; *Л. Иванова.* Воспоминания: Книга об отце. М. 1992.

[2] *А. Эткинд.* Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб. 1993, 57 сл; *Он же.* Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М. 1996, 231 слл.

философских эссе, лекций и ученых трактатов. Главным итогом всего этого продолжавшегося в общей сложности около двадцати лет служения загадочному древнему божеству может считаться книга «Дионис и прадионисийство», впервые увидевшая свет уже после революции в 1923 г. в городе Баку, куда судьба забросила Иванова, прежде чем он окончательно покинул свое отечество. Изданная очень небольшим тиражом, эта книга почти сразу же стала библиографической редкостью. А потом о ней вообще забыли: по-другому в те времена и быть не могло. И сам автор, оказавшийся в эмиграции, и его главный научный труд автоматически попадали в черный список книг, запрещенных к употреблению в Советской России. И даже те немногие лица, которые знали о существовании этого интереснейшего сочинения и могли так или иначе с ним ознакомиться, не решались ни ссылаться на него, ни даже о нем упоминать. Впрочем, и на Западе религиеведческие изыскания Иванова остались практически неизвестными широкому кругу специалистов, ибо издать свой труд в переводе на один из европейских языков он так и не сумел.

Лишь теперь, после длительного периода забвения и, что еще хуже, вполне сознательного замалчивания эта книга выдающегося русского ученого и мыслителя вновь возвращается к нам вместе с его стихами и литературно-философскими эссе. Три года назад (в 1994 г.) петербургское издательство «Алетейя» осуществило второе издание «Диониса и прадионисийства», включив в тот же том некоторые другие тематически связанные с книгой работы Иванова,[3] и теперь мы наконец имеем возможность по достоинству оценить все своеобразие, глубину и масштабность его исследовательской и теоретической мысли.[4]

Центральная тема книги, как об этом ясно сказано уже в предисловии,[5] – происхождение так называемой «Дионисовой религии», которую автор вслед за Ницше и некоторыми другими своими предшественниками резко обособляет и даже противопоставляет олимпийской религии древних греков. Решение этой чрезвычайно сложной научной проблемы Вяч. Иванов нашел в феномене, обозначаемом – конечно, в достаточной

---

[3] *Вяч. Иванов.* Дионис и прадионисийство. СПб. 1994.

[4] В своих суждениях о научном наследии Вяч. Иванова мы многим обязаны небольшой, но очень содержательной статье Н. В. Брагинской «Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова», опубликованной уже около десяти лет тому назад, еще до появления второго издания «Диониса и прадионисийства», в сборнике «Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках» (М. 1988), хотя в некоторых принципиальных вопросах наши взгляды на это сочинение сильно расходятся.

[5] *Вяч. Иванов.* Дионис и прадионисийство, 12.

степени условно – придуманным им термином «прадионисийство». Согласно его концепции, религия Диониса в ее известной нам классической эллинской форме вырастает из некоего аморфного конгломерата по преимуществу негреческих или еще догреческих верований и культов, достаточно многообразных и разнородных, но в то же время во многом сходных между собой и, по крайней мере типологически, если не генетически, родственных друг другу. Все эти культы были по основной своей природе, во-первых, оргиастическими, во-вторых, хтоническими и, в-третьих, матриархальными. Хотя этот последний термин Иванов почти нигде не употребляет, лидирующая роль женщины в прадионисийской обрядности очерчена им достаточно выпукло.

Главными очагами прадионисийства были, в понимании Иванова, с одной стороны, Фракия, с которой он связывает «материковую, горную», по его определению, версию этого феномена (гл. VI), и, с другой стороны, Малая Азия, или ареал хеттской культуры, который он объединяет с островами Эгейского моря и, в первую очередь, с Критом («островная, морская» версия прадионисийства – гл. VII). Кроме этих основных элементов, в постулируемой Ивановым сложной «химической реакции», породившей дионисийскую религию, могли участвовать, согласно его догадкам, и какие-то флюиды индийского и египетского происхождения и, наконец, некоторые исконно эллинские и, стало быть, исконно арийские формы религиозной обрядности, к каковым он относит, например, культ героев, различные виды поминовения мертвых, аттический праздник Анфестерий и т. п.[6] Но главным вкладом собственно эллинского духа в религию Диониса, благодаря которому она в конце концов смогла оторваться от материнского лона прадионисийства и подняться на более высокий уровень религиозного сознания, была, в понимании Иванова, идея катарсиса, т. е. ритуального очищения от скверны хтонической обрядности с ее оргиями, страстями, заклинаниями мертвых и т. д. Именно катарсис как «обязательный коррелят первобытного пафоса» облагородил первоначальное прадионисийство и сделал его настоящим дионисийством. Катарсис позволил преодолеть разрыв, существовавший между аристократической олимпийской религией и хтоническими народными верованиями, и примирил оба эти духовные начала, соединив их в грандиозном синтетическом образе Диониса, «бога небесного и подземного вместе, являющегося одновременно и вдохновителем пафоса, и его разрешителем».[7]

[6] Там же, 289 слл.

[7] Там же, 291.

Подобно своему главному герою, сам Иванов также предстает перед нами как великий примиритель и разрешитель противоречий. В сущности, вся его книга была попыткой синтеза множества противоречивых мнений о происхождении и природе дионисийской религии, уже существовавших в то время в европейской науке. Будучи человеком колоссальной учености и поистине феноменальной эрудиции, Иванов аккумулировал в своем сознании всю эту разноголосицу суждений и оценок и попытался привести ее к некоему консенсусу, примирив между собой тогдашние светила науки: Бахофена, Маннхардта, Роде, английских ученых так называемой Кембриджской школы, – и приправив весь этот «коктейль» идеями Ницше, с которым у него, впрочем, были особые счеты. Конечно, можно было бы на этом основании упрекнуть автора «Диониса и прадионисийства» в известного рода всеядности, эклектизме и компилятивности. Мы видим, однако, в этой счастливой способности Иванова соединять вещи, казалось бы, несоединимые прежде всего замечательный талант к синтезу и организации научного процесса – тем более что результатом его усилий стала по-настоящему оригинальная и при этом удивительно стройная и красивая концепция, вполне прозрачная и непротиворечивая в своих основных положениях, что, впрочем, не исключает определенной наивности и старомодности многих составляющих ее суждений.

Конечно, для того, чтобы оценить по достоинству логическую стройность и даже изящество этой концепции, нужно вначале приноровиться к нарочитой архаичности и тяжеловесности авторского слога, к той знаменитой ивановской витиеватости, которая требует от читателя его книги известных усилий, а подчас и весьма напряженной умственной работы. Вот лишь один выхваченный наугад образчик его стиля и образа мыслей из статьи «Ницше и Дионис»: «Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением и исчезновением Ничто мира. Бога страдающего извечная жертва и восстание вечное – такова религиозная идея Дионисова оргиазма».[8]

Как говорится, ex ungue leonem… Автор редакционного предисловия к новому изданию «Диониса и прадионисийства», на наш взгляд, слегка лукавит, пытаясь уверить нас, что эта книга будто бы гостеприимно распахнута навстречу читателю. На самом деле прогулка по са-

[8] Там же, 312.

дам «Вячеслава Великолепного», как не без доли иронии называл Иванова Лев Шестов, не обещает быть ни легкой, ни особенно приятной. Наши любители мистики и оккультных наук, избалованные общедоступной литературой вроде сочинений мадам Блаватской, вряд ли сумеют продраться сквозь дебри ивановской учености. Как и в былые времена, Иванов остается писателем для избранных.

И все же нам остается лишь сожалеть о том, что этот замечательный труд русского поэта и мыслителя пришел к нам так поздно, что он не нашел своего читателя ни у нас в стране, ни за рубежом еще в то время, когда впервые увидел свет – в 20-е годы, и по существу надолго выпал из процесса развития мировой научной мысли. А между тем, если бы судьба была к ним более благосклонна, идеи Иванова, несомненно, смогли бы существенно обогатить и оплодотворить этот процесс. По широте охвата одной из самых фундаментальных проблем в истории греческой религии и по глубине проникновения в ее сокровенную суть его концепция нередко выгодно отличается не только от работ предшественников, но и от многого, написанного на эту же тему уже в гораздо более поздние времена. Нам думается, что у Вяч. Иванова могли бы многому поучиться даже такие крупнейшие авторитеты современного религиеведения, как Э. Доддс, М. Элиаде, К. Кереньи, В. Буркерт и др.

Его давние прозрения часто подтверждаются свидетельствами источников, о которых в его время никто еще не мог и помыслить. Так, например, его интерпретация критского мифа о Дионисе-Загрее и связанного с ним ритуала омофагии (сыроядения) не так давно получила сенсационное подтверждение при раскопках одного из домов минойского Кносса, в котором английские археологи обнаружили следы жертвенной трапезы, ясно указывающими на некогда бытовавший здесь обычай ритуального каннибализма.[9] Многие типичные черты и особенности впервые открытого Ивановым прадионисийства теперь более или менее надежно документированы, с одной стороны, огромным археологическим материалом, добытым при раскопках так называемых «минойских peak-sanctuaries», святилища в Айя Ирини на Кеосе, где почитание Диониса уходит своими корнями в глубины бронзового века, других культовых центров и некрополей Крита, островной и материковой Греции (по Иванову – островной, или морской, очаг прадионисийства).[10]

---

[9] *P. Warren.* Minoan Crete and Ecstatic Religion // Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age / Ed. by R. Hägg and N. Marinatos. Stockholm 1981, 155–166.

[10] См.: *P. Warren.* Op. cit.; *W. Burkert.* Greek Religion. Cambridge, Mass. 1985, ch.1; 3.

Подтверждаются они, с другой стороны, и еще более ранними, восходящими к эпохе неолита и энеолита памятниками религиозных верований и культовой практики населения северо-балканского и придунайского ареалов (фракийский очаг прадионисийства). Эта вторая группа источников была в сравнительно недавнее время блестяще систематизирована и осмыслена в двух больших книгах покойной М. Гимбутас.[11]

Впрочем, даже и в главной своей научной работе Вяч. Иванов сумел сохранить верность своему основному призванию и остаться поэтом и мистиком, творцом новых мифов, а не только интерпретатором старых. Как верно заметила Н. В. Брагинская, только на первый взгляд «Дионис и прадионисийство» – «тяжеловесная профессорская книга, создание небывалого для наших широт эрудита, где многознание кажется гарантом научной корректности. Однако история у Иванова нормативна, и литературоведение его профетическое».[12] Действительно, при всей его гелертерской фундаментальности, при неоспоримой добросовестности основных логических построений и выводов это сочинение несет на себе ясно выраженный отпечаток своей эпохи, духовной атмосферы русского Серебряного века и, что особенно важно, не лишено известного рода идейной провокационности, к которой автор книги, по свидетельствам хорошо знавших его людей, был весьма склонен не только в своей литературной деятельности, но и в каждодневном общении. Правда, в самом тексте «Диониса и прадионисийства» Иванов постарался по возможности заглушить основную идейную направленность своего труда, завуалировать его историософский и вместе с тем теософский смысл и пафос. Как-никак книга была опубликована под бдительным оком марксистской цензуры и к тому же предназначалась к защите в качестве докторской диссертации в советском университете города Баку. Гораздо более откровенно истинные намерения российского «мистагога» были выражены в уже упоминавшейся серии статей и лекций, предшествовавших книге 1923 года и написанных в основном до революции.

Тем не менее также и в этой свой работе Иванов сумел достаточно ясно выразить всегда чрезвычайно занимавшую его мысль о связи дионисийства с христианством. Уже в Предисловии он как бы вскользь замечает, что именно религия Диониса «первая в эллинстве определила своим направлением водосклон, неудержимо стремивший с тех пор

[11] *M. Gimbutas.* The Gods and Goddesses of Old Europe. London 1974; *Eadem* The Civilisation of the Goddess: The World of Old Europe. San Francisco 1991.

[12] *Н. В. Брагинская.* Указ. соч., 297.

все религиозное творчество к последнему выводу – христианства».[13] И подводя итог своим размышлениям о метаморфозах дионисийства, сохранявшего при всех своих трансформациях в классической греческой трагедии и в позднейших эллинистических мистериях верность основной идее страдающего, умирающего и воскресающего бога, Иванов завершает книгу непреложной констатацией: «Так эллинский мир создает почву для христианства, которое уже в самой колыбели своей, какою была Галилея языческая (*Ис.* 9: 1; *Мф.* 4: 15), кажется проникнутым символикой и пафосом дионисийства».[14] Таким образом, следуя авторской логике, мы должны шаг за шагом приближаться к парадоксальному выводу. Оказывается, при всей своей первобытной дикости, разнузданной стихийности и подчас отталкивающей жестокости религия Диониса была в сущности не чем иным, как, говоря словами самого Иванова, «евангельским приуготовлением», или своего рода христианством до христианства, христианством язычников.[15]

Как относиться к этой на первый взгляд довольно-таки дерзкой и даже повергающей в шок идее? Разумеется, с точки зрения ортодоксальной христианской церкви – как восточной, так и западной в равной мере – эта попытка сближения Христа с одним из самых отвратительных и непристойных языческих богов может оцениваться только как опасная ересь. Как известно, апологеты раннего христианства выделяли Диониса среди всего сонма олимпийских богов как прямой прообраз Дьявола или даже как одно из его воплощений. В одной из ранних своих работ Иванов объяснял эти нападки именно сходством Диониса с Христом и возникшей на этой основе у первохристиан «боязнью соперничества».[16] С точки зрения строго научной в концепции Иванова несомненно присутствует определенное рациональное зерно. На сходство евангельского Иисуса с древними страдающими богами типа греческого Диониса, малоазийского Аттиса, египетского Озириса указывали многие исследователи древнейших религий Востока и античного мира, включая автора знаменитой «Золотой ветви» Дж. Фрэзера. Некоторые из основополагающих постулатов христианского вероучения обнаруживаются в учении орфиков, представляющем собой

[13] *Вяч. Иванов.* Дионис и прадионисийство, 11.

[14] Там же, 292.

[15] Именно поэтому резкая критика христианского вероучения в некоторых поздних сочинениях Ницше была воспринята Ивановым как измена Дионису (см. его статью «Ницше и Дионис» в том же издании «Диониса и прадионисийства»).

[16] *Вяч. Иванов.* Религия Диониса: Ее происхождение и влияние // Вопросы жизни № 6–7 (1905), 134–135.

своеобразную теологию дионисийства. Здесь мы находим и весьма решительное противопоставление тела и души как тленной и нетленной частей человеческой личности, и мысль о исконной греховности каждого человека, и надежду на спасение души в мире ином, а вместе с ней и бога-спасителя, своей смертью открывшего людям путь к вечному блаженству, и веру в загробное воздаяние, и идеал чистой и непорочной жизни, ведущей к духовному обновлению. Не раз уже высказывались догадки о том, что все эти идеи орфиков и близких к ним пифагорейцев, восходящие, по всей видимости, еще к VI–V вв. до н. э., могли прямо или через ряд промежуточных инстанций дойти до ранних христиан и оказать определенное влияние на их настроения и образ мыслей.[17] Сам Иванов нашел в евангельских текстах ряд довольно близких параллелей с дионисийской обрядностью и мифологией.[18]

И все же сходство еще не есть тождество. Серьезный историк религии не может не видеть наряду с некоторыми общими чертами также и глубочайшего различия между дионисийством и христианством. Укажем лишь на некоторые принципиально важные моменты, которые Иванов то ли просто упустил из виду, то ли вполне сознательно обошел стороной. Культ Диониса, как и все почти древнейшие религии, вырос из обожествления стихийных сил живой природы и сохранял с ней неразрывную связь вплоть до конца античной эпохи. Христианство, напротив, возникло в обществе, уже осознавшем свою внеположность и даже противоположность миру природы, и, видимо, именно по этой причине с самого начала с высокомерным презрением взирало на этот «тварный мир», не желая иметь с ним ничего общего. Религия Диониса при всем ее своеобразии на протяжении своей более чем тысячелетней истории в целом мирно сосуществовала с другими формами богопочитания, не претендуя на какую-то исключительность или духовной монополизм; христианство с самого момента своего возникновения провозглашает себя «единственной религией истинного бога» и вступает в яростную борьбу на уничтожение со всеми иными, «ложными» богами, стремясь к безраздельному контролю и абсолютной власти над душами миллионов людей.

Дионисийство как сложный сплав очень древних, во многом, вероятно, еще догреческих культов стоит у самых истоков античной цивилизации, на становление и развитие которой оно оказало самое непосредственное влияние (вспомним хотя бы ту бесспорно важную роль,

---

[17] *W. Burkert.* Op. cit., 304.

[18] *Вяч. Иванов.* Религия Диониса..., 136.

которую дионисийские культы сыграли в формировании греческого театра). Христианство, со своей стороны, может быть с полным основанием признано продуктом разложения и перерождения этой цивилизации. Начиная с первых своих шагов, оно становится в решительную оппозицию ко всему миру греко-римской культуры и как бы отсекает его от себя, объявляя «порождением и царством Сатаны». С этим связано и еще одно важное различие между этими двумя религиями. В то время как религия Диониса в ее классической форме была, как справедливо полагал сам Иванов, своего рода квинтэссенцией эллинского духа или, во всяком случае, одним из наиболее ярких его проявлений, христианство зародилось и выросло в совсем иной этно-культурной среде и до сих пор еще несет на себе неизгладимую печать кровного родства с ветхозаветным иудаизмом.

Можно вспомнить и о некоторых других принципиальных расхождениях между дионисийством и христианством, например, о полной внеисторичности или даже антиисторичности первого и глубокой погруженности в историю второго. В то время как христианство вело отсчет истории человечества от грандиозного, но вполне конкретного события – рождения Христа и Откровения, дионисийство, подобно всем дохристианским религиям, знало лишь циклы «вечного возвращения» одних и тех же мифологических архетипов.

И наконец, еще одно достаточно существенное различие: в то время как христианство уже с самых первых своих шагов сознательно и планомерно подталкивало человека к аскетизму и умерщвлению плоти, подавляя в нем заложенные природой инстинкты и страсти, и в первую очередь его сексуальность, дионисийство, наоборот, давало этим инстинктам, так сказать, божественную санкцию, превращая в таинство и своего рода служение божеству самое разнузданное буйство плоти.

Мимо этого последнего несовпадения и даже прямого антагонизма между Христом и Дионисом Иванов, конечно, пройти не мог (слишком уж он бросался в глаза), но постарался на свой лад его переосмыслить и, по возможности, если не совсем снять, то хотя бы как-то сгладить, хотя сглаживание это было довольно своеобразным. Сам Иванов неоднократно признавал и даже подчеркивал, что исходным и определяющим импульсом, вызвавшим к жизни дионисийские оргии, был половой инстинкт. Так, в своей книге (с. 273 нового издания) он замечает, что обрядовое действо этого рода было само по себе бесцельно, «поскольку оно непосредственно воплощает состояния и импульсы исступления, коренящиеся, в последнем счете, в половом сознании и в древнейших отношениях полов». Логически развивая этот важный

тезис, мы неизбежно приходим к очевидно дикому и кощунственному для верующего христианина выводу о том, что и христианство через дионисийство в глубочайших своих истоках восходит вовсе не к божественному откровению, а к сексуальному исступлению неистовствующих менад. Сам Иванов, правда, нигде этот опасный вывод не декларирует, не решаясь поставить точку над i. Но в том, что его интеллектуальной отваги и дерзости вполне хватило бы на такого рода поправки к христианскому вероучению, сомневаться не приходится.

Здесь уместно будет напомнить о том, что Иванов вместе с Мережковским, Розановым, Брюсовым, Сологубом и некоторыми другими хорошо известными представителями культуры Серебряного века стоял в центре своего рода сексуальной революции, провозгласившей раскрепощение и даже обожествление плоти и установившей культ Эроса. Пристальный, а иногда и определенно болезненный интерес к проблеме пола, ко всевозможным, в том числе и извращенным проявлениям сексуальности настоящим лейтмотивом проходит через всю поэзию, художественную и философскую прозу, наконец, через искусство этой эпохи. При этом уже достаточно рано, например, в сочинениях Владимира Соловьева, оправданно считающегося духовным отцом если не всех, то многих представителей этой славной плеяды поэтов и мыслителей, становится очевидной тенденция к прямому сближению, более того – слиянию эротики с философией, этикой и даже религией. Тот же Вяч. Иванов писал в одной из своих статей девятисотых годов: «В строе новой души этика является эротикой <…> Алчущая любовь – вот первооснова нашей религиозности».[19]

Похоже, что именно этот столь важный для него тезис Иванов и пытался обосновать и развить в серии своих работ, посвященных дионисийству. Именно с его «легкой руки» сам этот термин и в литературе, и в обиходной речи того времени стал своеобразным эвфемизмом, обозначающим в первую очередь сексуальную свободу и даже распущенность. При этом он явно был не прочь раздвинуть слишком тесные для его идей рамки христианской ортодоксии и, оставаясь формально в лоне православной церкви (впрочем, впоследствии, уже в эмиграции, им покинутой), готовил против нее опаснейшую идеологическую диверсию.

Конечно, и для самого Иванова, и для некоторых его друзей-соперников вроде уже упоминавшегося Мережковского эта цель была

[19] Цит. по кн.: *А. Эткинд.* Содом и Психея, 231.

не главной, и уж во всяком случае далеко не единственной. Литературное и житейское позерство и наигрыш, столь характерные для этой части русской интеллигенции, их любовь к эпатажу черни, толпившейся у подножия их «башни из слоновой кости», судя по ряду признаков, переплетались в их душе с искренней озабоченностью и болью за судьбу мировой культуры в сгущающихся сумерках предвоенной и предреволюционной эпохи.

В русской религиозно-философской литературе рубежа веков одной из проблем первостепенной важности становится вопрос о преодолении почти двухтысячелетнего разрыва между двумя главными полюсами этой культуры – христианством как по преимуществу царством духа и античностью как царством обожествленной плоти. Вяч. Иванов, судя по целому ряду его высказываний, был весьма озабочен поисками решения этой проблемы, и именно эта озабоченность, по всей видимости, подтолкнула его к дерзкой попытке сопряжения Христа с Дионисом, ради которой ему пришлось пустить в ход все свое философское и филологическое высокомудрие.

В конце концов такое сопряжение действительно произошло, хотя проповедь «дионисийствующего Иванова» не сыграла при этом сколько-нибудь заметной роли. Мечта «русского теурга» наконец осуществилась, правда, в сильно окарикатуренном виде. И в наши дни мы можем наблюдать, как выхолощенное христианство и выморочное дионисийство, окончательно лишившееся своего мистического ореола в лоне современной массовой культуры, мирно уживаются друг с другом в едином культурном пространстве постиндустриальной цивилизации. И все же, несмотря на то, что книга Иванова утратила свою идейную актуальность задолго до своего нового выхода в свет, она, безусловно, сохранила историко-культурную ценность как один из интереснейших памятников русской религиозно-философской мысли первых десятилетий XX века.

LITTERAE ELEGANTIORES



Ф. Ф. Зелинский

JUVENILIA

Публикуем четыре юношеских стихотворения Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944), написанные в годы его университетских занятий в Лейпциге, Мюнхене и Вене (1876–1883) и последующего путешествия по Италии и Греции. Рукописный сборник стихов Зелинского Juvenilia *погиб при пожаре его варшавской квартиры в 1939 г.; перебравшись в Германию к сыну Феликсу, Зелинский восстановил текст по памяти.*

Эти ранние опыты свидетельствуют не только о культурном космополитизме ученого (см. стихотворение М. фон Альбрехта в этом выпуске Альманаха), но и проливают дополнительный свет на деятельность Зелинского как поэта-переводчика; эта часть его наследия предстает теперь, как нам кажется, более органичной.

*Наша публикация основана на машинописной копии с послесловием и примечаниями Ф. Ф. Зелинского-младшего, сохранившейся в архиве Я. М. Боровского (*Bibliotheca Classica Petropolitana*). Обрамляют подборку два шуточных послания, написанные горацианскими размерами и посвященные друзьям юности Зелинского, впоследствии известным филологам – Отто Крузиусу и Адольфу Израилевичу Сонни; биографические реалии, на которые намекает Зелинский в этих стихах, разъяснены в комментариях Феликса Фаддеевича. Так, Крузиус жарким летом 1881 г. готовился к государственному экзамену в Дрездене (*Königsstadt *у Зелинского); упоминаемый в послании к А. Сонни Папамикропулос – «полусумасшедший бомбометатель из афинского парламента, на которого Сонни был похож лицом».*

An Otto Crusius (1881)

Freundlich endet der Tag drückender Hitze voll,
Säuselnd spendet der West kühlenden Labehauch
Von dem hohen Gebirge,
Von dem wogenden Meere her.

Wehe, kühlender Hauch, hin nach der Königsstadt,
Wo mein schweigender Freund friedlichen Wohnsitz hält,
Fächl' ihm frohe Gedanken,
Fächl' ihm süße Erinnrung zu.

Daß auf wärmendem Pfühl traulich dahingestreckt,
Schlaf im blinzelnden Aug', liebend er mein gedenk',
Wenn den leckeren Braten
Er mit Gurkensalat verspeist.

Und dessen Antwort

Triefend ochs' ich von Schweiß Peter den Großen ein;
Bleiern brütende Luft, nirgends ein Labehauch,
Fünf und zwanzig im Schatten –
Du, du wünschst mir ein warmes Pfühl!

* * *

Im Achensee, dem blauen,
Da rauscht es immerzu;
Die weichen Wellen schwanken
Und singen mich zur Ruh.
Der Regen tröpfelt leise,
Die Sonne blinzelt drein,
Und auf den Fluten schaukelt
Ihr matter Wiederschein.

Vom nahen Dorfe drüben
Klingt freundliches Geläut;
Zwei Raben krächzen heiser
Vom Kiefernwalde weit;
Sie schrei'n, als ob sie wüßten,
Daß ich am Ufers steh
Und mich ertränken möchte
Im schönen blauen See.

* * *

Cortina d'Ampezzo,
Du freundlicher Ort,
Wir trennen uns jetzo,
Der Wandrer muß fort.

Wenn dein ich gedenke –
Des frohen Gewühls,
Der lustigen Schwänke,
Des tändelnden Spiels,

Vergangener Tage
Entschwundener Lust,
Entringt sich gar zage
Ein Seufzen der Brust.

Dir gilt's, Giuseppina
(Auch Pepi genannt),
Du Stolz von Cortina,
Du nettste im Land!

Dein Lachen im Ohre,
Verlaß ich Tirol;
Ich geh nach Cadore –
Cortina, leb wohl!

An Adolf Sonny

Haec tibi mitto, Papamicropule,
Qui nimis longi pateris silenti
Impiam molem pariter peractae oc-
crescere vitae.

Non silet ventis agitata iniquis
Unda nimbosi domitrix Phaleri,
Et refert vitae pariter peractae
Gaudia menti.

M. von Albrecht

CARMINA LATINA

Thaddaei Zielinski
monumentum Schondorfiense

Mater salutem, nate, Polonia,
Thaddaee patrum reddite patriae,
  hanc mittit, insignem coronam
    nectit et haec monumenta donat.

Seni penates praestitit et locum
Germania, altrix quae iuveni fuit:
  quae terra crescentem docebat,
    ultima fulsit eum cadentem.

Tu liliorum serta, Borysthenes,
fers, templa sanctae qui Sophiae rigas;
  nam nomen et sacri lavacri
    tu latices puero dedisti.

Iamque Anna praesul gymnasii venit,
iamque Alma Mater, quam Neva praeterit,
  spargitque vivarum tapetem
    doctus Hyperboreus rosarum.

Varsaviensis flos Academiae,
gratare civi! Vistula, liberam
te vidit, et vidit ruentem,
heu senior patriae superstes.

Cedant Ulixes et Veneris satus!
mortes duarum pertulit urbium,
Nasonis infelix malorum
qui superat seriem bis exul.

Tuam renascens audiat, audiat
Europa vocem: «Scripta legat mea
ubique terrarum iuventus,
Graecaque ament et ament Latina.

Neglecta Romae sancta Latinitas;
Germaniae flos, gymnasium, cadit;
Mei recondantur Poloni,
et schola Petropoli renata est.

Quicumque cernes hunc lapidem, gradum
paulum, viator, siste Latinaque,
o civis Europae, retempta
verba memor Ciceronis alti,

Laudante me quem libera nunc legit
Europa! Caesar, iam valeas, abi!
Auctore me spernant tyrannos
dum populi, moriar libenter.

In eruditis pectoribus bona
insculpta vivant: pax, pietas, decus
cum iure libertas fidesque:
haec monumenta mihi placebunt».

De Leninopoli

Lux cana lato flumine redditur,
ingens stat aedes, parva tamen casa
videtur: immensum quid amnem
aequiperare queat? Dolosas

pontes recurvi traiciunt aquas
audacter; altis fit via navibus
nocturna, sublatis catenis
insolitusne it ad astra trames?

Spectanda paucis, pervia nemini
callis. Sed albis noctibus, immemor
somni, modo immanes recordor
caecus opes Hiemalis Aulae,

Musea lustro nunc ego Rossica,
reditque imago quam veneror sacram,
exinde «Secessum» frequentem
mente animoque celer reviso,

spectare cervos nunc iuvat insitos
prisco tapeti, nunc, Scythicas opes,
aurum, deae nunc bestiarum
regna rudi redimita cultu.

Argenta avari splendida divitis,
amara miror pocula pauperum,
aheneam cessisse prolem,
ferrea tum subiisse saecla.

Nunc litterarum vertor ad abditas
opes poetarum aedibus; et venis
visa esque, Alexandri poetae
Musa modos imitata Horati.

Thaddaee, Graecorum hic reseras sacra;
Auguste, acervas frusta tragoediae;

hic Ennianas Lucianus
ordinat intrepidus ruinas.

Latinitatis conditor integrae,
Iacobe, pangis versiculos. Fovet
iudex Aristides severus
Herodoti veneranda dicta.

Cui fabularum nota recondita?
Quis ore puro transtulit Arbitrum?
Duos Alexandros, amici
qui tibi sunt, celebra, Camena.

Natalia aucta est altera litteris
Graecis, Latinis altera. Rusticis,
urbana, Nasonis libellos
urbe procul patria recludis:

Sortem poetae, non animum, tui
secuta, celsa mente levas gravem,
discisque constanter docendo
et patriae generosa servis.

Delata quo fers, Musa procax, pedem?
«Ex aere factum» nonne «equitem» legis
stupens, Alexandrumque vatem
fatidicum recolis prophetam?

Eques stat ingens Petrus aheneus.
Perfusaque auro templa Deo carent.
sub nomine Aurorae gubernant
nunc homines sua fata soli.

De Trinitatis et Sergii Laura

Unde Tartaros pepulere patres
et sacris Gallos precibus fugarunt,
et fide sancta totiens abacta est
haeresis ipsa,

Post tot et tantos humilis triumphos
obsitus musco locus est situque,
Advena admirans dubitat: domusne
haec patriarchae?

Cereis intus tremulis coruscat
picta Sanctorum series, et audit,
dum canit simplex sine fine vulgi
vox: miserere.

Surge, defensor generose, Sergi,
nec tuum tantum populum iuvato:
Tota natorum est peritura dextris
Terra suorum.

Trinitas, quae tres eademque et una es,
iunge fraterno populos amore,
occidens ut sol oriensque pacem
spectet ubique.

Анри Волохонский

ИЗ КАТУЛЛА

XXII

Мы с тобой, мой Вар, да Суффен – старинных три друга.
Одаренный человек: вкус, талант, сама тонкость
Наш Суффен. Есть и страсть у него: издает книги.
И не как мы, грешные, на дрянной вторичной
Богомерзкой бумаге. Нет, на той – для нужд царских,
Да по сгибам чтоб шито было особой ниткой,
Чтоб срез был с лоском, чтоб шрифт бил в пурпур,
Небывалой техникой: павлиньим тисненьем,
С переплетом в ризах, в хризолитовых тканях.
А раскроешь книгу – и кто же оттуда смотрит?
Где тот красочный муж? Где колоритная личность?
Да это же не Суффен, а полярный геолог,
Словно лебедь, бьющийся о немой айсберг,
Злой товарищ безмолвных линялых медведей,
Заиндевелою хризантемой бродящий по тундре.
Такова, мой Вар, видно, в книгах тайная сила –
Обратит в мел яхонт, киноварь обесцветит.

XLIII

Привет тебе, девушка с носом немалым,
С нестройной ножкой, неясным взором,
С неловкими пальцами, с невнятной речью
И неосмысленной, и неизящной.
Ну что, подруга формийского мота,
Тебя красавицей славит округа?
Ты даже нашей Лесбии краше?
Ах, как неумно и неуместно!

Хава Броха Корзакова

КСАНТИППА



Привычка Сократа выбегать на улицу и тут же завязывать беседу с первым встречным убедительно доказывает, что бедняга спасался из своего дома, будучи не в силах переносить умственное превосходство супруги.

Антонио Мачадо,
«Хуан де Майрена», V

Во время праздника *** я снова присоединилась к обществу философствующих. В последнее время мне это удавалось часто, душа моя тянулась к философии, но надолго я со своим везением не рассчитывала. У меня оставалось два выхода: или бросить дом и родных, переодеться юношей и отправиться за желаемым на чужбину, или выйти замуж за одного из здешних философов или хотя бы за одного из их учеников, и таким образом остаться близко к столь притягательному для меня кругу людей. Первое представлялось мне невозможным, ибо я была единственным ребенком в семье, и мой уход из дому нанес бы моим родителям смертельный удар. И к тому же я не надеялась, что встречу где-либо человека более мудрого, чем Сократ. Поэтому я твердо решилась на второе.

Среди учеников Сократа был юноша, которого звали, кажется, Критий. С некоторых пор он стал разговаривать со мною едва ли не охот-

нее, чем со своим учителем, и я, хотя и не испытывала к Критию особенно нежных чувств, решилась не препятствовать его возможным намерениям.

Все благоприятствовало таким моим планам. Бедный Критий все время посматривал на меня во время общей беседы, а по дороге к городу как бы нечаянно оттеснил меня от Сократа, которого я слушала с жадностью, и стал развлекать меня своими собственными рассуждениями. То, что он говорил, было не так уж глупо; я даже пожалела, когда он ради неотложных домашних дел наконец убежал. Сократ, как старый знакомый моих родителей и к тому же почти сосед, шел со мною дальше всех остальных и остановился у ворот моего дома, чтобы договорить. Я была так польщена этим, что не сразу стала вслушиваться в то, что он говорил:

– Мы недавно спорили без тебя, Ксантиппа, о женской природе, и вот какой вопрос обсуждали в том числе: почему женщины большее внимание обращают всегда на юнцов? Ты, конечно, не очень опытна в подобных вещах, но все же до некоторой степени понимаешь интересы совершенно непостижимой для нас стороны.

Я очень удивилась и словам Сократа, и, главное, тому, когда они были произнесены. Разумеется, я никогда и вообразить себе не могла, что способна вызвать какие-либо чувства у Сократа, а тем более чувство ревности! Сократ, конечно, иногда обсуждал подобные вещи, но то, что сегодняшний вопрос был поставлен как раз после моего любезничанья с Критием, – это при всем желании не могло показаться случайным. Хотя и не веря своим ушам, я решилась отвечать так, чтобы не упустить случая – возможно, только кажущегося представившимся.

– Я не знаю, какую именно ситуацию ты имеешь в виду, Сократ, но отвечу тебе, исходя из опыта моих подруг. Ты знаешь, что бывает время, когда девушке нужно – или просто хочется – изменить свой образ жизни. Для этого есть только один путь – замужество. Разумеется, если бы все наши желания исполнялись, мы выбирали бы себе в мужья самых достойных, – ибо мы не так глупы, чтобы не понимать, кто есть каков. Однако посуди сам: истинно достойными люди становятся – если становятся вообще – к определенному возрасту. И в этом возрасте они либо уже женаты, либо превратились в старых холостяков. А старый холостяк – это неприступный город. Он боится посягательств на себя как на мужчину – особенно со стороны честных женщин. И если последнее еще можно, говорят, преодолеть пока неведомыми мне способами, то первое предпринимать безнадежно. Зрелая дама может решиться рискнуть, но у нас, юных дев, в поведении преобладают, как ни странно, корыстные мотивы, связанные скорее с Герой, чем с Аф-

родитой. Поэтому к более ветреному старому холостяку мы подступиться боимся, а к более строгому – не решаемся.

– А почему вы оказываете такое доверие юнцам?

– О, это очень просто. Юнца, как это ни странно, легче пристыдить, а старый холостяк настолько себя ценит, что сам готов пристыдить кого угодно за покушение на себя.

– И что, женщины только из-за боязни неудачи связываются с юнцами?

– Сократ, я не знаю, о ком ты хочешь, чтобы я говорила. Если тебя интересуют женщины, ищущие развлечений, обратись за пояснениями к кому-нибудь другому, не ко мне. Я могу описать только то, что относится к трепетным существам вроде меня самой. Вообрази, что какая-нибудь девушка хочет обратить на себя внимание старого холостяка. Ей ведь очень трудно перевести разговор с обычной колеи на более, так сказать, лирическую. К тому же она зачастую рискует потерять и то, что имеет. Вот, скажем, я захотела бы дать тебе понять, что влюблена. Сейчас ты допускаешь меня в свою компанию потому, что я интересуюсь не пряжей, нарядами и свахами, а философией. И вдруг я оказалась бы в твоих глазах заурядной молодой клушкой, которая смотрит на мир только в поисках будущего насеста! Я рисковала бы лишиться твоего общества вовсе.

Сократ сделал вид, что принимает мое теоретизирование:

– Ксантиппа, девы и не знают, что у них есть такой искусный апологет, как ты! Ну хорошо, ты пояснила, почему они обделяют вниманием зрелых мужей, но мне все еще непонятно, зачем им юнцы?

– Сократ, среди юнцов они выбирают, а среди мужей им, как правило, нравится один, недоступный. Юнцы, что числятся в его учениках, дают надежду видеть этого мужа у них в доме, – для той, которая станет хозяйкой последнего.

– Теперь мне все это стало понятнее, Ксантиппа. Но скажи, настолько ли владеют собой девы, чтобы надеяться быть счастливыми, вступив таким образом в брак?

– Да, Сократ. Мы прекрасно понимаем, какую честь оказываем избраннику, и в то же время видим, что он нам за это дает. И даже если бы это было не так, все равно: лучше по закону лгать, чем воровски пытаться сказать правду. Если бы ты знал, Сократ, какое мучение осознавать себя одновременно достойной всего – и недостойной ничего!

– Как красиво ты говоришь!

– Да. Этому я, к сожалению, научена. Однако мне пора домой. И вот что я хочу тебе сказать в завершение нашего теоретического разгово-

ра. Мне показалось, что ты не совсем отвлеченно смотришь на этот предмет. Я тоже. Так вот. В моем монологе была заключена одна вещь, которая не даст тебе извлечь из него то, чего бы мне не хотелось. Дело в том, что если ты захочешь понять меня в лирическом ключе, то есть подумаешь, что это с моей стороны признание, и по свойственной тебе скромности начнешь отговариваться про себя от этого, ссылаясь на иносказательность моих слов, то воспоминание о моем искреннем смущении не позволит тебе преуспеть в этом. А если ты, наоборот, захочешь посмеяться надо мною, то иносказательный строй моей речи и ироничность тона не дадут тебе в полной мере насладиться победой.

Я убежала, оставив смущенного Сократа. Он явно не ожидал такой наглости с моей стороны – впрочем, сама я тоже. Я боялась самого худшего – того, что он выгонит меня из своего кружка. На то, что в его сердце, дотоле, возможно, приоткрытом, останется для меня хотя бы щелочка, я не надеялась вовсе.

Целую неделю мне и хотелось и не хотелось узнать, каково оказалось действие моих слов. А через неделю ко мне, как Афина в облике дочери Диманта, обратилась матушка: «Ναυσικάα, τί νύ σ᾽ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;»[1]

[1] *Hom. Od.* VI, 25; в пер. В. А. Жуковского: «Видно, тебя беззаботною мать родила, Навсикая». – *Ред.*

ΠΑΙΓΝΙΑ



PHILOLOGORUM DECALOGI

Публикуемые ниже «Десять заповедей классического филолога» принадлежат перу кенигсбергского классика Карла Лерса (1802–1878). Лерсовский декалог начался с пяти заповедей, которые он в октябре 1871 г. отправил в письме Фридриху Ричлю.[1] *Несмотря на полное одобрение адресата, Лерс вернулся к этой работе лишь полтора года спустя, в марте 1873 г.; в отличие от первой половины декалога, написанной* sub specie aeternitatis, *в последних заповедях ощутима ирония в адрес новейших филологических течений – таких, как солярная теория в мифологии (заповедь 8) или завладевшая умами классиков индоевропеистика (заповедь 6). Третья заповедь, вызвавшая протесты Виламовица, могла бы послужить эпиграфом к лерсовскому изданию Горация (1869), которое стало классическим образцом гиперкритики (см. об этом первый том настоящего Альманаха, с. 123–126). Опубликованные после смерти Лерса его учеником Артуром Людвихом, «Заповеди» обрели широкую популярность и вызвали к жизни сразу несколько аналогичных попыток,*[2] *в том числе и шутливых; русский перевод декалога Адольфа фон Гарнака (1851–1930) появился в 1980 г. в Вестнике Общества аматеров изящной словесности «Метродор» (№ 9), откуда с благодарностью и перепечатывается при непростительном попустительстве всегда взыскательной редакции.*

---

[1] Об истории создания «Заповедей» см.: *W. M. Calder III.* Karl Lehrs' Ten Commandments for Classical Philologists // Classical World 74 (1980/1981), 227–228.

[2] В частности, свой набор заповедей, вместе с комментариями, опубликовал Виламовиц (*U. von Wilamowitz-Moellendorff.* Erinnerungen 1848–1914. ²Leipzig 1929, 102 ff.).

Карл Лерс

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛОЛОГА

1. Du sollst nicht nachbeten.
   Чужою молитвою не молись.
2. Du sollst nicht stehlen.
   Не укради.
3. Du sollst nicht vor Handschriften niederfallen.
   Не сотвори себе кумира из предания рукописного.
4. Du sollst den Namen Methode nicht unnütz im Munde führen.
   Методологию науки не поминай всуе.
5. Du sollst lesen lernen.
   Да учишься читать написанное.
6. Du sollst nicht Sanskritwurzeln klauben und mein Manna verschmähen.
   Не откапывай корней санскритских, пренебрегая Моею манною.
7. Du sollst lernen die Geister unterscheiden.
   Духов разнствие да распознаешь.
8. Du sollst nicht glauben, dass Minerva ein blauer Dunst sei: sie ist dir gesetzet zur Weisheit.
   Не мни, будто Минерва есть туман утренний: она руководствует тебя к мудрости.
9. Du sollst nicht glauben, daß zehn schlechte Gründe gleich sind einem guten.
   Не мни, будто десять худых доводов стоят одного доброго.
10. Du sollst nicht glauben, was einige von den Heiden gesagt haben, Wasser sei das Beste.
    Не полагай, вкупе с иными язычниками, будто вода есть наилучшее.

Адольф фон Гарнак

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ, ПИШУЩИХ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Составляй текст так, чтобы его можно было читать и без примечаний.
2. Не забывай, что в тексте возможны скобки, а в конце книги – экскурсы, которые могут заменить примечания.
3. Будь скуп на примечания и знай, что за каждое ненужное примечание ты должен дать отчет перед читателем; в примечаниях он должен найти сокровищницу, а не чулан с хламом.
4. Не считай ниже своего достоинства составлять примечания и знай: какова бы ни была твоя слава, она не освобождает тебя от доказательств.
5. Никогда не пиши примечания оттого, что ты упустил что-то в изложении; вообще: никогда не пиши примечания задним числом.
6. Не пиши в примечании ничего такого, что ставит под вопрос твой текст, – и вообще не пиши там ничего, что важнее, чем текст.
7. Не смотри на примечания как на катакомбы, в которых ты торжественно погребаешь свои рабочие заготовки, но имей смелость предать их огню.
8. Без нужды не превращай примечания в арену борьбы; если же делаешь это, то ставь противника в положение не менее выгодное, чем твое собственное.
9. Постарайся научиться искусству восполнять с помощью примечаний линейную форму изложения, брать аккорды и вносить обертоны; но не играй на инструменте, которым не владеешь, и берись за инструмент только тогда, когда это необходимо.
10. Всегда помещай примечания туда, где им следует быть, а значит, не в конец книги (разве что ты публикуешь торжественную речь), и не робей перед тем, чтобы различать в печати два рода примечаний, если материал того требует.

Власий Цезиус

ГИПЕРБОРЕЙСКИЕ МАРГИНАЛИИ

***В. И. Мажуга.* Когда жил и творил грамматик Диомед? // Hyperboreus 4 (1998) : 1, 139–166**

Tantaene animis scholasticis irae?

Воистину неправы те, Мажуга,
Которые, в плену порочна круга
Подобных Толкину прославленных имен,
Чтут лишь Харизия (нет спору, чести он
Достоин, грамотей, дотошный буквоеда)
И видят в нем предтечу Диомеда.

Но что нам Толкин? Истина не сказка;
Ужели Йееп Барвику указка?
Небрежен тот, а этот опрометчив...
И что же? Диомед, хоть и замечен,
Но дошлым греком явно обойден
И, вне сомненья, недооценен.

Он устной был традиции хранитель,
Сакердоса идей живой носитель.
Харизий же, ученый компилятор,
Все это взял – и сделался фундатор.

Тогда настала тяжкая година
Для римской грамматической доктрины.

А истина в грязи лежит, попранна:
Не слушают ни Кейля, ни Озанна,
В невежестве воинственном презрев
И смысл, и логику... Отсюда гнев.

***

Н. А. Алмазова. **Артист Диониса или сотрапезник Аполлона? // Hyperboreus 4 (1998) : 1, 113–121**

СЛУЖЕНЬЕ МУЗ И АНТИЧНЫЙ ПРОФСОЮЗ

Пролог

Предводитель хора: Духовной жаждою томим,
Жил в Апамее пантомим
Во время оно.[1]
Как сотрапезник Аполлона,
Он был удачлив и богат,
Но это все ему non sat.
А вот и он! Чего же надо
Сему наследнику Пилада?

Юлий Парис (входит, танцуя. Танец выражает досаду – как актер трагического движения, он не может участвовать в Дионисиях и добиться почестей, положенных победителю в священных состязаниях).

Хор: Он был неправ!

Парод

Предводитель хора: Увы, не ведаем того,
Как он добился своего,

[1] По-видимому, не позднее 138 г. A. D.

Но сохранился монумент;
Под монументом – постамент,
Где мы читаем,
Что Апамеи гордый сын,
Всея вселенной гражданин
И именит, и почитаем:
Союз артистов Диониса,
Мол де, почтил его, Париса.

Статуя Париса

(оставаясь неподвижной, выражает крайнюю степень довольства).

Хор: Он был неправ!**

Эписодий первый и последний

Предводитель хора:
Француз ученый, Рей-Коке,
с одним блокнотом, налегке,
Недурно греческим владея,
Гулял себе по Апамее
Среди статуй, среди колонн.
Но вдруг увидел надпись он.

J.-P. Rey-Coquais

(лихорадочно списывает в блокнот надпись на базисе статуи Ю. П., не забывая, впрочем, об изяществе почерка):

Bravo! Я надпись отыскал
И помещу ее в журнал.***
Почтил, как вижу я, Париса
Союз Артистов Диониса,
Как члена гильдии своей.
Я так и тисну, ей-же-ей!

Хор: Он был неправ!

Эксод

Аполлон Мусагет (ex machina):

Нет, не истинно то, что ты верным считал.
Аннулируй аннал, опрометчивый галл!

** Эта инвектива, несомненно, адресована Союзу артистов Диониса, пошедшему в этом вопросе на серьезные нарушения профсоюзного устава; о мотивах мы, естественно, можем лишь догадываться.

*** См. *Les annales archéologiques arabes syriennes* за 1973 г.

Знают истину *Гипербореи* одни,
и божественной воле угодны они.

Хор Гипербореев: Таково пережитое нами.

* * *

***А. К. Гаврилов.* Catull. 38, 7–8: упрек другу-стихотворцу // Hyperboreus 4 (1998): 2, 362–386**

At tu, Catulle, destinatus obdura

Cat. 8, 19

Плохо было Катуллу, кто же спорит…
Но потом – что ни век, то хуже, хуже.
Понял беды его какой текстолог?
А ведь это легко, пустое дело!
Нет словца, чтобы не перевернули.
Запятую воткнули прямо в горло,
Придавив, как плитою, Симонидом…
Дай дышать, Alexander! Вынь занозу.